

ДВЕНАДЦАТЬ ПОЭТОВ 1812 ГОДА



Дмитрий
Шебаров



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Имена большинства героев этой книги — Н. И. Гнедича, С. Н. Марина, князя П. И. Шаликова, С. Н. Глинки — практически неизвестны современному читателю, хотя когда-то они были весьма популярными стихотворцами. Мы очень мало знаем о военной службе таких знаменитых поэтов, как В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков... Между тем их творчество, а также участие как в литературной и общественной жизни, так и в боевых действиях — во многом способствовали превращению Отечественной войны 1812 года в одну из самых романтических эпох российской истории, оставшейся в памяти потомков «временем славы и восторга». Книга Дмитрия Шеварова «Двенадцать поэтов 1812 года» возрождает забытые имена и раскрывает неизвестные страницы известных биографий. знак информационной продукции 16+

- [Д. Г. Шеваров](#)
 - [СВЕРТОК ВРЕМЕНИ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОРУЧИК ЖУКОВСКИЙ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)

- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
- [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [ГЕНЕРАЛАМ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
- [ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
- [ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая, прощальная](#)
- [ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)

- [ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
- [ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
- [ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
- [ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
- [АМУР И ПСИХЕЯ](#)
- [Приложение 1](#)
 - [Константин Батюшков](#)
 - [К Петину](#)
 - [Тень друга](#)
 - [К Дашкову](#)
 - [Василий Жуковский](#)
 - [Д. В. Давыдову](#)
 - [Денис Давыдов](#)
 - [«Жуковский, милый друг! Долг красен платежом...»](#)
 - [Песня \(«Я люблю кровавый бой...»\)](#)
 - [Песня старого гусара](#)
 - [Товарищу 1812 года, на пути в армию](#)
 - [Сергей Марин](#)
 - [К друзьям](#)

- [Петр Вяземский](#)
 - [Послание к Жуковскому из Москвы, в конце 1812 года](#)
 - [Эперне](#)
 - [«Так из чужбины отдаленной...»](#)
 - [Друзьям](#)
 - [Поминки](#)
 - [«В воспоминаниях ищущих вдохновенья...»](#)
- [Приложение 2](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)

- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)

- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)

- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)

- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)

- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)

- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)

- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)

- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)

- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)

- [396](#)
 - [397](#)
 - [398](#)
 - [399](#)
 - [400](#)
 - [401](#)
 - [402](#)
 - [403](#)
 - [404](#)
 - [405](#)
 - [406](#)
 - [407](#)
 - [408](#)
 - [409](#)
 - [410](#)
 - [411](#)
 - [412](#)
 - [413](#)
 - [414](#)
 - [415](#)
 - [416](#)
 - [417](#)
 - [418](#)
 - [419](#)
 - [420](#)
 - [421](#)
 - [422](#)
 - [423](#)
 - [424](#)
 - [425](#)
 - [426](#)
 - [427](#)
-

Д. Г. Шеваров
Двенадцать поэтов 1812 года

*Эту книгу посвящаю своим друзьям — ушедшим
и живым.*

Автор

СВЕРТОК ВРЕМЕНИ

В сем свертке времени возобновятся в памяти древние дружества, приятные сожаления, достопамятные происшествия, удивление юности...

Михаил Никитич Муравьев^[1]

Несколько лет назад в отделе редких книг Уральского федерального университета мне посчастливилось прикоснуться к изданию, которое держал в руках юный Пушкин. Оно находилось в библиотеке Царскосельского Императорского лицея, а после революции вместе с другими лицейскими книгами оказалось на Урале.

Антология «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» вышла в свет весной 1814 года (вот когда слово *незабвенный* навсегда прилепилось к 1812 году). Война с Наполеоном еще не была окончена, наши войска только подходили к Парижу, когда это издание уже печаталось в только восстановленной типографии Московского университета.

До сих пор идут споры о том, кем было составлено «Собрание стихотворений...» — князем Николаем Михайловичем Кугушевым^[2] или Василием Андреевичем Жуковским, или тем и другим вместе.

В книге — сто пятьдесят три стихотворения без малого семидесяти поэтов. Заглянув тогда в оглавление, я обнаружил, что мне знакомы имена лишь десяти поэтов, а о других я даже не слышал.

Можно оправдать свое неведение тем, что раз эти *другие* забыты, то не иначе как забыты «заслуженно». Что ж, в этом есть, наверное, своя жестокая правда: немногие сочинения в «Собрании стихотворений...» дотягивают до уровня Батюшкова или Жуковского. Но ведь это было очевидно и тому, кто составлял сборник в 1814 году, а он все-таки поместил в свою антологию не только шедевры, но и просто стихотворные опыты тех литераторов, кто пережил войну и оставил о ней свои поэтические свидетельства. Подход к стихам у составителя был явно не цеховой, не исключительно литературный, а скорее источниковедческий. Свою задачу он видел в том, чтобы по

горячим следам собрать наиболее полный свод поэтических откликов на события Отечественной войны.

Появись антология несколькими годами позже, такая «неразборчивость» составителя вызвала бы только раздражение. Никита Муравьев в связи с выходом в 1817 году книги А. А. Писарева^[3] возмущенно писал матери: «Нельзя вообразить себе такое бесстыдство! Он хвалит всех стихотворцев, которые воспевали 1812 год...»^[4]

Да, написанное ими не равноценно, но сегодня нам было бы стыдно расставлять литературные оценки произведениям, созданным двести лет назад в обстановке войны.

Поэзия той эпохи со всем, что в ней было пафосного и незатейливого, трагического и шуточного, как ничто другое, дает нам возможность услышать голоса, интонации людей Двенадцатого года, представить их внутренний духовный облик. Философ Алексей Степанович Хомяков (а он был и поэтом, и историком) говорил: «Нужна поэзия, чтобы узнать историю, нужно чувство художественной, т. е. чисто человеческой истины, чтобы угадать могущество односторонней энергии, одушевлявшей миллионы людей»^[5].

Вот почему в моей книге рядом с Вяземским — мало кому ведомый Николай Остолопов, рядом с Жуковским — полузабытый поэт и ученый Андрей Кайсаров, а рядом с Батюшковым — Иван Петин, от которого сохранились всего несколько стихотворений, рядом с Гнедичем — Александр Чичерин, чьих поэтических опытов до нас и вовсе не дошло...

Моя книга не имеет стройности научного исследования. Это «собрание пестрых глав», в которых я стремился хоть на несколько мгновений воссоздать для читателя атмосферу Двенадцатого года. Мне хотелось, чтобы эта книга была не о литературных отношениях, а о друзьях и дружестве. О том, что раньше называли «дружескими узами». О том, как эти узы спасали людей в одну из самых драматических эпох всемирной истории.

Испытываю вину перед своими героями: я был внимателен к ним далеко не в равной степени. Одних я чувствую и понимаю как своих друзей. Увлекаясь, спешу за ними, боясь потерять их из виду,

вспоминаю о них чуть не в каждой главе. С другими я лишь раскланялся, отдал им должное, и мы расстались добрыми знакомыми. Третьи мелькнули на горизонте повествования и тут же растаяли...^[6]

И как-то само собой получилось, что главным героем в моей книге стал Константин Батюшков. Думается, что не только его самый близкий друг Николай Гнедич, но и все поэты 1812 года приняли бы это как должное. Именно Батюшков соединил их в тот «сонм друзей бесценных», о котором писал Жуковский в «Певце во стане русских воинов».

Батюшков имел редкий дар сближать людей разного звания и состояния, сопереживать каждому в радости и горе. Рядом с ним невольно хотелось «нравственно обняться» (так писал в письме своему товарищу Юрий Казаков в конце XX века). «Нравственным братством» назвал батюшковское сообщество литераторов Петр Андреевич Вяземский.

Дружбе невозможно научить. Но еще в детском возрасте можно поддержать, «воспламенить», как говорили в XVIII веке, эту заложенную в человеке способность. В Батюшкове воспламенил эту способность его двоюродный дядя Михаил Никитич Муравьев, руководивший обучением великих князей Константина и Александра. (Вообще, это удивительно: у императора Александра I и лучшего поэта его эпохи Константина Батюшкова был один наставник!)

Когда вскоре после Отечественной войны Батюшков тяжело заболел, это стало несчастьем и для его товарищей, и для всей нашей словесности. Дружеский круг распался, и ничего подобного в русской литературе более не появилось, хотя выражение «круг поэтов» стало штампом отечественного литературоведения. Под *кругом* стали понимать группу «второстепенных» стихотворцев, чуть ли не эпигонов, сплоченных вокруг какого-либо выдающегося поэта.

«Любить отечество и вечно быть друзьями», — завещал своим товарищам умерший двадцатилетним Андрей Тургенев. Если бы в 1812 году они остались дома, их никто бы не осудил, но эта завещанная нераздельность двух чувств — любви к родине и солидарности с друзьями (как же так — они идут воевать, а я останусь в тылу?!) — вела русских поэтов на поля сражений.

В армейском строю поэты выглядели порой не очень браво: неловкий и вечно простуженный Жуковский, близорукий и

мешковатый Вяземский, прихрамывающий и рассеянный Батюшков, собиравший незабудки на поле боя...

Но как ценили поэтов наши генералы! (Ведь и сами были не чужды поэзии, а некоторые и пробовали себя в стихосложении.) Хотя, казалось бы: куда надежнее в военное время иметь адъютантом опытного офицера, четкого профессионала, который не будет витать в облаках. Но генералы упрямо брали в адъютанты мечтательных поэтов. Впрочем, поэты, тогда еще совсем молодые люди, могли не только писать стихи и мечтать, но и судить о жизни и смерти с той мудростью, какая не всегда дается и старикам.

«Что теряем мы, умирая в полноте жизни на поле чести, славы, в виду тысячи людей, разделяющих с нами опасность? — размышлял Батюшков. — Несколько наслаждений кратких, но зато лишаемся с ними и терзаний честолюбия... Мы умираем, но зато память о нас долго живет в сердце друзей, не помраченная ни одним облаком, чистая, светлая...»^[7]

Под созвездием полководцев служило созвездие поэтов. В адъютантах у Милорадовича были Петр Вяземский и Федор Глинка. Правой рукой Багратиона был Сергей Марин. При главной квартире, рядом с Кутузовым, служили Кайсаров и Жуковский. Весь Заграничный поход Константин Батюшков прошел рядом с легендарным генералом Раевским.

Поэтам было о чем вспомнить после войны. Но вот странность: из поэтов 1812 года лишь братья Глинки, князь П. И. Шаликов и Д. В. Давыдов оставили развернутые воспоминания о пережитом. При этом первое издание книги Федора Глинки «Очерки Бородинского сражения: воспоминания о 1812 годе» вышло через четверть века после войны. Батюшков успел написать два-три мемуарных очерка. Жуковский не касался темы Двенадцатого года до 1839 года (даже в дневнике!) и написал лишь «Бородинскую годовщину», в которой нет ни слова о его службе при штабе Кутузова. Вяземский обратился к памяти 1812 года только в глубокой старости, когда прочитал «Войну и мир» и обнаружил там эпизоды, которые, по его мнению, расходились с исторической правдой. Не оставили воспоминаний об эпохе 1812 года ни Катенин, воевавший на передовой, ни Грибоедов, служивший в резервных частях. О своих переживаниях в военную годину не написали ни Гнедич, ни Дмитриев, ни Остолопов. Никто из русских

литераторов — участников и свидетелей великой Александровской эпохи — не создал ничего подобного «Жизни Наполеона» Стендаля, не написал свою «Жизнь Александра».

Не оставили сколько-нибудь подробных воспоминаний и наши славные военачальники, не говоря уже о простых офицерах и солдатах. Оставшиеся же воспоминания легко помещаются в одном-двух томах. Какой контраст в сравнении с французской мемуаристикой. Одни лишь военнослужащие, состоявшие в 1812 году в 4-м армейском корпусе вице-короля Италии, оставили свод из десятков томов воспоминаний! Их написали и генералы, и офицеры, и даже рисовальщик топографического бюро.

Вот как объяснял причины нашего «молчания» о 1812 годе Петр Андреевич Вяземский: «Русские не только не злопамятны, но и не хвастливы. Довольствуясь тем, что исполнили свою обязанность, что сделали свое дело, они не имеют нужды, просто не любят, чтобы им часто и непрерывно напоминали об их подвигах. Патриотически-водевильные куплеты, памятные книжки, „Что день, то победа“ (это „Une victoire par jour“ — французское сочинение) не могли бы иметь у нас продолжительный успех. Мы предоставляем это французам, которые после поражений своих хотели пером вознаградить себя за неудачи, понесенные оружием. И ныне, после тридцатилетнего мира не притупилось еще их воинственное и победоносное перо. Задним числом переделывают они события. Не довольствуясь многими одержанными победами, они за письменным столом, сдав себе все козыри, переигрывают сражения, однажды уже проигранные на поле битвы...»

Будто продолжая размышления Вяземского о причинах скудости наших мемуарных источников о 1812 годе, современный историк Лидия Ивченко говорит: «Каждый, кто изучает эпоху Наполеоновских войн, сталкивается с тем, что русские участники событий менее плодovиты в мемуарном наследии, чем французы. Более того, их воспоминания почти не содержат тех выразительных и ярких деталей, которые присущи рассказам ветеранов Великой армии... Эту „бумажную войну“ российские ветераны, безусловно, проиграли... Но, во-первых, русские офицеры были победителями, и им не надо было оправдывать своих поражений возвышенными причинами. Во-вторых, их разоружил сам император Александр I, призвав к смирению: „Не

нам, не нам, а имени Твоему!“ Кстати, во время вступления союзников в Париж французы сразу отметили существенную разницу в психологии офицеров двух армий — русской и наполеоновской: „Мы слышали, как молодые русские офицеры... рассказывали в самый день их торжественного вступления в Париж о подвигах своих... как о делах, в которых они были предводимы промыслом Божиим; себе они предоставляли только ту славу, что они были избраны орудием его милосердия. Они описывали победы свои без восторга...“^[8]

Они так и остались «в сердечной простоте смиренные сыны / все боле с каждым днем нам чуждой старины»^[9]. Батюшков, прошедший войну до Парижа, называл себя «простым ратником». Жуковский в старости искренне сокрушался (в письме П. А. Плетневу от 6 марта 1850 года): «Событиями, интересными для потомства, моя жизнь бедна...»^[10]

Но независимо от того, написали они мемуары или нет, Двенадцатый год навсегда остался *солнечным сплетением* их жизней. Поэтому назову русских поэтов с теми званиями, какие они имели в русской армии во время войны 1812–1814 годов, или в той должности, какую они тогда занимали. Пусть это короткое перечисление будет как общий снимок на память:

Поручик Московского ополчения *Василий Жуковский*
Майор Московского ополчения *Андрей Кайсаров*
Поручик лейб-гвардии Семеновского полка *Александр Чичерин*
Хранитель манускриптов Императорской публичной библиотеки
Николай Гнедич
Корнет Московского ополчения князь *Петр Вяземский*
Первый ратник Московского ополчения, редактор журнала
«Русский вестник» *Сергей Глинка*
Редактор журнала «Аглая» князь *Петр Шаликов*
Штабс-капитан Рыльского пехотного полка *Константин*
Батюшков
Полковник лейб-гвардии Егерского полка *Иван Петин*
Губернский прокурор *Николай Остолопов*
Полковник, дежурный генерал *Сергей Марин*
Министр юстиции, генерал-прокурор *Иван Дмитриев*

Читая некоторые исследования об отечественной культуре начала XIX века, можно подумать, что литераторы того времени придумали себе «культ дружбы», поверили в эту литературную условность^[11]. Будто предполагая такой скептический ход мыслей потомков, Константин Батюшков писал Гнедичу: «Я не знаю ни прозаической, ни поэтической дружбы; я знаю просто любить, вот все, что я знаю...»^[12]

В том-то и красота той далекой эпохи, что дружба лишь в последнюю очередь была явлением литературы. Стихи и письма донесли до нас только слабое эхо горячих и бурных человеческих отношений.

Вот эти отношения и проверил на разрыв, на прочность Двенадцатый год. К чести русских поэтов, оказалось, что дружба не была лишь внушенным литературой сентиментальным чувством. Это было одухотворенное, сердечное тепло, согревшее всех, кто был ему причастен. А причастны к нему были столь многие, что пора говорить о дружбе не только в контексте жизни той или иной личности, но как о чем-то большем. Андрей Кайсаров, который был нашим первым профессором-славистом, после своих научных странствий по Балканским странам считал, что только «чувство небесного дружества» и делает народ той или иной страны способным противостоять любым испытаниям.

Участник Бородинского сражения, будущий декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол вспоминал: «Каждый раз, когда я уйду от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается одним словом: *любили*. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому...»^[13]

В своем «Певце...» Жуковский пишет:

...Блажен, кому Создатель дал
Усладу жизни, друга;
С ним счастье вдвое; в скорбный час
Он сердцу утешенье;
Он наша совесть; он для нас
Второе провиденье.

О! будь же, други, святость уз
Закон наш под шатрами;
Написан кровью наш союз:
И жить и пасть друзьями...

А что для нас стоит за этими стихами? Неужели мы утратили не только этот высокий слог, но и сами чувства, те движения души, которые когда-то составляли главное счастье человеческой жизни?

К счастью, и эпоха Двенадцатого года, и рожденная тогда литература еще много говорят нам. Мне выпало счастье дружить с людьми, которые живут в нравственных категориях начала XIX века, часто даже и не сознавая этого. Они просто не умеют жить иначе. Вслед за Баратынским они могли бы повторить: *«Мы те же сердцем в век иной...»*

Развернем же с любовью и осторожностью *сверток времени*, как горячее послание, переданное нам из рук в руки.

За помощь, поддержку и советы в работе над книгой сердечно благодарю:

Эмму Михайловну Жилякову, доктора филологических наук, профессора Томского государственного университета;

Наталию Ивановну Михайлову, доктора филологических наук, заместителя директора по научной работе Государственного музея А. С. Пушкина;

Наталию Николаевну Фарутину, заведующую отделом редкой книги Вологодской областной универсальной научной библиотеки;

Ольгу Михайловну Кадочигову, заведующую отделом редкой книги Научной библиотеки Уральского федерального университета;

Елену Арленовну Пономареву, кандидата филологических наук, хранителя книжного фонда Государственного музея А. С. Пушкина;

Алексея Геннадьевича Мосина, доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории Миссионерского института при Ново-Тихвинском монастыре, профессора кафедры истории России Уральского федерального университета;

Виктора Васильевича Афанасьева (монаха Лазаря) — исследователя русской литературы начала XIX века.

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОРУЧИК
ЖУКОВСКИЙ**

**(Василий Андреевич Жуковский. 1783–
1852)**

Глава первая

Время летит; и семена мудрости и добродетели, насаженные во дни юности в умах и сердцах наших, возрастут в древо великое.

15-летний Василий Жуковский. Из речи на Акте в Университетском Благородном пансионе 14 ноября 1798 г.^[14]

«Дорогому... от преданного». — набросок к портрету ангела. — Роль волшебника. — Подарок для Ивана Козлова. — Крутая лестница Зимнего дворца. — Наставник будущего Царя-освободителя. — Человек-словарь. — Кто ответит на вопрос Карла Зейдлица?

Однажды мне посчастливилось работать в библиотеке Ивана Никаноровича Розанова, собравшего все самые редкие издания русской поэзии. Теперь эта библиотека хранится в Государственном музее имени А. С. Пушкина, в специальной комнате с особым температурным и влажностным режимом.

Я сидел за маленьким столиком, что-то выписывал, а рядом шла будничная для библиотек и музеев работа — составление описи книг. Хранитель Елена Арленовна Пономарева бережно брала очередную книгу и диктовала девушке-практикантке описание. Девушка вносила описания в компьютер.

В какой-то момент я поймал себя на том, что давно отвлекся от своей работы и слушаю Елену Арленовну, слушаю ее размеренную диктовку, как музыку:

— Форзацы загрязнены, корешки потерты, титул в пятнах... На авантитуле пятно. Титул незначительно помят по правому краю... А здесь — утраты кожи в верхней части корешка. Позолота потускнела и частично утрачена... След от клея... Ой, шелковая закладка. «Дорогому... от преданного...» А шелковую закладку записала?.. Тут пошло самое неприятное — пометы карандашом. Владычские подчеркивания... Подчеркнуто: «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет...» А тут загрязнение...

Мне кажется, здесь цветок был засушен... А вот книга Жуковского. Я так и узнала этот переплет-красавец!.. Полная опрятность... незамусоленные страницы... молодец какой Жуковский...

По дороге домой я все вспоминал сосредоточенную работу музейных подвижниц и тихие слова: «мое сердечко», «переплет-красавец», «незамусоленные страницы», «молодец какой Жуковский»...

* * *

10 февраля 1959 года старый русский писатель Борис Зайцев написал из Парижа Борису Пастернаку: «Удивительный человек был Жуковский. Единственный ангел в русской литературе».

И правда: даже читая толстый том воспоминаний о нем, не совсем верится в существование такого человека.

«...его небесная душа! Он святой...»

«...его прекрасная душа есть одно из украшений мира Божьего...»

«Когда только вспоминаю о нем, мне всегда становится так отраднo: я сам себе кажусь лучше...»

«В нем точно смешенье ребенка с ангелом...»

И надо заметить, что все эти отзывы не посмертные, не внушенные скорбью и громкой славой. Они принадлежат людям, знавшим поэта близко, по-свойски.

* * *

Иван Сергеевич Тургенев любил вспоминать, как в детстве нашел в кладовой родительского дома старый колпак с нашитыми золотыми звездами, нахлобучил его на себя и появился в таком виде перед матушкой. И тут мать вспомнила об одном домашнем спектакле, где именно в этом колпаке выходил на сцену Вася Жуковский. Будущий поэт играл тогда волшебника.

Василий Андреевич Жуковский и во взрослой жизни не оставил эту роль и очень многим людям являлся как добрый волшебник или ангел-хранитель. Десятки, если не сотни, людей могли бы вслед за

Евгением Баратынским благодарно признаться Жуковскому: «Я любил вас, плакал над вашими стихами, прежде нежели мог предвидеть, что мне могут быть полезны прекрасные качества вашего сердца...»^[15]

Поэт Иван Козлов каждый вечер благодарил Бога за дружбу с Жуковским. Ослепший Козлов страдал, не видя лица собеседника. И как-то Жуковский подарил ему свой бюст со словами: «Ты, брат Иван, ощурай меня хорошенько, рожу мою и узнаешь...»^[16]

Будучи, как Жуковский сам говорил, «домашним» при дворе, он так порой надоедал своими просьбами, постоянным заступничеством, что великие князья прятались, завидев его на лестнице Зимнего дворца.

Николай Лорер вспоминал, как, посетив Курган вместе с наследником престола, Жуковский в первый же вечер навестил сосланных Нарышкиных. «С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного добрейшего человека! Он жал нам руки. Мы обнимались... Жуковский смотрел на нас, как отец смотрит на своих детей. Он радовался, видя, что мы остались теми же людьми, какими были, что не упали духом и сохранили человеческое достоинство...»^[17]

При всей личной симпатии ко многим декабристам многие их проекты Жуковский считал пагубными, потому что они были основаны на ломке мироустройства, на принуждении к «счастью». Жизнь Василия Андреевича при дворе указывала современникам другой путь влияния — сугубо нравственный. Его девизом было: «Будь светом и все осветишь».

В 1817 году Жуковский стал учителем русского языка при великой княгине Александре Федоровне. А в середине 1820-х годов поэту поручается дело особой государственной важности — он назначен наставником цесаревича Александра, наследника престола. Эту должность Жуковский будет увлеченно и самоотверженно исполнять вплоть до августа 1839 года.

Отмена крепостного права, случившаяся уже после смерти поэта, вряд ли могла бы произойти без влияния Жуковского на будущего императора Александра II.

Василий Андреевич начинал свой путь в литературу с переводов, которые публиковал Карамзин в «Вестнике Европы». Жуковский был

нашим первым профессиональным переводчиком. Пожалуй, никто за два последних века не сделал столько для культурного сближения России и Европы, как Жуковский. Прусский король писал ему однажды: «Надеюсь, что никогда не заставлю краснеть Вас при мысли, зачем Вы обнимали меня, как друга...»

Сегодня имя Жуковского кажется почти античной древностью. Современные дети путаются в его Ундинах, Светланах и Людмилах, как в длинном прадедовском кафтане. А ведь слог Жуковского единодушно признавался новаторским. «Никто не имел, — считал Пушкин, — и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его...»

Бывало, друзья пеняли ему за введение в русскую словесность иностранных заимствований (среди них — таких привычных нам слов, как *армия, партия, нация, марш*). Выдающийся историк-архивист Сигурд Оттович Шмидт установил, что именно Жуковский впервые употребил слово «интеллигенция» в сегодняшнем значении (в дневниковой записи от 2 февраля 1836 года).

Хочется привычно добавить, что Жуковский опередил свое время, но поостережемся таких банальностей. Жуковский пришел в этот мир вовремя. Только тогда, в первой половине XIX века, поэт мог быть так искренно любим, так безгранично влиятелен.

А наших дней Жуковский, боюсь, не вынес бы, не пережил. Сгорел бы от стыда и сострадания.

Вспоминаются слова, написанные одним из первых биографов поэта доктором Карлом Зейдлицем: «Стихи „Вадима“, полные мечтами о чудесах, вере и любви, сделали глубокое впечатление на сердца... Идеальность осветила еще раз, хотя на короткое время, тогдашнее общество, недавно так мастерски очерченное графом Л. Толстым в романе „Война и мир“. Войдет ли когда-нибудь эта идеальность снова в жизнь? Бог знает...»^[18]

Глава вторая

Судьба велела мне видеть войну во всех ее ужасах.

*Из письма В. А. Жуковского —
И. И. Дмитриеву, 18 апреля 1813 г.*

Миротворец встает под ружье. — Полк князя Гагарина. — Дорога к Можайску. — Бородинское поле. — Наполеон закапывается по уши. — Ночь перед сражением. — Тихая звезда

Из всех качеств, необходимых на войне и в армейской повседневности, у Жуковского имелись лишь терпение и благодушие. В остальном 29-летний поэт, с его скромным опытом службы в Соляной конторе и робкими манерами домашнего учителя, был, думается, совсем не нужен армии. И без Жуковского обошлись бы.

Но сам он думал иначе. И манифест Александра I, и горячие слова преосвященного Августина, обращенные к дворянству, он воспринимал как адресованные лично ему: «Благородное Дворянское сословие! Ты всегда было подпорою престола и ограждением отечества. Открой ныне пред лицом вселенной новые, бессмертные опыты верности твоей к Царю и любви к отечеству. Надменный враг угрожает нам множеством силы своей; из праведного достояния твоего умножь ополчения наши...»

Никакого достояния, кроме собственной жизни, у Жуковского не было, и 10 августа он вступил в Московское ополчение.

Доселе тихим лишь полям
Моя играла лира...
Вдруг выпал жребий: к знаменам!
Прости, и сладость мира,
И отчий край, и круг друзей,
И труд уединенный...

Потом он будет вспоминать свой поступок со смущением. 18 апреля 1813 года в письме Ивану Ивановичу Дмитриеву, просившему своего молодого друга «уведомить о воинских подвигах», Жуковский писал: «Вы, я думаю, улыбнулись, когда Вам сказали, что я надел мундир. Признаюсь, это и для самого меня забавно. Как бы то ни было, судьба велела мне видеть войну во всех ее ужасах. Минута энтузиазма, весьма естественного при чтении Манифестов нашего Государя, заставила меня броситься на такую дорогу, которая мне совсем неизвестна. Вот единственная хорошая сторона моего поступка. Дурная та, что я не спросился ни со здоровьем, ни со способностями, ни с обстоятельствами...»^[19]

С годами Жуковский относился к своему участию в войне все с большей самоиронией. Антонине Дмитриевне Блудовой, называвшей его в шутку Котом Васькой, он писал: «Странные люди эти коты! Не боятся французов, а трусят собак... (У Блудовых была собачонка Медорка, которую панически боялся Жуковский. — Д. III.) Может быть, Василий Андреич Кот и не пошел бы против французов, если бы они были собаки. Всему есть мера...»^[20]

Но в августе Двенадцатого года до веселости мирных дней было еще далеко, и Жуковский был поглощен одним чувством: он должен быть там, где решается судьба Отечества. И даже мысль о том, что он, по всей вероятности, погибнет в первом же бою, — эта мысль не останавливала его. Он отдал свою жизнь на волю Божию и после этого с удивлением обнаружил, что уже не так, как раньше, страшится будущего, не так трепещет за себя, как раньше^[21]. Конечно, это была еще не та вера, что движет горы, но уже и не та, прежняя, которая была скорее не верой, а мистическими чувствованиями, позаимствованными у немецких и английских романтиков.

Еще пройдут годы и годы, прежде чем Жуковский обретет в полноте родную православную веру. Во многом это произойдет благодаря ослепшему поэту Ивану Козлову. Кстати, летом 1812 года Козлов был молодым чиновником Московского комитета по народному ополчению, и, возможно, именно он вносил в списки ратников поручика Василия Жуковского.

Николай Михайлович Карамзин, узнав о том, что Жуковский, малоприспособленный и к обычной-то жизни, поступил в ополчение,

обратился с просьбой к Ростопчину взять молодого поэта под свое начало. Ростопчин отказал под удивительным предлогом: якобы Жуковский «заражен якобинскими мыслями»^[22]. Откуда это взял московский градоначальник — так и осталось неизвестным.

Манифест о сборе ополчения был издан 6 июля 1812 года. В нем говорилось: «Полагаем мы за необходимо нужное собрать внутри государства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех...»

2 августа 1812 года по выборам московского дворянства начальником Московского ополчения был назначен старый суворовский офицер и екатерининский вельможа граф Ираклий Иванович Морков.

Жуковский попал в 1-й пеший казачий полк. Сформирован он был на средства 28-летнего камер-юнкера князя Н. С. Гагарина, назначенного его шефом. Вооружили ополченцев ружьями, что выгодно отличало их от других ратников, вооруженных пиками.

14 августа 1812 года шесть тысяч московских ополченцев выстроились на Земницком валу. Московский архиепископ Августин отслужил молебен с водосвятием и вручил графу Моркову две хоругви^[23], взятые из приходской Спасо-Преображенской церкви.

Год спустя опаленные войной и пробитые картечью хоругви вернутся в Москву. Принимая одну из них (с ликом Богородицы) в Успенском соборе Кремля, преосвященный Августин скажет: «Православные Воины! Вы возвращаете дому Пресвятой Богородицы сию святую хоругвь, которую прияли от Нее, шествуя на брань. Мы видим, что удары безбожных касались и ее... И так приемлем от вас хоругвь сию яко священный памятник достохвальных подвигов ваших. Водруженная пред очами соплеменных, она будет возвещать о вас из рода в род...»^[24]

Но до этих славных дней было еще далеко. 19 августа ополчение выступило из Москвы к Можайску. Тогда ополченцы еще не знали, куда они идут и где вступят в первый бой. Удивительно, что ропота и растерянности не было. Даже обычные разговоры с домыслами и слухами утихли. Каждый был погружен в свои мысли.

Над ополчением колыхались хоругви с иконами Божьей Матери и Николая Чудотворца, а впереди, как авангард, шли монахи и, сменяя друг друга, несли еще одну святыню — образ Преподобного Сергия Радонежского, сделанный из его гробовой доски еще в царствование Федора Иоанновича.

В пути Жуковскому, — как и многим, наверное, — вдруг вспоминалось детство. И чем сильнее наваливалась усталость, тем более ранние грезилась картины. Вот он, пятилетний, найдя кусок мела, сидит на полу в девичьей и срисовывает образ Боголюбской Божьей Матери, стоявший на полке в углу. Срисовал и уснул тут же, на лавке. Проснулся от взволнованного шума и слез: пришли взрослые и увидели на полу неведомо откуда взявшийся священный лик...

* * *

На Бородинское поле сборные полки Московского ополчения прибыли поздно вечером в пятницу, 23 августа. Погода была прохладная и сырая. Костры, прежде чем разгореться, сильно дымили. На биваке у преображенцев полковник Баранцов наигрывал романс своего сочинения: «Девицы, если не хотите / Подвергнуться любви бедам...» (всего через два дня его настигнет вражеское ядро).

В субботу французы проверили на прочность нашу оборону на левом фланге. 25 августа фельдмаршал Кутузов писал жене: «Три дня уже стоим в виду с Наполеоном, да так в виду, что и самого его в сером сюртучке видели. Его узнать нельзя как осторожен, теперь закапывается по уши. Вчерась на моем левом фланге было дело адское; мы несколько раз прогоняли и удерживали место, кончилось уже в темную ночь...»^[25]

Двадцать семь лет спустя, в дневниковой записи от 26 августа 1839 года, Жуковский вспоминал ночь перед Бородинской битвой так, будто все это было вчера: «...Накануне сражения (25 августа) все было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со стуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный, ночь овладела небом, которое было темно и ясно, и звезды

ярко горели; зажглись костры, армия заснула вся с мыслию, что на другой день быть великому бою...»^[26]

Прапорщик 2-й легкой роты лейб-гвардии Артиллерийской бригады Авраам Норов, защищавший Багратионовы флеши, много лет спустя писал об этой ночи с простотой бывалого воина: «Мы поздно полегли спать не раздеваясь, не помышляя, что несколько сот жерл неприятельских орудий смотрят уже на нас с противной стороны, ожидая рассвета. Ночь была свежая и ясная. Самый крепкий и приятный сон...»^[27]

Жуковский-то, конечно, не спал — какой там сон, когда решительная минута жизни была уже совсем рядом. Он вглядывался в небо, находя там, к удивлению своему, ответы на все вопросы, что дотоле мучили его. Он видел перед собой тонкий задумчивый облик Маши Протасовой. Одну из звезд, ласково светившую, кажется, только ему одному, он про себя назвал *ее* именем. И, боясь потерять из виду, не сводил с этой звезды глаз.

Возможно, тогда у Жуковского родились те строки, что потом войдут в «Певца...» — самые лирические и нежные в этом пространном и бурном сочинении, жанр которого до сих пор не определен^[28].

Ах! мысль о той, кто всё для нас,
 Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас,
 Зрим образ незабвенный;
 Она на бранных знаменах,
 Она в пылу сраженья;
И в шуме стана и в мечтах
 Веселых сновиденья.
Отведай, враг, исторгнуть щит,
 Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит:
 Твоя и за могилой!

И дальше:

О сладость тайны мечты!
Там, там за синей далью
Твой ангел, дева красоты,
Одна с своей печалью,
Грустит, о друге слезы льет;
Душа ее в молитве...

А еще ему предстало то далекое утро, когда, учительствуя у Протасовых, он читал своим ученицам стихи Дмитриева, которые назывались: «К Маше». Как смеялась тогда Саша! И как зарделась Маша, когда он дошел до строчек:

Ты будешь без красы приятна,
Без блеска острых слов умна,
Без педантизма учена,
Почтенна, и без рода знатна,
И без кокетства всем мила,
Какою маменька была, —
Вот мой урок и похвала!..

А конец у Дмитриева грустный, и Маша чуть не расплакалась, когда Жуковский дочитал последние строки:

Когда ты, Маша, расцветешь,
Вступая в юношески лета,
Быть может, что стихи найдешь,
Конечно, спрятаны ошибкой,
Прочтешь их с милою улыбкой
И спросишь: «где же мой поэт?
В нем дарования приметны»...
Услышишь, милая, в ответ:
«Несчастные не долголетны,
Его уж нет!»

Милые, бесконечно милые дни. И пусть от земли тянет холодом, шинель подпалена костром, а скорое утро грозит смертью — он счастлив, потому что любит и знает, что его тоже любят. И все препятствия на пути этой любви кажутся нелепыми под этим небом, густо усеянным звездами. И главное: он в детском неведении относительно будущего, не знает, что судьба Маши не будет счастливой, а «несчастливые не долголетны»...

Вспоминаются слова одного из современников, видевшего однажды Машу Протасову (в ту пору, когда она уже была замужем): «Начиная с имени ее все в ней было просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и поцеловал; а находясь с такими, как она, в сердечном умилении все хочется пасть к ногам их. Ну, точно она была как будто не от мира сего...»^[29]

...Перед рассветом Жуковский забылся, задремал незаметно для себя. «Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании, в этом глубоком темном небе, которого все звезды были видны и которое так мирно распростиралось над двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение...»^[30]

Вот как об этом же мгновении вспоминал офицер-артиллерист Г. П. Мешетич, сражавшийся на батарее Раевского: «Пробуждение же в день 26 августа 1812 года пребудет надолго в памяти каждого русского воина, участвовавшего в сей кровопролитнейшей битве. С показанием на горизонте солнца, предвещавшего прекраснейший день, показались из лесу ужаснейшие колонны неприятельской кавалерии чернеющие, подобно тучам, подходящим к нашему левому флангу, и из оных вдруг близ, как молния за молниею, одна за другою и с громом посыпались ядра на стан русской; палатки, еще в некоторых местах стоявшие, как вихрем, ядрами оными были сняты, и кто в них покоился еще, тот заснул и вечным сном...»^[31]

...Я могу лишь любить,
Сказать же, как ты любима.

Может лишь вечность одна!^[32]

Глава третья

К сожалению, не встретился я на поле сражения с Жуковским... Он с Московскою дружиною стоял в резерве, несколько поодаль. Но был и он под ядрами, потому что Бородинские ядра всюду долетали.

Князь Петр Вяземский. Воспоминания о 1812 годе

Демидовский отряд. — Личность Николая Демидова. — Юнкер Павел Демидов. — Piazza Demidoff. — Утицкое стояние. — Дивизия Олсуфьева. — Под ядрами. — Еще одна ночь

Кутузов поделил Московское ополчение на два отряда. Один отряд под командой генерала Федора Ивановича Талызина перед сражением был поставлен скрытно у Старой Смоленской дороги. Второй отряд, которым командовал Николай Никитич Демидов, поставили за левым флангом восточнее левой Багратионовой флеши, южнее деревни Семеновское.

При этом разделении сил поручик Жуковский оказался в отряде Демидова. Николай Никитич достоин отдельного рассказа. Владелец уральских заводов, один из богатейших людей России, с 1801 года он жил с семьей за границей, время от времени выполняя важные дипломатические поручения. Его сын Павел учился в Наполеоновском лицее в Париже.

Почувствовав приближение войны, в начале лета 1812 года Демидов вместе с женой и сыном вернулся в Россию. Во время приезда Александра I в Москву Николай Никитич пообещал императору, что соберет и экипирует на свои средства полк. В кратчайшие сроки он выполнил свое обещание и сформировал 1-й егерский полк Московского ополчения, названный Демидовским. Четырнадцатилетний Павел Демидов, будущий учредитель Демидовских премий, вступил в этот полк юнкером.

Николай Никитич оказался не только толковым шефом полка, но и храбрым воином. Генерал Л. Л. Беннигсен в октябре докладывал М. И. Кутузову: «Находящийся при мне в сражении... Московского ополчения шеф 1-го Егерьского полка тайный советник Демидов, с безстрашием подвергал жизнь свою опасности, исполняя в точности поручения мои...»^[33]

Павел Демидов в бесстрашии не отставал от отца. В послужном списке юнкера появилась запись: «Был в сражениях противу французских войск Августа 26-го под селом Бородиным, за отличие награжден чином...»^[34]

После войны Николай Никитич Демидов помог в воссоздании из пепла Императорского Московского университета, передав университетскому музею большую коллекцию минералов, раковин, чучел животных и других «произведений природы».

В мае 1837 года во время поездки по стране Жуковский оказался в Нижнем Тагиле. Там 28 мая он посетил демидовский некрополь и записал в дневнике: «Памятник Демидову, восстановителю Тагила...»^[35] После 1917 года этот памятник французского мастера Бозио был уничтожен.

Во Флоренции именем русского мецената и благотворителя была названа площадь, которая до сих пор так и называется — Piazza Demidoff. На площади стоит статуя Николая Демидова работы скульптора Лоренцо Бартолини. Жуковский увидел ее в 1838 году во время поездки по Европе со своим учеником великим князем Александром. Статую заказывал младший сын Демидова, Анатолий, и он изображен рядом с отцом. Про старшего сына Павла скульптор почему-то забыл. 27 ноября Жуковский записал в дневнике: «Памятник Демидова. Он с Анатолием и с благодарностью: гений обеда, Сибирь, человеколюбие и покровительство наук. „Est ce que moi je suis un bâtard?“ — сказал Павел Демидов, увидя эту статую...»^[36]

Вот под командованием какого человека оказался Жуковский в канун Бородинского сражения.

Демидовскому отряду было приказано стоять за 17-й пехотной дивизией генерала Захара Дмитриевича Олсуфьева, дислоцированной на опушке Утицкого леса. Как пишет современный исследователь, задачей ополченцев было «играть роль „внушительных резервов“»^[37]

на довольно открытой местности, заросшей кустарником. Противник должен был видеть, что на крайнем левом фланге у русских достаточно сил, при этом французскому командованию трудно было судить о их качестве. На деле этот фланг был самым слабым, а о подготовленности ополченцев в военном отношении невозможно было говорить всерьез — где и когда их успели бы подготовить?..

Неподалеку — Утицкий курган, который защищал 3-й пехотный корпус под командованием генерала Николая Алексеевича Тучкова («Тучкова-первого»). Около 11 часов утра позиции Тучкова начал штурмовать польский корпус генерала Понятовского. Сорок орудий вели огонь по холму. Польская пехота и кавалерия не уступали русской в храбрости. Вскоре полякам удалось захватить курган. Тучков организует контратаку и во главе Павловского гренадерского полка, вместе с двумя полками из дивизии Олсуфьева, Белозерским и Вильманстрандским пехотными, с огромным трудом вытесняет противника с кургана. В этом бою генерал Тучков был смертельно ранен.

После этого Олсуфьев принял на себя начальство и удержался на позиции до самого вечера, отбивая атаки корпуса Понятовского и подошедшего 8-го корпуса генерала Жюно. Потери дивизии Олсуфьева в Бородинской битве составили: 246 человек убитыми, 851 ранеными и 540 пропавшими без вести.

Семь тысяч неподготовленных и в большинстве своем неказистых московских ополченцев в это время находились в колоннах в полной, как им казалось, готовности. Не ведая о планах командования, они нетерпеливо ждали, что вот-вот придет их очередь сразиться с неприятелем. О такой минуте (но в другом сражении и в более раннюю эпоху) замечательно писал Андрей Тимофеевич Болотов: «Мы думали тогда бесспорно, что через минуту схватимся с неприятелем и будем иметь кровопролитное дело...»^[38]

Но вернемся к воспоминаниям Жуковского: «Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель; ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара, и, наконец, ужасною белою тучею обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями...»^[39]

Такое стояние психологически тяжелее непосредственного участия в бою. В бою человек действует, он отвергается от себя, отвлекается от своих переживаний и, воодушевленный примером товарищей, устремляется к общей цели.

А это многочасовое топтание на унылом болотистом месте — как досадно оно было для ополченцев. Как нелепа и страшна смерть от шального ядра! Смерть без порыва, без яркого, очевидного всем подвига.

Специалисты говорят, что одно ядро, выпущенное из пушки с 500 метров, убивало 36 человек, построенных в одну колонну. Сколько таких ядер, перелетавших через боевые порядки регулярных войск, упало за день в расположении Демидовского полка!

Генерал Михаил Андреевич Милорадович в критические минуты боя говорил солдатам: «Стой, ребята!.. Держись, где стоишь!.. Я далеко уезжал назад: нет приюта, нет спасения! Везде долетают ядра, везде бьет!..»^[40]

Офицер 50-го егерского полка Николай Иванович Андреев вспоминал с болью и горечью (эта глава его воспоминаний красноречиво названа «Бородинская резня»): «Московское ополчение стояло в колонне сзади нас на горе; их било ядрами исправно, и даром. Главнокомандующий сделал славное из них употребление: поставил их цепью сзади войска, чтобы здоровые люди не выносили раненых, а убирала бы ополченцы...»^[41]

По мере нарастания ожесточения битвы русское командование отодвигало ополченцев вглубь мелколесья, чтобы избежать дальнейших потерь. «Во все продолжение боя, — вспоминал Жуковский, — нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец, с наступлением темноты сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Мы двинулись вперед и очутились на возвышении посреди армии; вдали царствовал мрак, все покрыто было густым туманом осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы не долго остались на месте: армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темною ночью...»^[42]

Звезд в эту ночь не было. С ровным шумом, как морская вода по гальке, шли по дороге тысячи и тысячи людей, неся бремя минувшего

страшного дня. И никто толком не понимал, за кем осталась победа (если победили, то почему отступаем?), и никто даже не задавался этим вопросом, как будто после пережитого это был слишком земной вопрос. Люди шли, отрешившись от всех мыслей, которые еще прошлой ночью казались им важными. Строй уже не держали, шли походным шагом, стараясь лишь не споткнуться, не упасть, чтобы не стать, хотя бы и минутной, помехой движению.

Если бы кто-то с неба наблюдал эту картину, то он бы видел, как из дымящегося и тлеющего вулкана истекает пепельная, изредка посверкивающая металлом, людская лава.

Глава четвертая

Жуковского приезд сделал меня как-то тихо счастливым, и я поверил и будущему лучшему, когда в настоящем может быть еще для меня столько счастья...

А. А. Тургенев. Из дневника ^[43]

Командировка. — Протасовы. — Журнал муратовских жителей. — Три сестры. — Подвиг Василия Киреевского. — Орловская хроника

В 1846 году Вяземский иронически заметил в дневнике: «Правительство неохотно определяет людей по их склонностям, сочувствиям и умственным способностям. Оно полагает, что и тут человек не должен быть у себя, а все как-то пересажен, приставлен, привит, наперекор природе и образованию. Например, никогда бы не назначили Жуковского попечителем учебного округа... а переименовали бы его в генерал-майоры и дали бы ему бригаду, особенно в военное время».

В 1812 году генералов (как, впрочем, и офицеров) в русской армии не хватало ^[44], но правительство и военачальники не склонны были к абсурдным решениям; назначения в большинстве своем были точными и уместными. Вот и поручиком Василием Жуковским после Бородина распорядились грамотно. Он был приставлен не к чужому, а к своему делу. В Главной квартире нашей армии он участвовал в подготовке и литературном редактировании приказов и донесений, помогал Андрею Кайсарову выпускать листовки и бюллетени в походной типографии.

В тяжелом переходе после Бородинского сражения Жуковский простудился, но никому не жаловался, работал, преодолевая ангину. Лишь позволил себе замотать шею красным шерстяным платком.

В период Тарутинского лагеря Василий Андреевич жил в деревне Леташевке, где была Главная квартира Кутузова. Вот каким увидел поэта Иван Петрович Липранди, служивший в 1812 году обер-

квартирмейстером 6-го корпуса Д. С. Дохтурова: «Мы пошли пешком с тем, чтобы сесть на лошадей за дереvушкой. У ворот одной избенки сидел кто-то в шинели, с красным шерстяным платком около шеи... Дмитрий Николаевич (Д. Н. Бологовский — начальник штаба 6-го корпуса. — *Д. Ш.*) выговаривал ему за то, что он ни разу не приехал в Тарутино; после некоторых отговорок и ссылок на боль горла милиционер согласился ехать с нами. Пока он вышел переодеваться и приказал седлать лошадь, мы остались у ворот, но и здесь я не спросил фамилии приглашенного... В Тарутине... когда штаб собрался и пришел генерал Талызин, то оказалось, что почти все более или менее были знакомы с неизвестным мне милиционером и приглашали его переехать из Леташевки к ним... Здесь только я спросил о его фамилии и узнал, что это В. А. Жуковский, но решительно не обратил на него никакого внимания, ибо до того времени никогда не слышал о нем...»^[45]

В начале сентября Жуковского командировали нарочным в тыл, в Орел. Он должен был предупредить губернатора о прибытии в город большой партии раненых, а также обозов с пленными.

Дорога была мучительной, лошадей на станциях приходилось добиваться чуть не с боем, но Жуковский мысленно благодарил Бога: он знал, что в Орел эвакуировались Протасовы, а значит, он скоро увидит Машу. Каково ей в чужом углу? Не больна ли?..

* * *

Летом 1812 года Протасовы жили в своем имении Муратово. Когда французы стали стремительно продвигаться вглубь России, к Екатерине Афанасьевне пришли муратовские крестьяне и стали уговаривать ее спасаться от неприятеля в Орле. «Орел, — рассуждали мужики, — город губернский, там, небось, губернатор что-нибудь сделает, а здесь тебе с барышнями оставаться невозможно». Екатерина Афанасьевна спросила: «А вы сами, что же станете делать, если неприятель сюда придет?»

— Возьмем все, что унести можно, скот угоним и уйдем в брянские леса.

— Но как же мне ехать? У меня, вы знаете, нет лошадей.

Тогда крестьяне дали своей помещице лошадей и подводы, помогли собрать и уложить вещи. Так Протасовы оказались в Орле, в доме своих друзей Плещеевых. С ними в одном доме поселились и уехавшие от войны Киреевские.

...Поздно вечером 10 сентября Саша Протасова подошла к столу и открыла толстую тетрадь, на обложке которой месяц назад она старательно вывела: «Подробный Журнал всех действий, движений и перемен, произошедших во время пребывания праведных Муратовских жителей в преславном городе Орле»^[46].

Саша пробежала глазами свою последнюю поденную запись, она начиналась так: «Граф Чернышев поутру сам стряпал кушанье...»

Сегодня был день ее дежурства по Журналу. «Какие пустяки приходится иногда записывать, — подумала Саша, — но какое счастье, что сейчас можно записать нечто действительно важное!»

И через несколько минут в Журнале красовалась такая запись: «... Вдруг наш добрый Жуковский явился из Армии курьером к Губернатору в 7 вечера, этот бесподобный вечер никогда не забудется...»

Журнал вели в основном три сестры. Девятнадцатилетняя Маша — девушка мечтательная, задумчивая, нежная. Семнадцатилетняя Саша — смешливая, быстрая, очень красивая. Это ей Жуковский посвятил свою знаменитую балладу «Светлана» (поэт закончил ее как раз в 1812 году). А также их двоюродная сестра 23-летняя Дуняша — жена Василия Ивановича Киреевского.

Дружба барышень с Жуковским завязалась в 1804 году, когда Екатерина Афанасьевна Протасова попросила своего сводного брата Василия (к тому времени 21-летнего выпускника Московского университетского благородного пансиона) заняться образованием ее подрастающих дочерей Марии и Александры, а также принятой в семью Дуняши, внучки А. И. Бунина, отца Жуковского.

Молодой учитель влюбился в Машу Протасову, а Дуняша стала его поверенной в сердечных делах, верным другом влюбленных.

Екатерина Афанасьевна Протасова, человек совершенно не сентиментальный, записывала в Журнале от 13 сентября 1812 года: «Я всякий день больше удивляюсь несравненному нраву бесподобной Дуняши... — всякий час вижу больше и больше ее бесподобное

сердце и несравненное терпение, и всякий час ее больше люблю, нельзя быть милее ее...»

Дуняша Киреевская была очень хорошим человеком. Для нас это несколько странная характеристика, уж очень какая-то детская. В нас крепко засела лукавая поговорка позднесоветского времени: «Хороший человек — не профессия». Нужный человек, успешный, креативный — это нам понятно, а что такое *хороший*?

Что ж, *хороший человек* — это действительно не профессия. Но только лишь в том смысле, в каком не профессия монашество или материнство.

Дети Василия и Авдотьи Киреевских шестилетний Ванечка и четырехлетний Петруша — это будущие деятели русской культуры Иван и Петр Киреевские.

Но о Василии Ивановиче Киреевском мы должны бы помнить не только как об отце двух выдающихся просветителей, но и как о героической личности эпохи 1812 года. Правда, свой подвиг 39-летний секунд-майор в отставке совершил не на передовой, а в тихом Орле.

Василий Иванович не имел специального медицинского образования, но был доктором по призванию. Еще живя в своем имении, он лечил своих крестьян, устроил врачебный кабинет в усадьбе. Оказавшись в Орле, Киреевский обнаружил, что городской лазарет никуда не годится: больных и раненых там не столько выхаживали, сколько отправляли на тот свет. Василий Иванович устроил скандал губернатору, но этим не ограничился. Он взял на себя руководство больницей, приемом и лечением раненых, размещением пленных. Из его имений для раненых и пленных везли продукты.

Вот что вспоминала Екатерина Елагина (урожденная Мойер, дочь Маши Протасовой-Мойер): «Стали приводить в Орел партии пленных французов целыми толпами. Помещали их в холодных сараях, где они умирали тифом в огромном количестве. Они умирали с проклятиями и богохульствами на устах. В. И. Киреевский стал навещать, носить пищу, лекарства...»

Василий Иванович знал пять языков, и это очень помогло ему в общении с пленными (среди них были не только французы, но и немцы, итальянцы, голландцы). Киреевский, вспоминает Екатерина Елагина, «обращал их в христианскую веру, говорил им о будущей жизни, о Христе, молился за них. Он пожертвовал, то есть истратил

для них все те деньги, которые собрал для себя и семьи своей в ожидании будущих бедствий. Говорят, что он истратил за то время 40 тысяч; заразился тифом, уже больной продолжал он дела милосердия и скончался в Орле...».

В круговерти тогдашней бедственной жизни подвижничество Василия Киреевского как-то быстро заслонило в сознании современников другими событиями. Киреевский оказался забыт и в России, и во Франции, и, скорее всего, остался неизвестен потомкам тех, ради кого он пожертвовал своей жизнью, оставив сиротами троих маленьких детей... Но мне кажется, восстановить справедливость лучше поздно, чем никогда. Почему бы не назвать его именем детскую библиотеку в Орле (кстати, Василий Иванович был увлеченным библиофилом и, как вспоминали его родные, читал книги так, как это любят делать дети — лежа на полу). А быть может, и где-то во французской провинции люди, узнав о русском подвижнике, спасавшем от голода и болезней их воинственных предков, назвали бы именем Василия Киреевского мост, набережную или больницу?..

Конечно, наших барышень окружали в Орле не одни лишь праведники. В эпизодах Журнала появляются и совсем другие персонажи: непрошенные ухажеры, лукавые болтуны, откровенные паникеры. Стремясь произвести впечатление на юных собеседниц, они пугают их фантастическими слухами. То рассказывают о гибели в полном составе московской милиции, то о взятии Калуги, то о том, что часть русских аристократов перешла на службу к Наполеону.

Но, как бы ни были впечатлительны и напуганы сестры Протасовы, они не предаются унынию: деятельно помогают раненым, много и серьезно размышляют о происходящем, готовят себя к будущей мирной жизни — занимаются английским языком, рисованием, шитьем и музыкой...

Как хотелось бы сказать: да, мы — те же, так же любим, и так же дружим. Но, боюсь, мы уже потеряли что-то в пути. Наверное, мы слишком устали от «выживания», чтобы так цельно чувствовать, так щедро расточать себя в дружбе и любви, так соединять одно с другим.

Глава пятая

*Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А девы — розами цветут...*

*Иван Дмитриев. Освобождение Москвы.
1795 г.*

Орловская хроника. — «Милая душа Дуняша». —
Шалости Жуковского

«Подробный Журнал всех действий, движений и перемен, произошедших во время пребывания праведных Муратовских жителей...» начинается в пору, когда пыль от двигавшихся армий и беженских обозов стояла над русскими дорогами и застилала солнце. Обрываются записи в конце октября. За окнами начинается метель — зима в тот год пришла рано.

Итак, перелистаем этот трепетный документ от августа до октября.

Екатерина Афанасьевна Протасова:

1812-го года, 2 августа. Уехал наш добрый Жуковский. Да благословит Господь Бог путь и намерение его. В сборах своих он много мне показал истинной дружбы.

25-е <августа> получено письмо от Жуковского из деревни Перхуткиной. Он перешел пешком 28 верст, идет к Можайску. Он не поглядел ни на усталость, ни на все препятствия, написал ко мне.

Маша Протасова:

4 число <сентября>. Маменька решила послать к Жуковскому, написали, поплакали довольно и отправили Фатяя Ивановича, коего имя вечно будет славиться в пределах Муратовских, за скорую готовность ехать к доброму нашему Жуковскому, за преданность и храбрость. Потом друг Маменька вдруг непременно решила ехать в Орел... Мы поехали в 12 часов, длинным обозом из восьми штук

составленным. Всякую минуту оглядывалась, не едут ли за нами мародеры, но по счастью кроме телег со всякой всячиной, линейек, колонок, ничего не видала.

Саша Протасова:

5 число. Пришел к нам г-н Немич и сказывал, что окаянный Бонапарте оставил Москву и пошел от нее прочь без сражения... После обеда Дуныша села рисовать подле окошка, я села подле нее.

Маша Протасова:

6 сентября. Нынешний день был очень богат приключениями... Приехала Смоленская губернаторша, которая в крайней нужде и даже долго была без квартиры. У нее три дочери, старшей 17 лет, при осаде Смоленска они были ранены, оттого что бомба влетела в дом их. Добрый наш Василий Иванович тотчас отправился отыскивать эту семью, и мы все в ожидании его возвращения оставшись одни, вышли на балкон. Не успели мы показаться, как вдруг увидели в доме Солового множество мужчин, прибежавших смотреть на нас. Разумеется, что нам это не очень понравилось, мы с преклоненными главами возвратились, сели под окно. В утешение начала Маменька бранить Солового, называть его не патриотом, дураком и говорить, что он только и умеет, что *conter fleurettes aux dames*^[47] и что Отечество защищать не хочет.

Василий Иванович возвратился; он сделал всевозможное добро смолянке этой... После обеда мы, три сестры, вздумали ехать к вечерне... Дорогой встретили мы множество незнакомых фигур, одна другой важнее. В переулке нашли мы двух мужчин, несущих узлы в руках. Мы начали смотреть их товары и знали, что это бедные жители Смоленска, их господа бежали и находятся теперь в крайности. Милый наш Киреевский пошел опять помогать...

Возвращаясь домой, нас нагнал Граф; Маменька позвала его пить к нам чай, и он явился. Мы с Сашей стояли на балконе. Его сиятельство явилось и начало нас осыпать комплиментами. Несмотря на сумерки, я покраснела, и в наказание так больно укусила язык себе, что мне после бедную девочку жаль стало...

Саша Протасова:

7 сентября. Г-н Немич сказал нам, что неприятели взяли Москву, что нас всех несносно огорчило, а у бедной Маменьки сделалась головная боль и она во время обеда уснула... Петрушенька наш очень

кашляет. Василий Иванович поехал в аптеку, весь этот день было несносно грустно об Москве, и оттого, что Маменька была нездорова и наконец после многих трудов день кончился.

8 сентября — воскресенье. Маменька и мы все поехали к обедне, после служили молебен... Василий Иванович ходил к Панину, выехавшему из Москвы в тот самый ужасный день, и слышал от него подробности. Потом бегал смотреть пойманных французских разбойников, которых мужики переловили в Рославле и сюда привезли 40 человек. День весь прошел для всех нас самым грустным манером...

Маша Протасова:

9 сентября. Мы все утро провели в ожидании Плещеевых. Маменька кашляет и слаба чрезвычайно. Со всех сторон приносят беспрестанно разные вести, которые не дают ни минуты покою и Бог знает, что с нами будет, если это беспокойство продолжится... Этот день только для того написан, чтобы Саша могла описать следующий счастливый и никогда не забудется.

Саша Протасова:

10 сентября. Граф Чернышев поутру сам стряпал кушанье, Соловой его ел, и было много людей, которых рассказы нас очень огорчили, после обеда приехал князь Трубецкой и между многими ужасными новостями сказал нам, что Московская Милиция вся истреблена, что ни одного офицера не осталось, мы были совсем в отчаянии... но Бог, которого Милосердие всякую минуту нас чудесным манером показывает, хотел Маменьку утешить и вдруг наш добрый Жуковский явился из Армии курьером к Губернатору в 7 вечера, этот бесподобный вечер никогда не забудется, и 10 сентября надо так же праздновать, как 17 июля. Было очень много гостей. Все приходили его смотреть, он нас успокоил много на счет дурных слухов, которые у нас носились... Добрый наш друг Жуковский всякую минуту умеет показать свою дружбу. Бог ему заплатит. Он приехал к Губернатору, чтобы ему сказать, что сюда в Орел привезут 5 тысяч человек раненых, 30 будет стоять у Плещеевых в доме, и мы готовим для них корпию и бандажи.

Дуняша Киреевская:

11 сентября. Сегодня ночь была всем покойна. Кто просыпался, тот засыпал без страха, а кто не мог заснуть, то знал, что не от

грусти... Мы опять говорили о счастье нашем видеть Жуковского и покойно думать теперь даже о будущем.

Маша Протасова:

12 сентября. Время наше проходит так же, как и прежде: мы теперь вместе с другом нашим Жуковским; худо однако то, что он очень был весь день печален...

После обеда были Гедеоновы: она мне очень понравилась и жалка чрезвычайно. Может быть, через несколько дней и мы будем искать угол и просить помощи у людей, которые беднее нас. Я ничего жалеть не стану, если здоровье маменькино снесет все беспокойства...

Трудно найти кого-либо, кто был более счастлив, чем я. Все, кто меня окружают, — настоящие ангелы, и я уверена, что я им дорога, чего можно желать еще?..

День кончился как обыкновенно; незнание будущего иногда мучительно, но теперь самое большое благо.

Саша Протасова:

13 сентября. После обеда Маменька встала, и мы пришли в гостиную и сели делать корпию. Анна Ивановна, узнавши, что у бедного нашего друга Жуковского нету носовых платков, стала ему кроить из своего полотна.

Дуняша Киреевская:

14 сентября. Поутру у нашей Маменьки опять голова болела. Вот уже две недели начинаются этим все дни наши!

Маша Протасова:

15 сентября. Сегодня мы ездили в Собор к обедне... Мы видели в церкви многое множество интересных людей... возвратившись домой нашли у себя бедного Веллас, который в прежалком состоянии и добрые наши Жуковский и Киреевский хотят об нем хлопотать.

Саша Протасова:

16 сентября. Маменькино здоровье все не лучше, и грустно до смерти, по утру мы учились по-английски, добрый наш Василий Иванович так снисходителен, что занимается нашим учением как бы ему самому было весело. Перед обедом вдруг явился Шереметев, которому мы все чрезвычайно обрадовались; сказывал нам, что они все тут, и если будут иметь дом, то долго побудут. Еще сказывал, что потерял в Москве библиотеку из 3 тысяч книг и славного forte-piano.

Дуняша Киреевская:

17 сентября. ...Мы сели за английский урок, и скоро он прервался приносом любимого именинного пирога, который всем нам очень понравился прекрасным и вкусным своим запахом... После обеда у Маменьки заболела голова, и она легла в постелью... Маменька проснулась здоровой, и мы весь вечер провели весело.

Маша Протасова:

18 сентября. ...Привезли раненых солдат: эти несчастные гораздо жалче, чем вообразить возможно, они терпят всякую нужду, и даже надежды мало, чтоб им было хорошо когда-нибудь. Из 180, которых привезли, в одну ночь умерло 20!

Саша Протасова:

19 сентября. У меня к вечеру разболелось горло и меня заставили его полоскать.

Маша Протасова:

21 сентября. Мы ездили сегодня к обедне, но по обыкновению не застали и заслушали прекрасный молебен... Возвратясь домой, ели картофель и собирали своего Жуковского... Текутьев приезжал сказывать, что 17 число началось сражение. Бог знает, что с нами будет. Добрый Бабарыкин опять был и восхищался казацким кафтаном Василия Андреевича.

26 сентября. За обедом предлинный разговор о женитьбе, о монашестве и о должностях жены; всякий говорил разное, много было умного и много большой бессмыслицы.

Саша Протасова:

27 сентября. Мы с большим нетерпением ждали нашего милого Александра Павловича (22-летний двоюродный брат. — Д. III.), который пришел очень поздно и чрезвычайно грустен и бледен от того, что был в рекрутском наборе, он начал собираться ехать и спешил, мы его попросили, чтобы он пошел с нами гулять сперва, и он в ту минуту согласился, он удивительно как мил, ласков к нам, точно как брат, просил списать ему стихи Жуковского.

Екатерина Афанасьевна Протасова:

28 сентября. Дети мои заленились писать журнал... Жуковский, добрый наш Жуковский опять поехал в Армию. Хотя он мне близок очень, но я без всякого пристрастия говорю, что он редкий молодой человек, Господи, сохрани его своею милостию. Теперь я еще больше буду мучиться от войны.

Дуняша Киреевская:

11 октября. День наш начался гораздо грустнее всех прежних, и мы пошли искать истинного утешения, молиться Богу. Обедню застали мы очень рано, потом слушали молебен... После кушанья пошла Саша наряжаться, а меня сестра начала уговаривать идти тоже к Соловым. Маменька сказала и я пошла одеваться. Сборы наши (которые между нами будь сказано, были очень смешны) продолжались до сумерек, потом сели мы в карету, заложенную парой. Бедная Саша покраснела и еще не успела откраснеть, как мы приехали. Входим в большую длинную горницу и находим там двух сестер Генерала... Казалось, нам были очень рады.

13 октября. Мы поехали в Собор, подъезжая услышали звон, выходя спрашиваем, отошел ли молебен, нам отвечают, что и обедня еще не начиналась. Я без памяти обрадовалась. В церкви было уже все собрание. Губернаторша очень милостиво поклонилась Маше... Граф <Чернышев> дурачился и кривлялся беспрестанно, мне то чрезвычайно было скучно; мы все собрались благодарить Бога за победу, и никто не молился, большая половина говорила: «Когда это кончится!»

Саша Протасова:

20 октября. Сегодня воскресенье, мы обедню прогуляли и за то Маменька послала нас с калачами к больным солдатам... Поворотив к дому Сафроновых, мы увидели на трех телегах французов, которых переловили в Малоархангельске. Мы подошли к ним и долго разговаривали. Они, бедные, совсем перемерзли и жалки очень. Василий Иванович шел от обедни и нагнал нас, он пошел с ними разговаривать, а Маменька, которой мы о них сказали, послала им калачей и сбитень.

Дуняша Киреевская:

21 октября. Сегодня меня разбудили голоса сестер, они принесли афишку, что Москва опять занята нашими, что злодеи хотели подорвать все, но истинным чудом Божиим остались все соборы невредимы... Поутру приехал Барков и сказал, что Париж взяли Гишпанцы (испанцы. — Д. Ш.).

Саша Протасова:

24 октября. Поутру явился Текутьев и рассказывает нам, что привезли 1175 человек пленных, и что все они в ужасном положении;

24 офицера, и что он, Текутьев, видел их, один офицер совсем без рубашки, а другой три месяца не переменял ее. Маменька послала им завтрак и рубашек... Весь город утверждает, что Наполеон ранен, мы без памяти обрадовались, и Маменька позволила мне кофею, которого я уже два года не пила.

Я забыла сказать, что после обеда раненый офицер, который у нас стоял, привел другого раненого 16 лет молодца Кожухова, у которого еще из-под Смоленска пуля в правом боку, а как он ранен в левый, то ее невозможно вырезать, и бедный мальчик не может согнуться и насилу ходит; но весело слышать, как он судит и говорит, что никакая сила не удержала бы его в Орле, если бы он ходить мог, потому что русскому стыдно теперь, когда Москвы нету, жить покойно...

У нас поставлены два раненых офицера на квартиру, Федор Петрович Девянин и Григорий Васильевич Букаревич.

26 октября. Поутру Маменька моя послала к жалким французам завтрак... В вечеру явился <пленный> Гутальс, он несносно как жалок, тем больше, что совсем на француза не похож ни крошки, не хвастает и деликатен чрезвычайно... Маша моя играла на фортепианах, и бедный Гутальс был в восхищении и со слезами почти сказал, что он совершенно счастлив мною и что она прекрасно играет. Время было мерзкое и метель... все ушли прежде ужина.

* * *

На обратном пути в армию, в Тарутинский лагерь, Жуковский заехал в имение Чернь, к своим старым друзьям Плещеевым. Здесь, в тишине, вписал новые строки в то пространное стихотворение, которое потом назовет «Певцом во стане русских воинов».

В Черни его застал первый снег. Из окна плещеевского дома Жуковский увидел, как быстро побелела дорога. Дымки над избами металась от ветра. На опушке леса трепетали махонькие березки, забывшие сбросить листву. Стояли под снегом и ветром в ситцевых платицах и хотелось крикнуть им: бегите скорее в тепло...

Не тут ли, в Черни, Жуковский написал:

Зима, союзник наш, гряди!..

Василий Иванович Киреевский заболел и скончался 1 ноября 1812 года. Дуняша осталась вдовой с тремя детьми на руках. Через пять лет она вышла замуж за доброго человека Алексея Андреевича Елагина — тульского помещика, участника войны с Наполеоном. В 1818 году Дуняша родила третьего сына, мальчика окрестили Василием.

* * *

Ничем не омраченная дружба Василия Андреевича Жуковского и Авдотьи Петровны Елагиной продолжалась полвека, буквально от колыбели до гроба.

О силе и постоянстве этой дружбы можно судить хотя бы по обращениям Жуковского и Елагиной друг к другу. Уже далеко не молодые люди, они по-прежнему начинают письма с радостного, почти детского оклика: «Жукачка милый!», «Милый ангел мой Дуняша!», «Милый брат!..», «Милая моя сестра!», «Милая душа Дуняша!», «Милый Жук!»...

Эта удивительная женщина не писала романов и стихов, но имя ее по праву вошло в литературные энциклопедии. Она создала «Библиотеку для воспитания» — первое в России научно-методическое издание по педагогике. Перевела на русский язык труды выдающихся европейских педагогов и философов: Песталоцци, Локка, Гизо... И еще — она писала письма. Что ж тут такого, скажете вы. Кто же в ту пору не писал писем? Но письма Елагиной были особенным явлением даже для эпистолярного XIX века. Выдающийся русский историк и архивист Петр Бартнев говорил о переписке А. П. Елагиной: «Если эти письма перейдут во всеобщее сведение, наши потомки будут завидовать нам, что посреди нас жила эта женщина...»

И, право, трудно не позавидовать адресатам Авдотьи Петровны. Но не потому, что ее письма — кладезь оригинальных умозаключений и философских построений. Нет, они написаны очень простым слогом. А обаяние этих писем — в том «очарованном потоке» любви и дружества, который и спустя два столетия увлекает всякого, кто прикасается к ее посланиям.

Авдотья Петровна в эпистолярной прозе создавала язык русской лирики. Отголоски ее писем можно легко найти в стихах Жуковского. Нет, не случайно Василий Андреевич называл свою Дуньшу «милым хранителем поэзии».

Вот она пишет Жуковскому (в момент написания письма ей 26 лет):

«1 мая 1815, 4 часа поутру. Долбино.

Сегодня праздник весны; магическое слово Май разбудило меня еще до солнца... Сегодня можно смело оттолкнуть от себя на время грусть и пустить на ветер! День тихий и ясный, может, ничего не принесет назад! а прелестный этот воздух, майское светлое небо и любовь Божия везде и во всем, какой тьмы не развеют!.. Какая везде любовь!.. Мои все еще спят утренним сном, дети все загорели, здоровы... У меня отворено окно, солнце играет лучами с свежим утренним туманом, лягушки кричат, дожидаясь полного дня... и все это так хорошо, так весело сердцу, что хотелось бы вам отдать это чувство, милый Жуковский! — в одном из тех листочков, которые вы отдали мне, помните ли, вы рассуждали о молитве? — вы говорили, что молиться — значит или просить чего-нибудь с хорошим намерением, или благодарить, — мне кажется, есть еще самый простой и самый частый манер молитв — любить! — Не просишь ничего, не думаешь даже порядочно или, по крайней мере, не разбираешь своих мыслей, а с наслаждением любишь, да и только! И так я готова целую жизнь, — и как бы хлопотно ни жить, готова жить и хотеть добра, хоть бы сто лет! Право, Жуковский, жизнь что-то хорошее, — вообразите только это, когда я соглашаюсь жить сто лет, не выговаривая себе счастья в жизни?..»^[48]

А вот стихи Жуковского, написанные вскоре после получения этого письма:

Легкий, легкий ветерок!
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Что с тобой в ней возвратилось,

Перелетная весна?
Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют,
И, сияя, улетают
За далекие леса!..

Переписка Василия Андреевича Жуковского с Авдотьей Петровной Елагиной издана благодаря многолетним трудам Эммы Михайловны Жилияковой, профессора Томского университета. Она восстановила диалогичность переписки. Если раньше публиковались лишь письма Жуковского, то в новом издании впервые есть возможность прочитать ответные письма Авдотьи Елагиной. И теперь мы видим, как одно сердце отзывается другому. Мы буквально ощущаем, как происходит обмен чувствами, мыслями, переживаниями, и начинаем понимать, какое это особенное дарование — *эпистолярная отзывчивость*.

И тут становится чуть понятнее, откуда пришел Пушкин (хотя упоминаний о Пушкине в переписке всего одно-два), среди чего он вырос: среди послевоенных тесных душевных связей и таких же сильных привязанностей, на перекрестье высоких дружб и нежных влюбленностей.

После писем Жуковского и Елагиной кажется совершенно несправедливой давняя традиция помещать переписку классиков в последние тома собрания сочинений. По эмоциональной и художественной силе переписка Жуковского и Елагиной встает рядом с главными произведениями русской литературы XIX века. Это именно та живая, трепетная, *документальная классика*, которой так не хватает при изучении классики художественной. Дети сейчас в большинстве своем, увы, не романтики, но скептики, а тут каждое письмо удостоверяет подлинность Татьяны Лариной и Наташи Ростовской, Владимира Ленского и Андрея Болконского, Александра Чацкого и Пьера Безухова. Письма доносят до нас голоса той эпохи, когда люди не экономили на приветливых словах, не стеснялись восклицательных знаков и каждый день спешили высказать все доброе, что было на сердце, и этим умножали в мире любовь и ласку.

В последние годы я все чаще думаю над вопросом, наивность которого рассмешит любого компьютерщика: а куда уходят те письма в электронной почте, которые мы не успеваем сохранить или случайно стираем? Что с ними происходит? Неужели они исчезают в никуда, в небытие, не оставив здесь никакого следа? Потерявшееся бумажное письмо всегда есть надежда найти, а какой добрый гений вернет письмо электронное? Где, в каких дебрях мироздания, его искать?

И как тут не оглянуться с ностальгией на XIX и XX века, когда письма и терялись, и горели, но не исчезали вот так, без вздоха, без горстки пепла...

* * *

Графиня Антонина Дмитриевна Блудова вспоминала: «Одна черта в разговоре Жуковского была особенно пленительна. Он, бывало, смеется хорошим, ребяческим смехом, не только шутит, но балагурит, и вдруг, неожиданно, все это шутовство переходит в нравоучительный пример, в высокую мысль, в глубоко-грустное замечание...»^[49]

В связи с этим наблюдением о характере Жуковского уместно вспомнить одну историю. Летом 1828 года до Авдотьи Петровны Елагиной дошли слухи, что Жуковский был проездом в Москве. Ей не верится, что старый друг мог не появиться в ее доме, и она срочно пишет Жуковскому в Петербург:

«Милая душа моя!.. Меня недавно уверяли, будто вы проехали Москву и пробыли здесь сутки, уверяли, будто вас видели...»^[50]

Жуковский в Москву не приезжал, о чем он мог бы с чистой совестью тут же сообщить, но Василий Андреевич не так прост. Как писал Елагиной однажды Евгений Баратынский: «Я особенно люблю Жуковского в его шалостях: так утешительно видеть в человеке с отличным умом это детское простодушие, которое удостоверяет, что могущество мысли не препятствует сердечному счастью...»

Итак, получив недоуменное письмо Елагиной, 45-летний Жуковский, вместо скучного опровержения слухов, надевает на свою уже изрядно полысевшую голову колпак волшебника-невидимки. Зная доверчивость адресата, Василий Андреевич инсценирует в письме

свой мнимый приезд, окутывая его романтической дымкой, на ходу сочиняя правдоподобные детали.

«Ваша правда, милая Дуняша, я был в Москве, но вы не видели меня. Вот как это случилось... Мне было поручено весьма важное дело, которое надобно было исполнить в тайне, так чтобы никто этого совершенно и подозревать не мог. Времени также не позволено было мне терять ни минуты. Я проехал через Москву. Если бы я к вам явился, то, вероятно, это как-нибудь сделалось бы известным <...> Я должен был отказаться от счастья вас видеть. Однако позволил себе взглянуть на вас хоть невидимкою. Я в сумерки подходил к вашему окну и видел вас; подле вас стояли, кажется, Маша и Ванюша (дети А. П. Елагиной. — *Д. III.*). Горница была освещена. Слышались милые голоса: разговаривали весело, смеялись. Я простоял около получаса...»^[51]

В конце письма Жуковский не без сожаления снимает с себя колпак невидимки и объясняется уже всерьез: «В эту минуту... я проснулся у себя в Павловске на постели и очень обрадовался, что все это был сон... Наяву этого никогда не могло бы случиться, и вы хорошо сделали, что не поверили клевете на мою к вам дружбу...»^[52]

Глава шестая

Жуковский, дай мне руку!

Иван Дмитриев. 1831 г.

Вдохновение. — Тарутинский лагерь. — Когорта генералов. — Кутайсов: надежды и скорбь. — Судьба генерала Строганова. — Ответ Блудову. — Пропавшее издание. — Первые читатели: Иван Лажечников и Андрей Раевский. — Литературный Савельич

С конца 1812 года и до конца войны не было в России произведения более популярного, чем «Певец во стане русских воинов». Жуковский пленил читателей жизнелюбием, искренностью молодого чувства, восторженностью и лиричностью, смелостью поэтической формы и некоторой театральностью. «Певца...» невольно хочется читать вслух, он рассчитан на декламацию, причем не в тесном помещении, а в просторной гостиной, в зале Дворянского собрания, или еще лучше — где-нибудь на просторе, среди неба и полей.

В «Певце...» сошлось все, чего просило тогда русское сердце. Не все было стройно в этом большом стихотворении (сегодня его бы назвали поэмой), но авторское дыхание и заданный ритм были столь сильны, что неудачные или несколько темные по смыслу строки терялись в потоке, рожденном истинным вдохновением. Позднее, когда Жуковскому указывали на слабые места и он пытался что-то переписать, получалось еще хуже. Вдоволь намучившись, он понял, что лучше эту вещь не трогать. «Все мои поправки бывают несчастливы»^[53], — сетовал Жуковский в письме Дмитриеву.

Большая часть «Певца...» была написана Василием Андреевичем в Тарутинском лагере, во время передышки, которую получила тогда русская армия. Начиная со второго дошедшего до нас издания Жуковский снабжал название подзаголовком: «Писано после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине». Значит, стихотворение было написано между 2 сентября и 6 октября (по старому стилю).

Герои «Певца...» были у поэта «под рукой» (кроме погибших к тому времени Кульнева, Кутайсова и Багратиона). На штабные совещания в Главную квартиру приезжали те, кто вскоре навечно запечатлется в стихах Жуковского. Можно было увидеть их обветренные лица, услышать их голоса, заметить их привычки. Вот та славная когорта генералов, которая пройдет в «Певце...» перед глазами читателя: Ермолов, Раевский, Витгенштейн, Коновницын, Платов, Беннигсен, Остерман-Толстой, Торماسов, Багговут, Дохтуров, Воронцов, Щербатов, Пален, Сеславин, Давыдов, Чернышев, Паисий Кайсаров, Строганов...

Возможно, кто-то из них (а может быть, и сам Кутузов) рассказывал Жуковскому о Кутайсове и возможных обстоятельствах его гибели. Многие из тех, кто знал Александра Ивановича Кутайсова, не могли смириться с его бесследным исчезновением в огне битвы и предполагали, что он в беспамятстве мог попасть в плен.

* * *

Никто не видел 27-летнего генерала Кутайсова погибшим. В разгар битвы сослуживцы заметили лишь одиноко скачущего по полю его коня. (Кстати, на родовом гербе Кутайсовых изображены рыцарь в латах и стоящая на задних ногах лошадь, они вместе держат щит. Под щитом написано: «Живу одним и для одного».)

Жуковский в своем «Певце...» описал именно этот эпизод:

О горе! верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нем его разбитый щит...
И нет на нем героя.

Коня поймали. «Седло и стремя были окровавлены, — свидетельствовал очевидец, — тело не найдено, и обстоятельства последних минут остались неизвестны».

Вскоре после Бородинской битвы один петербургский сановник записал в дневник: «Курьер привез известия о генеральном сражении.

Граф Кутайсов пропал. Полагают, что он взят в плен».

Во многих и многих русских сердцах теплилась надежда. В начале 1813 года Анна Петровна Бунина (дальняя родственница Жуковского по отцу) в журнале «Вестник Европы» опубликовала горестное стихотворение, посвященное памяти погибшего в Бородинском сражении. Эти стихи напоминают плач Ярославны, каждое слово в них омыто слезами: «Ужель и ты!., и ты / Упал во смертну мрежу!»

Но есть в стихотворении строки, где поэтесса обращается к Александру, как к живому:

Войди в свой дом, ликуя твой возврат,
Отец, сестры и брат
Заранее к тебе простерли руки!..

Начальник нашей артиллерии на Бородинском поле генерал Александр Кутайсов был одним из самых молодых, талантливых и обаятельных русских военачальников. Вот как писал о нем Жуковский все в том же «Певце...»:

Он видом и душой
Прекрасен был, как радость;
В броне ли, грозный, выступал —
Бросали смерть перуны;
Во струны ль арфы ударял —
Одушевлялись струны...

Кутайсов владел всеми европейскими языками и, кроме того, турецким и арабским. Вокруг его постели всегда стояло до десяти больших табуретов, служивших генералу столами. На одном были его чертежи, на другом — математические расчеты, на третьем — переводы, на четвертом — артиллерийские записки, на пятом — ноты...

Гений военной мысли, автор первого боевого устава артиллерии, Кутайсов был одарен и художественными талантами. Поэтому когда Жуковский писал, что Кутайсов «во струны арфы ударял», — это не

просто красивый образ. Александр играл на скрипке, превосходно рисовал, хорошо знал поэзию, писал стихи (увы, они не дошли до нас).

Скорбя об утрате, один из друзей писал: «Вокруг Кутайсова было все так живо, так весело и вместе с тем так пристойно...» Поручик 17-й артиллерийской бригады вспоминал, как вечером 25 августа, накануне сражения, Кутайсов объезжал батареи, давая последние указания: «Он соскочил с лошади, сел на ковер и пил с нами чай из черного обгорелого чайника. — „Я сегодня еще не обедал“, — сказал он. Объяснил нам значение следующего дня, вскочил на лошадь и помчался. Мы следили долго этого любимого нами человека, и кто знал, что в последний раз».

Когда Анна Бунина в своем стихотворении звала молодого генерала вернуться в отчий дом, она имела в виду Рождествено — подмосковную усадьбу Кутайсовых.

Если бы сейчас генерал Кутайсов вернулся в село Рождествено, он не нашел бы многого, что привычно было его взору. Но что-то милое, знакомое сердцу, увиделось бы ему в облике трехэтажного дома, выросшего недавно рядом с сельским храмом. Порттик над главным входом делает этот дом похожим на уютную усадьбу XIX века. У дверей табличка: «Православная школа „Рождество“».

В этой сельской школе имя Александра Кутайсова для всех ребят — родное. Даже первоклассники расскажут вам, что Кутайсов — «это герой 1812 года из нашего села, он командовал всеми пушками». В школьном коридоре — портреты Кутайсова и других героев Отечественной войны. Их имена звучат на уроках. В школьном музее можно увидеть настоящее ядро, «залетевшее» с той войны.

Свежий номер школьного журнала «Лексикон» весь посвящен войне 1812 года и открывается словами: «Наша школа стоит на земле усадьбы Рождествено — в начале XIX века она принадлежала семье графа Кутайсова, двадцатисемилетнего генерала, погибшего при защите батареи Раевского на Бородинском поле. И храм, в который мы ходим все вместе, поставлен его родителями — Иваном Павловичем и Анной Петровной Кутайсовыми в память о сыне и о всех погибших на поле Бородине. Так что Бородинская битва для нас — не только в учебниках, кино и оловянных солдатиках. Нам обязательно нужно знать о той войне и делиться этим знанием с другими, оберегая память, которая очень легко может исчезнуть...»^[54]

В 1815 году однокашник Жуковского по Благородному пансиону, осторожный дипломат Дмитрий Николаевич Блудов посоветовал автору «Певца...» снять в очередном издании стихотворения упоминание о графе Павле Александровиче Строганове. Генерал Строганов в Бородинской битве сначала командовал 1-й гренадерской дивизией, а после тяжелого ранения Николая Тучкова принял командование над 3-м пехотным корпусом.

В «Певце...» ему посвящены строки: «Наш смелый Строганов, хвала! / Он жаждет чистой славы; / Она из мира увлекла / Его на путь кровавый...»^[55] Блудов сетовал Жуковскому на слабость этих стихов и по-дружески просил снять их при подготовке нового издания. При этом он прозрачно намекал, что упоминание о Строганове некоторыми воспринимается, как знак дружеских отношений поэта с графом, и это может повредить карьере Жуковского. Похоже, после войны некоторые влиятельные сановники находили, что Павел Александрович ведет себя слишком независимо.

Генерал-лейтенант Строганов, в 1807 году начавший свою армейскую карьеру волонтером (в чине тайного советника и звании сенатора он командовал казачьим полком), с честью прошел всю войну. В Битве народов под Лейпцигом командовал авангардом. В сражении при Краоне 23 февраля 1814 года у него на глазах погиб его единственный сын Александр — восемнадцатилетнему прапорщику ядром снесло голову. «Юноша храбрый и милый, гр. Строганов жизнь свою положил...»^[56] — говорилось в официальном рапорте «О бое при Краоне».

У Пушкина в черновой рукописи VI главы «Евгения Онегина» есть строки, посвященные этой трагедии:

...Но если жница роковая,
Окровавленная, слепая,
В огне, в дыму — в глазах отца
Сразит залетного птенца!
О страх! О горькое мгновенье!
О Строганов, когда твой сын

Упал, сражен, и ты один...

Василий Андреевич ответил Блудову очень резко (а надо сказать, что такой тон он позволял себе в исключительных случаях, и это означало высшую степень его негодования): «Строгонов достоин хвалы менее Дибича, Сабанеева и Ламберта и всех прочих; но об нем было написано; но он дрался; но он также принадлежит по храбрости и по имени к 1812 году. Оставить его имя в стихе из уважения к этой храбрости (без всяких личных видов), потом выбрасывать это имя из уважения к толкам людей <...> будет мерзко! Если б надобно было писать Певца теперь, то, вероятно, явились бы в нем имена, выбранные с большею строгостью; но он написан — пусть все, что в нем есть, в нем и останется. Прибавленные строфы дают ему вялость — согласен! И лучше, когда бы их не было! Но они уже есть, и я не имею права уничтожить их... Все имена, стоящие в Певце, внесены в него тогда, когда я был в деревне (и имя Строганова также); личных видов во мне вам предполагать невозможно; до других же дела нет».

У Строганова служил адъютантом подпоручик Петр Оленин, сын Алексея Николаевича Оленина. Думается, что они хорошо понимали друг друга: Павел Александрович потерял сына, а Петр — брата Николая, убитого в Бородинском сражении. Генерал и его адъютант дошли до Парижа...

Граф Павел Александрович Строганов скончался 10 июня 1817 года. Герою Отечественной войны было всего 45 лет. Узнав скорбную весть, Батюшков записал в своей дневниковой тетради: «Сию минуту узнаю о смерти графа Павла Александровича Строганова. Я с ним провел 10 месяцев в снегах Финляндских. Потом он не переставал меня любить: никогда не забуду его снисхождений. Покойся с миром, человек тихий и кроткий!..»^[57]

В 1839 году Жуковский помянет Павла Александровича в стихотворении «Бородинская годовщина»:

...И других взяла судьбина:
В бое зрев погибель сына,
Рано Строганов увял...

Из Тарутинского лагеря Жуковского командировали в Орел, и в дороге поэт добавил к стихотворению несколько строф. Дописывал он «Певца...» в имении своих друзей Плещеевых, где недолго гостил после свидания с Протасовыми и Киреевскими. Там, в имении Чернь, он и поставил в рукописи дату окончания работы: 20 октября 1812 года.

Для осени 1812 года «Певец...» — произведение на первый взгляд преждевременное. Оно напоминает ликующую песню для победного застолья княжеской дружины. А какое может быть ликование, какие здравицы, когда Наполеон буквально только что покинул Кремль и до Парижа было три тысячи километров, которые предстояло пройти с боями. Впереди, чего еще никто не знал, были полтора года сражений и огромные жертвы.

Однако «Певец...» оказался произведением не тактическим, а стратегическим. Популярность его становится всеобщей в 1813 году, когда врага изгнали из Отечества и наша армия отправилась в освободительный Заграничный поход. По рукам ходили «Вестник Европы» (декабрьские № 23–24 за 1812 год) с публикацией «Певца...», а также два отдельных издания 1813 года.

Но впервые, очевидно, «Певец...» был опубликован как «летучий листок» в походной типографии еще в ноябре 1812 года. Такая публикация могла произойти только с благословения М. И. Кутузова. Следовательно, можно предполагать, что начальник типографии Андрей Кайсаров и главнокомандующий познакомились с «Певцом...» еще в рукописи. К сожалению, ни одного экземпляра «походного» издания «Певца...» в архивах пока не обнаружено. Хотя сохранились отзывы первых читателей.

Вот двадцатилетний прапорщик Московского ополчения Иван Лажечников записывает в Вильно 20 декабря 1812 года: «Часто в обществе военном читаем и разбираем „Певца в стане русских“ г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пиесу наизусть... Какая Поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов! <...> Читая изображение лучших полководцев нынешней

войны, думаешь, что *певец* в самом деле родился в шумном стане военном, возрос и воспитывался среди копий и мечей...»^[58]

Легко представить, как смеялся Жуковский, прочитав в 1820 году (тогда были опубликованы записки Лажечникова) о себе: «... воспитывался среди копий и мечей».

Но что Лажечников верно почувствовал: «Певец...» во многом — плод воинского дружества. «Поэту, конечно, знакомы все прелести дружбы: для того-то он так хорошо и описывает ее. Многие говорят, что чувство сие более не существует на свете... Советую им заглянуть в стан военный: там верно увидят они дружбу, покоящуюся под щитом прямотушия и чести...»^[59]

В заключение молоденький прапорщик с волнением пишет: «Время и место не позволяют мне разобрать все красоты „Певца“, они бесчисленны!.. В. А. Жуковский прибыл теперь в Вильну с главной квартирою... Мне сказывали, что он был опасно болен, но за молитвами муз... оживает...»

Другой прапорщик 1812 года, Николай Коншин (будущий литератор, директор ярославского Демидовского лицея и друг Баратынского), вспоминал о впечатлении от первого чтения «Певца...»: «Эта поэма, по моему мнению, достойная Георгия 1-й степени, делала со мной лихорадку».

Молодой поэт Андрей Раевский где-то на биваке близ Праги сравнивает два произведения Жуковского — раннюю «Песнь барда...»^[60] и «Певца...» — и находит, что второе намного выше первого. А все потому, справедливо считал Раевский, что автор «Певца...» лично участвовал в описываемых им событиях, а не воспевал подвиги воинов, сидя дома за письменным столом.

«Может ли тронуть меня описание сражения какого-нибудь стихотворца-профессора? — размышлял Андрей Раевский. — Он должен подражать или творить противное справедливости. С одинаковым ли чувством читаю я „Певца в стане русских воинов“ и „Барда на гробе славян-победителей“? Очарованный согласной цевницею барда, я не ощущаю того сладостного, невольного восторга, объемлющего душу мою, когда внимаю глас воина, который при треске падающих градов, при пламенном зареве битв, перед стенами разрушенной столицы, за круговой чашей ликующих братьев, готовых

к победе или смерти, живописует предстоящее взору и запечатленное в сердце...»^[61]

В истории отечественной словесности это редкий случай (что-то подобное произойдет в нашей литературе лишь во время Великой Отечественной войны): популярность у «массового» читателя и официальное признание пришли к автору почти одновременно. Без «Певца...» Жуковский, скорее всего, никогда бы не стал наставником цесаревича и не получил бы тех громадных возможностей для проявления своих благородных человеческих качеств, которые дала ему вскоре служба при дворе.

После Андрея Кайсарова в судьбе «Певца...» участвовали Александр Тургенев, Николай Оленин, Дмитрий Дашков и Константин Батюшков. Тургенев взял на себя расходы на первое издание, и уже 6 февраля 1813 года «Певец...» вышел отдельной книгой. Оленин занимался оформлением (к его участию в судьбе «Певца...» мы еще вернемся). Дашков подготовил примечания. Батюшков соперничал общей работе и помогал советами.

Сам Жуковский в эту пору «больной, изнуренный усталостью, жил безвыездно у Катерины Афанасьевны»^[62] в Белеве, отогреваясь душой среди родных людей. Тогда, быть может, жив был еще деревенский дурачок Варлашка, ходивший во фланелевой юбке. Там, где Жуковский всех знал и все знали его, славы своей он не чувствовал и даже не предполагал, что она свалится на него.

Через некоторое время он окажется в столице, при дворе, и слава будет слепить его, как яркий фонарь слепит актера на сцене. Но он не даст ослепить себя и всю свою известность обратит на помощь тем, кто оказался в беде или в нужде. Однажды он напишет Плетневу, тогда начинающему литератору: «Хвала света есть русалка, которая щекотаньем своим замучивает хохотом до смерти»^[63].

* * *

Главное же событие в судьбе «Певца...» и его автора произошло благодаря старому поэту (и одновременно — министру юстиции в тогдашнем правительстве) Ивану Ивановичу Дмитриеву. Он показал

стихи Жуковского вдовствующей императрице Марии Федоровне. Так «Певец...» и его автор стали известны царской семье. С тех пор началась всероссийская слава Жуковского, а Дмитриев стал для молодого поэта кем-то вроде литературного Савельича. И совершенно справедливо, что первое издание «Певца во стане русских воинов» осталось в истории нашей литературы под именем «тургеневского», а второе названо «Дмитриевским».

Вот что писал Иван Иванович Дмитриев Жуковскому 20 февраля 1813 года (из Петербурга в Белев):

«Любезный Василий Андреевич.

С большим удовольствием читал я ваши последние произведения; с удовольствием, какое сродни иметь только тому, кто сам знает цену искусства и не завидует, но сорадуется чужим талантам. Жаль только, что в „Певце во стане Русских Воинов“... вероятно есть ошибки переписчиков... Но это не помешало всем отдать справедливость изяществу вашей поэзии. Вчера Государыня, вдовствующая Императрица, можно сказать, с восторгом изволила хвалить ее и препоручила мне просить вас, чтобы вы прислали ко мне вашу пьесу, переписанную собственной вашей рукою. Она желает сама сделать ей второе издание... Надеюсь, Василий Андреевич, что вы примите за благо мои негоциации и дозволите мне гордиться успехом. Я не пеняю, что вы перестали ко мне писать; чувствую сам, что некогда, но желаю, однако ж, чтоб вы с присылкою вашей пьесы уведомили меня по-авторски, и кратко и подробно, о всех ваших воинских подвигах. Карамзин все еще в Нижнем, и В. Пушкин там же; а я все еще здесь, но часто мысленно гляжу на собственное пепелище, где некогда надеялся,

Что солнце дней моих в безмолвии зайдет
И мой последний взор на друга устремя... ^[64]

Прощайте, любезный Василий Андреевич, да хранит вас Благость Небесная и возвратит тем, кои вас искренно любят.

Иван Дмитриев.

СПб. 1813. Февраля 20.

Р. С. Молитва моя сбылась, о чем я уже узнал по написании письма, которое приготовлено было в армию»^[65].

Долго исследователи с грустью указывали, что ответное письмо Жуковского не сохранилось. Но чудеса бывают! — совсем недавно письмо, пропавшее два века назад, было обнаружено в РГАЛИ^[66] и опубликовано^[67]:

«Милостивый Государь Иван Иванович!

Не могу изъяснить, с какой благодарностью к вам читал я ваше лестное ко мне письмо. Никогда не воображал я иметь счастье обратить на себя внимание Ее Величества; и это счастье тем для меня драгоценнее, что без сомненья, обязан им вашей ко мне дружбе. Не удивительно, что я мог иметь некоторый успех в поэзии — я пользовался вашими уроками и вы всегда были моим образцом. Спешу исполнить приказание Ее Величества; имею честь препроводить при сем экземпляр моих стихов, мною переписанный. Извините, если почерк не весьма хорош; я употреблял все мое старание и уверяю Ваше Превосходительство, что лучше писать не умею...

Читая письмо Вашего Превосходительства, я вспомнил счастливое старое время; вспомнил, какие приятные вечера проводил я в вашем прекрасном домике! — но где он? Наша Москва представляет теперь печальное зрелище. Сперва сказали мне, что дом Марии Ивановны Протасовой уцелел, я заключил из этого, что и ваш домик упасен от пожара; но после к сожалению услышал, что и его постигла общая участь.

Итак! Ее уж нет,
Сей пристани спокойной,
Где добрый наш поэт
Играл на лире стройной,
И, счастья достойной,

Пройдя стезю честей,
Мечтал закатом дней
Веселым насладиться
И с жизнью проститься,
Как ясный майский день
Прощается с природой!

Исчезла мирна сень!
С харитами, с свободой,
В сем тихом уголке
Веселость обитала,
И с сердцем на руке
Там дружба угощала
Друзей по вечерам!
Но время все умчало,
И здесь — навеки там!
Как весело бывало,
Когда своим друзьям,
Под липою ветвистой
С коньяком чай душистой
Хозяин разливал
И круг наш оживлял
Веселым острым словом!
О, дерево друзей!
Сколь часто темным кровом
Развесистых ветвей
Ты добрых осеняло...

Писавши к Вашему Превосходительству, нельзя удержаться от поэтического вдохновенья...

Простите, что отвечаю на ваше письмо несколько поздно. Это не моя вина. Письмо Вашего Превосходительства было адресовано в Белев. Почтмейстер, думая, что я в Орле, переслал его в Орел, откуда оно, пролежав несколько времени на почте (ибо меня не было в городе), отправлено было ко мне в Болхов, близ которого я

поселился в благословенной Аркадии (Аркадиею называю милых мне людей, достойных золотого века). Одним словом, я получил его накануне Светлого Воскресенья; следовательно, имею право надеяться, что Ваше Превосходительство меня извините.

Но я начинаю замечать, что слишком обременяю длинным письмом моим внимание Вашего Превосходительства, повторяя уверение в совершенной моей к вам привязанности и в искреннем почтении, честь имею быть Вашего Превосходительства покорнейшим слугою

1813. Апрель 18

В. Жуковский^[68].

Когда Василий Андреевич дописывал это полное признательных чувств письмо, он еще не знал, что 16 апреля, на третий день после Пасхи, главный герой его «Певца...», фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, скончался в силезском городке Бунцлау.

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь и дождь,
И труд он делит с нами...

Михаил Илларионович простудился, когда ехал в Бунцлау в открытых дрожках, в пути его застал снег с дождем, он смертельно простудился. Ох уж этот «вихрь и дождь»...

* * *

Батюшков писал Вяземскому 10 июня 1813 года: «Жуковского „Певца“ Государыня приказала напечатать на свой счет. Готовят виньеты...»

Готовил эти виньеты выдающийся деятель русской культуры Алексей Николаевич Оленин. Его участие в «Дмитриевском» издании «Певца...» было особенно трепетным и горячим. В сражении при

Бородине участвовали два сына Оленина — Николай погиб, Петр был тяжело контужен. С осени 1812 года Алексей Николаевич неотступно думал об увековечении памяти бородинских героев. Еще в начале декабря он подал свой первый архитектурный проект.

Оленин, бывший артиллерийский офицер, предложил установить три колонны из трофейных пушек: в Смоленске, Москве и Петербурге. Пушек должно было хватить с избытком — их было захвачено 875 (сегодня в Кремле, у стен Арсенала, можно увидеть 754 наполеоновских ствола).

Более детально Оленин обрисовал свой план в поданном им императору в августе 1814 года «Опыте о приличной форме или наружном виде предполагаемого памятника из отбитых у неприятеля огнестрельных орудий в 1812 году».

Защищая достоинства своего проекта, Алексей Николаевич начинал свой «Опыт...» так: «Сей памятник, по всей справедливости, должен ясно гласить настоящим и будущим временам о страшном истреблении несметных сил врага, дерзновенно вступившего на землю Русскую! Какое же доказательство сего события может быть убедительнее несчетной военной добычи, какую мы в столь краткое время от него приобрели? Следственно, на сооружение сего памятника весьма основательно предположено было употребить без переливки те самые орудия, которые у неприятеля были нами отбиты...»^[69]

Завершая описание проекта, Оленин писал: «Знаменитые подвиги Русского народа в 1812-м году в сей колонне могут быть представлены в барельефе, обтекающем колонну широкою полосой... Сверх того... с одной можно написать имена народов, силою приведенных противу нас воевать, а с другой имена Предводителей войск наших...»^[70]

Судя по всему, подготовка виньетов для издания стихотворения Жуковского шла одновременно с работой над проектом памятника.

Возможно, что «Певец во стане русских воинов» своей архитектоникой напоминал Оленину ту стройную и величественную колонну, о возведении которой он мечтал. Конечно, странно сопоставлять строки и пушки, но число строк в «Певце...» (694) почти совпадает с количеством пушек, необходимых, по мнению Оленина, для возведения победной колонны. А яркие поэтические характеристики военачальников и в самом деле напоминают барельефы.

В письме 30 июня 1813 года Батюшков пишет Жуковскому: «Еще два слова: сегодня Оленин, которому И. И. Дмитриев поручал нарисовать для „Певца“ виньеты, показывал мне сделанные им рисунки. Они прекрасны, и ты ими будешь доволен. Жаль, что издание не прежде месяца готово будет. На одном из виньетов изображен вдали стан при лунном сиянии и в облаках тени Петра, Суворова и Святослава, гениев России. Твои куплеты подали идею сего рисунка...»^[71]

Проект Оленина по сооружению столпа из французских пушек раскритиковали генерал-майор П. А. Кикин и государственный секретарь А. С. Шишков; они обвинили автора в «идолопоклонничестве». Это было совершенно несправедливо, поскольку Оленин предполагал увенчать колонну «приличными ваятельными простыми изображениями... святых и сильных поборников наших, издревле благочестивым русским народом почитаемых, а именно: Архистратига Михаила или Георгия Победоносца...»^[72].

Александр I, в целом симпатизировавший проекту Оленина, решил от столпа из пушек до времени отказаться, а сосредоточить силы и ресурсы на проектировании и строительстве храма во имя Христа Спасителя (решение об этом было принято еще 25 декабря 1812 года). Но и проект храма-памятника утверждался крайне трудно и долго, а сам храм, как известно, ожидала нелегкая, а впоследствии и трагическая судьба.

Жуковский, приехав в Берлин осенью 1820 года, с горечью записал в дневнике: «Нам стыдно перед пруссаками: сколько уже у них памятников народной славе; они и Кутузова и Барклая не забыли, а мы строим храм, который вечно не достроится, хотим благодарить Бога, которому не нужна благодарность, и не думаем отдать чести тем, которые положили за отечество жизнь свою...»^[73]

* * *

В конце 1812 года Жуковский был произведен в чин штабс-капитана, а летом его догнала бородинская награда — орден Святой

Анны 2-го класса, указ о котором, как оказалось, был подписан еще 6 ноября 1812 года.

Первым сообщил другу о награде Константин Батюшков. 30 июня он написал из Петербурга в Белев: «Слух носится, что тебе назначена Анна 2-го класса... Дай обнять тебя, старый мой друг! Дай разделить с тобою твою радость, — радость, ибо приятно получить то, что заслужил; а ты, наш балладник, чудес наделал, если не шпагою, то лирой. Ты на поле Бородинском pro patria подставил одну из лучших голов на Севере и доброе, прекрасное сердце. Слава Богу! Пули мимо пролетели...»^[74]

А услышал Батюшков о награждении Василия Андреевича от А. И. Тургенева, который, в свою очередь, узнал эту новость от графа Павла Александровича Строганова — того самого генерала, чье доброе имя Жуковский защитил в письме к Блудову.

Почти три десятилетия спустя после Бородинской битвы, 26 августа 1839 года, Жуковский вновь оказался на Бородинском поле. Приехал он в Бородино накануне вечером, в числе почетных петербургских гостей.

Утро было такое же ясное, как и в 1812 году. Только если в утро сражения пахло дождевой сыростью, слежавшимся намокшим сеном, то теперь стояла жара и густая пыль поднималась над дорогами там, где шли на Бородинский праздник войска.

Об этом дне Василий Андреевич написал подробное письмо великой княжне Марии Николаевне. С разрешения адресата письмо под названием «Бородинская годовщина» было опубликовано в журнале «Современник» (1839. № 4. С. 193–204).

«...Теперь на Бородинском поле была картина иная. Батареи на высотах исчезли, на них переливается жатва, и один монумент бородинский ими владычествует; только там, где так храбро дрался Воронцов, потерявший здесь почти всех людей своих, где погиб Тучков, не отысканный между мертвыми, остались признаки укреплений; но они служат подножием церкви, построенной вдовою Тучкова на месте гибели ее мужа, а вместо пушек, тогда здесь гремевших, являются тихие кельи монахинь. Здесь, накануне праздника, встретил я некоторых из наших храбрых генералов. Один из них показывал своим товарищам то место, где за четверть века бился; он сам уже не узнавал его, и монахини служили ему

проводимыми к немногим остаткам тех окопов, на коих тогда пали его сослуживцы. В глазах заслуженного воина сверкали слезы; то были слезы глубокого, высокого чувства. Как могло не разогреться сердце при вступлении после стольких лет, после стольких изменений и в своей судьбе, и в судьбе народов на то место, где совершилось одно из главных событий жизни, где вдруг без прощанья надлежало расстаться с таким множеством храбрых ближних, где все они лежат, смешавшись с прахом земли, и где, вероятно, все они ожили в позднем воспоминании. На этом же месте явился и другой храбрый воин Бородинского дня; он вошел в церковь, сделал несколько земных поклонов перед царскими дверями, поклонился гробу Тучкова и положил на аналой образ, вероятно, с ним бывший в этом сражении, благодарною данию Спасителю-Богу...»^[75]

Это письмо, как и стихотворение «Бородинская годовщина», хорошо известно. Куда менее известно письмо Жуковского своему ученику, 21-летнему наследнику престола великому князю Александру Николаевичу. В нем — другая сторона торжества...

После торжественной части и парада, прямо на поле, под специальными шатрами, государь дал обед, но приглашены на него были далеко не все ветераны Бородина. Сколько еще раз в русской истории повторится эта стыдная и горестная ситуация! — но рядом с «первыми лицами» уже не будет такого совестного камертона, как Жуковский.

«...Израженные, безрукие и безногие, иные покрытые лохмотьями бедности, Бородинские инвалиды, которые сидели на подножии памятника или, положив подле себя свои костыли, отдыхали на гробе Багратиона. Некоторые бедняки притащились издалека: кто пешком, кто на телеге, чтобы увидеть царя на своем празднике Бородинского боя. Признаюсь вам, мне было жестоко больно, что ни одного из этих главных героев дня я после не встретил за нашим обедом. Они, почетные гости этого пира, были забыты, воротятся с горем на душе восвояси, и что скажет каждый в стороне о сделанном им приеме, они, которые надеялись принести в свои бедные дома воспоминание сладкое, богатый запас для рассказов, и детям, и внукам?..

Делайте из письма моего, что хотите: если найдете нужным, покажите его государю императору. Я знаю, что он, хотя бы и не согласен со мною, одобрит тот язык, которым говорю с вами...»^[76]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МАЙОР КАЙСАРОВ
(Андрей Сергеевич Кайсаров. 1782–
1813)

*...Нежное сердце досталось ему.
С сердцем веселым, с лирой в руках,
В дальних скитался, чуждых странах,
Пел он беспечность, дружбу и мир.
Видал разврат, пороки видал,
Злобу, измену, все испытал!..*

*Андрей Кайсаров Из баллады «Рослав», 27
ноября 1809 г.*

Глава первая

Секретный пакет. — Быстрые сборы. — Типография на колесах. — Первая армейская газета. — «Летучие листки»: от Бородина до Афгана

Ранним утром 6 июня 1812 года — за шесть дней до объявления Наполеоном войны — фельдъегерь доставил в Дерптский университет секретный пакет. В пакете было письмо Барклая де Толли с «высочайшим повелением» снарядить и отправить в Вильну, в Главную квартиру Первой Западной армии, профессоров Андрея Сергеевича Кайсарова и Фридриха Эбергарда (Федора Эдуардовича) Рамбаха. Профессора должны были привезти с собой два многопудовых типографских стана для русской и немецкой печати, а также двух переводчиков, четырех наборщиков и четырех печатников.

В университете все недоумевали, а Кайсаров и Рамбах только заговорщицки переглядывались. Было похоже, что для профессоров ничего загадочного в полученном приказе не было.

Буквально через три дня оборудование собрали и уложили на подводах. Рамбаху, как человеку, имевшему в Дерпте безупречную репутацию, удалось подобрать наборщиков и печатников — самых надежных, работающих и немногословных.

Утром 9 июня Кайсаров призвал слугу Никиту, и они быстро увязали стопки заранее отобранных французских, немецких и итальянских книг. Когда все необходимые словари и справочники уложили в карету, Андрей Сергеевич и Никита присели на дорогу, потом перекрестились на иконы.

Обоз тронулся в путь. Давно Никита не видел своего барина таким взъерошенным, нетерпеливым и в то же время — абсолютно счастливым.

Но зачем же штабу русских войск так срочно понадобились ученые, один из которых преподавал курс «Древняя русская история в памятниках языка», а другой — философию и камеральные науки^[72]? До славянских ли древностей и тонкостей финансового учета было тогда Барклаю де Толли, когда по ночам на той стороне Немана

нахально горели сотни костров готовых к вторжению наполеоновских войск? Почему вдруг о вольнодумце Кайсарове, защитившем в Геттингене докторскую диссертацию под крамольным названием «Об освобождении крепостных в России», вспомнил Александр I? И не просто вспомнил, а дал ему особые полномочия в самом сердце русской армии!

Все началось за несколько недель до войны, когда Андрей Кайсаров вместе со своим коллегой и другом Федором Рамбахом предложил императору в случае начала боевых действий создать при армии походную типографию. Ведь в ту пору Россия почти ничего не могла противопоставить пропаганде Наполеона. Редкие царские манифесты и рескрипты были трудны для восприятия и далеки от оперативности.

В своем проекте ученые писали: «Часто один печатный листок со стороны неприятеля наносит больше вреда, нежели сколько блистательная победа может принести нам пользы. Часто он действует больше, нежели несколько полков... Русским воинам не нужно самодовольство, но весьма было бы полезно, если б славные их дела не оставались неизвестными, как в их отечестве, так и вне оного. Великодушный подвиг какого-нибудь храброго, обнародованный тотчас во всей армии, побудил бы тысячи к подражанию...»^[78]

Новизна и смелость проекта Кайсарова и Рамбаха состояли в том, чтобы посредством типографии растолковывать суть событий не только своим солдатам и офицерам, но и обратить силу слова на противника. Прежде всего на тех европейцев, кто оказался в России по воле роковых обстоятельств.

Федор Глинка, вспоминая про лето 1812 года, писал: «Неаполь, Италия и Польша очутились среди России! Люди, которых колыбель освещалась заревом Везувия... люди с берегов Вислы, Варты и Немана шли, тянулись по нашей столбовой дороге в Москву, ночевали в наших русских избах...»^[79]

Александр I поддержал идею и 5 июня приказал развернуть походную типографию, а ее начальником поставить 29-летнего Андрея Сергеевича Кайсарова. Так первый в России филолог-славист, поэт и переводчик стал голосом русской армии. Его «Известия из армии» отличались прекрасным слогом и достоверностью, их перепечатывали и цитировали британские газеты. Листовки, написанные Кайсаровым,

были убедительны и доходчивы, поскольку молодой профессор хорошо знал не только языки, но и особенности культуры тех народов, чьи войска влились в армию Наполеона.

В отличие от графа Ростопчина, наводнившего Москву своими путаными и косноязычными афишками, Кайсаров не опускался в своих изданиях до оскорбительного поношения противника. Его листовки не проклинали, а увещевали.

Один из уроженцев Пиренеев писал в дневнике 19 июля 1812 года: «Находим по дороге множество печатных прокламаций, оставленных для нас русскими; переписываю несколько отрывков: „Итальянские солдаты! Вас заставляют сражаться с нами... Помните, что вы находитесь за 400 миль от своих подкреплений... Как добрые товарищи советуем вам возвратиться к себе...“»

Кайсаровскую газету «Россиянин» — ее, говоря современным языком, «пилотный» и единственный номер, выпущенный в свет 13 июля, — можно считать первым периодическим армейским изданием. Газета вызвала глухое раздражение у генералов прусской закваски — ее издатель обращался к читателю как к товарищу и брату, обещая ему говорить всю правду: «Мы надеемся заслужить доверие... и заверяем, что не будем скрывать и горестных происшествий, если им суждено будет произойти. Война не может быть без потерь. Гражданин должен знать положение вещей, чтобы он мог предпринять необходимые действия...»

Это удивительно, но опыт первой русской походной типографии без особых изменений применялся в армии вплоть до конца XX века. С 1980-х годов храню листовки-«молнии», подаренные мне моими друзьями, служившими в Афганистане. Это совершенно кайсаровские «летучие листки». Даже стиль их неуловимо напоминает стиль Андрея Сергеевича^[80]. К сожалению, в современной Российской армии система военной печати практически отсутствует.

После назначения главнокомандующим Кутузова Андрей оказался рядом со своим младшим братом Паисием Кайсаровым, любимым адъютантом светлейшего. Лев Толстой в третьем томе «Войны и мира» (ч. 2, гл. 22) сводит Пьера с братьями Кайсаровыми на Бородинском поле. Там нет описания их внешности, но подчеркнута почти отцовская привязанность к ним Кутузова.

Глава вторая

*Сладость единомыслия в любимых вопросах —
что больше может дать человек человеку на земле?
Это мало для потомства, но это много для друга.*

Князь Сергей Волконский

Встреча с Жуковским. — Предчувствия. —
«Нравственные границы Отечества». — Ночь в Филях. —
Незабудки

... — Жуковский, ты ли это?
— Андрей?! А ты откуда здесь?

Можно представить, чем была для них эта встреча августовской ночью после Бородинского сражения! Два приятеля юности, поэт-«балладник» и профессор филологии, узнали друг друга в боевых порядках отступающих к Москве русских войск. Андрей Кайсаров — уже майор и начальник армейской типографии, Василий Жуковский — простой ополченец первого пехотного полка.

Один час на войне сближает больше, чем год соседства в мирной жизни.

Они оба предчувствовали эту войну. Жуковский еще в апреле, в пасхальном послании друзьям Плещеевым обещал: «Растает враг, как хрупкий вешний лед!..» И далее, там же:

О, русские отмстители-орлы!
Уже взвились! Уже под облаками!
Уж небеса пылают их громами!
...За ними вслед всех правых душ молитвы!

А Кайсаров еще раньше, 12 ноября 1811 года, сказал в актовом зале Дерптского университета горячую речь против тех, кто считал патриотизм ретроградством, а в Наполеоне видел кумира. Речь была произнесена на русском языке (впервые в стенах этого университета) и

называлась «О любви к Отечеству на случай побед, одержанных русским воинством на правом берегу Дуная».

Сегодня мысли Андрея Сергеевича, его волнение, его тревоги так же близки нам, как и современникам Кайсарова двести лет назад: «Тщетно лживые мудрецы прошедшего века старались осмеять любовь к Отечеству; тщетно желали они сделать весь род человеческий согражданами одного обширного семейства!..»^[81]

А далее Кайсаров вопрошал: «Как могли вообразить сии мудрствователи, что не быв истинным сыном Отечества, возможно быть добрым гражданином мира? Как могли они себе представить, что не любя кровных, можно любить чуждых?.. *Нравственные границы Отечества существуют...* Проклята да будет мысль, что там Отечество, где хорошо!.. Вне отечества нет жизни!..»^[82]

Впрочем, войну предчувствовали не только люди с поэтической интуицией. Она была в воздухе. Желая избежать распространения слухов, правительство постановило, чтобы «издатели всех газет в государстве почерпали из иностранных газет только такие известия, которые до России вовсе не касаются». С 28 мая перестали выдавать паспорта для поездок за границу. Иностранцам предложено было выехать из пределов империи.

* * *

Во время совета в Филях друзья почти всю ночь бродили по деревне, оплакивая Москву, перебирая минувшее и пережитое, заглядывая в смутное грядущее.

«То, что мы здесь, среди этих людей и под этим небом, — говорил Жуковский другу, — не есть ли дань нашей юности? Не знак ли того, что в сердце своем мы не изменились?..»

Андрей согласно улыбался и вспоминал, как в Благородном пансионе приятели учредили Дружеское литературное общество.

Кайсарову выпало проучиться в пансионе всего год — умерла Екатерина II, а Павел I, вступивший на престол в 1796 году, решил пополнить армейские ряды и приказал призвать на ратную службу всех молодых дворян, записанных с младенчества в полки...

Хорошо, что через два года юного офицера перевели в Москву и место его службы (Охотный ряд) оказалось неподалеку от Благородного пансиона, где вскоре он, Жуковский, Воейков и братья Тургеневы составили Дружеское общество. Там они говорили вдохновенные речи, и каждый — о том вопросе бытия, который считал главным для себя. Андрей выбрал тему «О кротости», Жуковский — «О дружбе», Андрей Тургенев — «О поэзии»...

— Андрей-Андрей... — вздохнул Жуковский.

— Как мы осиротели тогда без него! — отозвался Кайсаров.

— Мне его и сейчас не хватает. Иногда думаю: ну с кем, с кем разменяться мыслями? Вот был бы Андрей...

— Столько лет прошло, а перечитываю его письма — и плачу.

И Жуковский, и Кайсаров помнили строки Андрея Тургенева, ставшие клятвой для целого поколения:

Сыны отечества клянутся!
И небо слышит клятву их!
О, как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, отечество святое,
Тебя любить, тебе служить —
Вот наше звание прямое!..

Внезапная смерть Андрея Тургенева — это была их первая утрата, первое совместно пережитое горе.

Недавно саратовский исследователь Александра Ивановна Баженова^[83] опубликовала отрывки из переписки двух Андреев — Кайсарова и Тургенева, двух семнадцатилетних юношей.

Кайсаров — Тургеневу: «Сейчас лишь с Воробьевых гор, милый друг, Андрей Иванович, пришел я и, несмотря на всю усталость, не имею столько отважности, чтоб пропустить почту, не написать тебе кой-чего о себе... Жуковского в Москве нет, он куда-то поехал в деревню на пять дней; но вот уже десятый день как его здесь еще нет...»

Тургенев — Кайсарову: «Здравствуй и ты, брат Андрей Сергеевич!.. Я нашел по дороге прекрасных незабудочков, твои

любимые цветы, сорвал и положил в карман, а как скоро я их увидел, тотчас и вспомнил тебя...»^[84]

Как странно, что те же незабудки через несколько лет прорастут в другом дружеском послании: Константина Батюшкова — Ивану Петину (тоже, кстати, окончившему Московский благородный пансион):

О любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал...

В 1813 году Жуковский напишет, вспоминая Андрея Тургенева:

Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?
Нет и следов; исчезло все — и сад
И *ветхий дом*, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.
Где время то, когда наш милый брат
Был с нами, был всех радостей душою?
Не он ли нас приятной остротою
И нежностью сердечной привлекал?
Не он ли нас тесней соединял?
Сколь был он прост, нескрытен в разговоре!
Как для друзей всю душу обнажал!

А первым этот заветный дом и сад описал как раз Андрей Тургенев, вот его стихи 1801 года:

Сей *ветхий дом*, сей сад глухой —
Убежище друзей, соединенных Фебом,
Где в радости сердца клялися перед небом,
Клялися своей душой.
Запечатлев обет слезами,
Любить отечество и вечно быть друзьями.

И тут пора сказать благодарное слово о Благородном пансионе.

Глава третья

С радостью отдал бы моих детей в университетский пансион, который образовал лучших наших Генералов, Писателей, Государственных людей и до сих пор не переродился...

Константин Батюшков. Из письма Е. Н. и П. А. Шипиловым, 24–29 марта 1816 г.^[85]

Окошко «До востребования». — Тепло Телеграфа. — Пансион поэтов. — Отцы-основатели: Херасков, Прокопович-Алтонский и Мерзляков. — Большая семья. — Поощрения. — Книжка на ужин

Когда в юности я оказывался в Москве, то моим любимым пристанищем в непогоду был Центральный телеграф в начале Тверской. Там можно было отогреться, толкаясь у окошка «До востребования» и разглядывая марки. Приезжий со всего Союза народ стремился подать весть о себе телеграммой, звонком или авиаписьмом, и это стремление захватывало каждого, кто еще только входил под гулкие своды. И хотелось тут же написать открытку домой, макая острый клюв перьевой ручки в синие чернила.

В общем, я ощущал телеграф как место лирическое и *благородное*. И вот сейчас, через много лет, я понял, что не ошибся в том своем ощущении. Оказывается, в начале XIX века на месте телеграфа стояло здание, где размещался Благородный пансион. Благородный!

Для учебного заведения название так же важно, как для корабля. Как назовешь — так и поплывет. Благородный пансион пережил четыре царствования, был разорен дотла пожаром 1812 года и воскрес из пепла. В 1830-х был насильственно реформирован в гимназию, но память о необыкновенном учебном заведении передавалась из поколения в поколение на протяжении всего XIX века.

Благородный пансион — быть может, самое гуманное (там никогда не было физических наказаний для воспитанников) и самое гуманитарное учебное заведение в России XVIII–XIX веков. Из стен Благородного пансиона вышли 56 стихотворцев! Среди них: Жуковский, Грибоедов и Лермонтов. Некоторое время в пансионе учились Баратынский и Гнедич.

Инициатива создания пансиона принадлежит также поэту — Михаилу Матвеевичу Хераскову. «Забавный старичок, прославленный пиита, / Кому дорога к нам давно уже открыта...»^[86] — так описал Хераскова в 1803 году Андрей Тургенев.

Первое время директором пансиона был Антон Антонович Прокопович-Антонский — педагог-новатор, как его бы назвали сейчас. Во главу всего образовательного процесса он поставил развитие у ребят творческих способностей, или, как он говорил — «цветного воображения».

Долгие годы любимым учителем пансионеров был поэт и переводчик Алексей Федорович Мерзляков. Этот добродушный и мудрый человек всю жизнь посвятил поэзии и пансиону. С двадцати четырех лет и до конца своих дней он преподавал мальчишкам русский язык и литературу, красноречие и поэзию. Характер Мерзлякова и его жизненные принципы легко угадываются по его песням. Самая знаменитая среди них — «Среди долины ровныя...».

Есть много серебра, золота —
Кого им подарить?
Есть много славы, почестей —
Но с кем их разделить?..

Возьмите же всё золото,
Все почести назад;
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

Об учреждении пансиона при Московском университете было объявлено в декабре 1778 года. Первых пансионеров было всего 12 человек, а к 1804 году их насчитывалось уже более двухсот.

К сожалению, слава образованного на четверть века позже Царскосельского лицея затмила память о Благородном пансионе, хотя устройство пансиона и двести лет спустя не потеряло своей педагогической ценности.

Пансион был устроен так, чтобы напоминать детям семью, быть ее продолжением. Здесь не отрывали воспитанников от семьи (напомню, что в Лицее свидания с родными разрешались лишь несколько раз в год), и родители могли посещать детей «во всякое время, в какое за благо рассудит...». И сегодня поражает открытость этого учебного заведения для общественного контроля: любому посетителю «во всякое время дня дозволялось обзирать все части заведения: учебные горницы, спальни, столовую, поварни, больницу...»^[87].

Пансион содержался за счет взносов родителей, каждый из них мог проверить расходование средств по приходно-расходным книгам. Бесплатно, за счет казны, учились дети преподавателей и сироты.

Старшеклассники опекали младших, помогали им с уроками. Приветливость к воспитанникам была непременным требованием к преподавателю. Телесные наказания в пансионе были совершенно исключены, а вот система поощрений выглядела чрезвычайно разнообразной: от книжки за выразительно прочитанное стихотворение до золотой медали.

Кстати, чтение в пансионе поощрялось весьма забавными способами. Например, ребятам разрешалось читать за едой. «Велено было всякому ходить за стол с книгой и читать между кушаньями...»

Ежегодно выбирались лучшие работы по разным предметам и выставлялись в пансионной зале: картины, чертежи, прописи. Каждый год на торжественном акте вручались награды за хорошее произношение на русском языке. Имена награжденных печатались на страницах «Московских ведомостей». «Заведение было поставлено на такую ступень в общественном мнении, — вспоминал один из выпускников пансиона, — что быть первым учеником университетского пансиона значило иметь уже некоторую славу в самой столице...»

Торжественный акт проходил в канун Рождества. На него съезжалась вся просвещенная Москва. Лучший ученик произносил речь, посвященную какой-либо нравственной проблеме. На Акте 14

ноября 1798 года с такой речью дебютировал пятнадцатилетний Василий Жуковский. Он протягивал руки к портретам основателей пансиона (Михаила Матвеевича Хераскова и двух Иванов Ивановичей — Шувалова и Мелиссино) и вопрошал дрожащим от волнения голосом: «Се лик *Шувалова!* Грозная судьба похитила его от нас, но сердце еще бьется в груди нашей, и Шувалов там живет... Се образ *Мелиссино!*.. Любезные товарищи! Почто не можем мы повергнуться на гроб его!.. Почто не можем окропить его своими слезами! От них возросли бы на нем цветы... Шувалов! Мелиссино! Тени ваши, может быть, носятся теперь над нами и улыбаются, видя любовь нашу... *Херасков*, добрый, чувствительный, незабвенный основатель сего благого места... Херасков с досточтимыми своими сотрудниками нас руководствует...»^[88]

Конечно, все, кто слышал столь пламенную юношескую речь, не могли не смахнуть слезы умиления.

Еще одна традиция, заведенная Херасковым: каждый мальчик, поступавший в пансион, должен был иметь при себе серебряную ложку. После окончания ложка оставалась «в наследство» младшим пансионерам.

Константин Батюшков, убеждая Шипиловых отдать сына учиться в Благородный пансион, писал в письме весной 1816 года: «Заметьте, что в Благородном пансионе те, которые выдержат курс, получают студенческий аттестат, право на чин офицерский; это важно для дворянина; что их учат танцевать и петь и музыке, это важно для сестры, которой я не могу истолковать до сих пор, *как важен* язык латинский, а не французский. Латинский язык есть ключ ко всем языкам и ко всем сведениям...»^[89]

Воспитанников пансиона учили многим наукам, даже практическому земледелию и военному делу (кстати, выпускниками пансиона были генералы Ермолов и Милютин). И все-таки главными предметами всегда оставались русский язык и литература. Интересно, что будущий военный министр Дмитрий Милютин был редактором рукописного журнала «Улей», где появились первые стихи Лермонтова.

Выпускник пансиона, поэт (и при этом чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе) Михаил Дмитриев, размышляя о принципах, на которых был построен пансион, писал в

воспоминаниях: «Литературное образование, будучи общим, является на помощь и выручку одноглазой специальности! — оно образует не чиновника, а человека... приучивши обращаться в круге идей, обнимающих не какие-нибудь частные истины, а полноту души человеческой... Сколько мы ни знали... многих воспитанников университетского Благородного пансиона, выросших и вскормленных на литературе: ни одного не было ни взяточника, ни подлого льстеца, ни интригана! Напротив, при благородстве чувств они были и деловыми людьми: стало быть, литературное образование не мешает быть дельным, а напротив, расширяет деловые способности!»^[90]

* * *

В деловых способностях Жуковского в 1812 году еще можно было сомневаться (он и сам тогда не предполагал, какая планомерная педагогическая деятельность ожидает его впереди, да не где-нибудь, а при царской семье). А вот деловые способности Кайсарова были уже оценены самим Кутузовым.

Глава четвертая

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди Твоя и человеколюбие услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг, смущаяй землю Твою, и хотяй положити вселенную всю пусту, воста на ны: се людие беззаконния собрашася, еже погубити достояние Твое, разорити честный Иерусалим Твой, возлюбленную Тебе Россию...

Сугубая молитва, написанная в середине июля 1812 года преосвященным Августин^[91], архиепископом Московским и Коломенским. Ее читали, преклонив колени, во всех храмах Московской епархии.

Рассвет. — Воспоминание о новом веке. — Митрополит Платон. — «Кортеж» князя Юсупова. — Молитва в Успенском соборе. — Знамение. — Барклай. — Золотая пыль

На рассвете 2 сентября друзья вышли к Москве. Солнце горело на куполах так, что больно было смотреть. И больно было думать о будущем.

— Что за век нам достался... — вздохнул Жуковский.

— А ты помнишь, как мы его встречали? — спросил Андрей.

Они вспомнили, как на Рождество 1801 года они, семнадцатилетние мальчишки, скрылись от домашних, но не куда-нибудь, а в Троице-Сергиеву лавру! С восторгом слушали они там слово митрополита Платона, чьи проповеди восхищали юношей ясностью ума и красотой слога. Платон, говорили, «знал тайную силу голоса». На другой день Жуковский написал стихи «Платону неподражаемому...».

И где сейчас старец? Сказывают, что он, парализованный и живший на покое в Вифании, потребовал привезти себя в Москву и

даже рвался в Бородино — благословлять войска^[92].

Многие тексты Андрея Кайсарова, написанные для походной типографии, покоились на этом обретенном в юности духовном основании — проповедях митрополита Платона с их искренностью, мудростью и добротой. За тридцать три года до Отечественной войны 1812 года митрополит Платон так обращался к русским воинам: «Должен я вам, о воины, напомнить, что мужество не должно быть без человеколюбия. И для того основанием храбрости своей полагайте законное правило, неустрашимость свою умеряйте благоразумием и страхом суда Божия...»^[93]

В те минуты, когда Жуковский вместе с братьями Андреем и Паисием Кайсаровыми вступили вместе с армейскими колоннами через Арбатские ворота в Москву, митрополит Платон со слезами покидал Чудов монастырь — его упросили вернуться в Вифанию.

Все оставшиеся в городе священники вышли из своих храмов и кропили проходящие войска святой водой и благословляли Святым Крестом. Еще 28 июля архиепископ Августин обратился ко всем пастырям: «К вам убо во-первых обращаюсь, иереи Бога Вышняго! предстоя престолу Его, ныне наипаче умножите молитвы свои; ныне изливайте всю душу свою пред Господом; в вечер и заутра, в полунощи и в полудни вопийте к Нему, да оставит нам беззакония наша и грехов наших не помянет к тому; да милостив будет нам...»^[94]

Обратился тогда преосвященный Августин и к пастве, и слова его, казалось, переливались сейчас в колокольный звон: «Что же будет с нами грешными, ежели вы, православный чада Церкви... не поддержите в молении рук наших собственным благочестием вашим и добродетелями? Дайте нам во укрепление камень вашей веры, воспламените моления наши огнем вашей к отечеству любви; излейте на жертвы наши елей человеколюбия и милосердия вашего к ближним; курение фимиамов наших растворите благоуханием собственной чистоты вашей и непорочности... Кадило наше будет мерзость пред Господом, ежели намерения и дела наши будут наполнены зловонием самолюбия, своекорыстия, тщеславия и гордости...»^[95]

Где-то среди проходящих полков ехал на своей лошади Арапке девятнадцатилетний гвардии поручик Александр Чичерин. Кажется, еще недавно он с робостью посылал Жуковскому свои стихи и

рисунки... Ночью, пристроившись у костра на биваке, Александр занесет в дневник свежие впечатления: «Когда мы шли через город, казалось, что я попал в другой мир. Всё вокруг было призрачным. Мне хотелось верить, что всё, что я вижу, — уныние, боязнь, растерянность жителей — только снится мне, что меня окружают только видения...»^[96]

К солдатам и офицерам часто подбегали испуганные москвичи, чтобы узнать, куда движется вся эта военная армада. Отвечать на такие вопросы командование запретило, и ответом часто был тяжелый вздох ратника. Сергей Глинка свидетельствует: «Те, которые любопытствовали о переходе войска, получали в ответ: „Мы идем в обход“. Куда же? Этого никто бы не сказал и сказать бы не мог...»^[97]

Между колонн проходящих войск пытался вклинить обоз какого-то вельможи. Тяжело нагруженные телеги сопровождали угрюмые мужики, некоторые угрожающе помахивали новенькими топорами. Так бесцеремонно расчищали дорогу «кортежу» князя Николая Борисовича Юсупова.

Незадолго до полудня братья Кайсаровы и Жуковский оказались у стен Кремля, на набережной, и, пока движение войск застопорилось у Каменного моста, они поспешили в Успенский собор. В Кремле повсюду были следы эвакуации: солома, порванные мешки из рогожи, обрывки тряпья и веревок. Оказалось, что церковные святыни начали вывозить только накануне, и далеко не всему, что требовало укрытия от врага, хватило места на подводах.

В Успенском соборе догорали свечи воскресной литургии, которую успел отслужить преосвященный Августин. Очевидцы рассказывали, как плакал архиепископ, складывая после службы антиминос и вопрошая сослуживших ему: «Скоро ли снова Господь удостоит нас служить в этом храме?»

Несколько человек тихо молились на коленях перед иконой Владимирской Божией Матери (ее вывезут только в ночь на понедельник). Друзья тоже преклонили колена и, не глядя друг на друга, простояли так некоторое время, отрешенно молясь каждый о своем.

Генерал А. П. Ермолов вспоминал про тот день в Москве: «В редкой из церквей не было молящихся жертв, остающихся на произвол

врагов бесчеловечных»^[98].

Когда Жуковский очнулся от своих дум, то вдруг увидел, как от налетевшего, как вражья сила, сквозняка огни свечей на подсвечниках дружно затрепетали, пригнулись и — погасли! Но не успело сжаться сердце от этой картины, как обратный порыв ветра затеплил все свечи обратно. Жуковский тихо окликнул товарищей, показал им на свечи, но они пропустили мгновение явного знамения и только пожали плечами.

На обратном пути к набережной Жуковский пытался растолковать товарищам увиденное в соборе, на что Паисий усмехнулся: «Вечно тебе, Базиль, грезится что-то необыкновенное...»

Что будет с Москвой? Эта мысль не давала покоя и заглушала мысли о собственной будущности. Андрей предчувствовал, что старую Москву они видят в последний раз. Он не стал говорить об этом вслух, но в разговоре с Жуковским вспомнил свое потрясение от разграбленной французами Венеции. В 1805 году он путешествовал с Александром Тургеневым по Европе и уже тогда видел, какую «цивилизацию» несет на своих штыках наполеоновская армия. Из Венеции оккупанты увезли лучшие картины и статуи; с городской башни сняли квадригу бронзовых коней, ободрали корабль дожа, разбили все корабли венецианского флота...

Пока они были в соборе, армейские колонны окончательно смешались с потоками московских беженцев. Между артиллерийскими орудиями можно было увидеть коляски, брички и телеги. С повозок то и дело сползали сундуки и узлы. Испуганные слуги и служанки кричали и плакали, пытаясь спасти барское добро. Движение то и дело стопорилось.

Сумрачный Барклай де Толли верхом на лошади упрямо пробирался против этого течения, к Гостиному двору, где, как ему доложили, солдаты взялись грабить магазины.

...Дорожная пыль поднималась над улицами и казалась золотистой на фоне осенних садов и парков, прогретых солнцем, и церковных куполов. Даже после того, как войска и народ схлынули, марево этой золоченой пыли еще долго то стояло, то плыло над площадями и улицами.

В это живое пыльное марево, пахнущее то сладким ладаном и взбаламученным домашним уютom, то свежим навозом и сеном, и вошла Великая армия, сытая достигнутой целью.

Глава пятая

*Один уходит за другим;
Друг, оглянись... еще нет брата!
Час от часу пустее свет;
Пустей дорога перед нами.*

*В. А. Жуковский. Строки, посвященные
Андрею Кайсарову из послания «К
Воейкову». 1814*

Рядом с Кутузовым. — Штабные интриги. — Болезнь Жуковского. — Кайсаровы уходят в партизаны. — Гибель Андрея. — Поминальное слово

На другой день Кайсаров представил Жуковского светлейшему и попросил разрешения зачислить поэта сотрудником типографии. Так, благодаря Кутузову, счастье общения друзей продлилось. Василий Андреевич урывками писал «Певца во стане русских воинов», сверяясь с мнением Андрея. Кайсаров прекрасно ориентировался в армейской иерархии, мог профессионально оценить заслуги каждого военачальника, поэтому именно он помог Жуковскому из множества русских генералов выбрать самых достойных и дать им точные поэтические характеристики.

Только в одном они расходились: Жуковский открыл другу, что дал обет с изгнанием французов за Неман сложить с себя военный мундир. Андрей считал своим долгом пройти войну до конца: «Мир должно заключить в Париже!»

Когда противник стал отступать, Андрей через свои издания призывал русских людей быть милосердными к гибнущим от холода и голода французским солдатам. Штабные недоброжелатели обвиняли Кайсарова в том, что он принижает героизм армии, приписывая истребление врага холоду и голоду.

С началом Европейского похода недругов у братьев Кайсаровых прибавилось. Андрея отставили от должности, командовать

типографией назначили бывшего полицейского пристава, который присвоил себе авторство бюллетеней, блестяще написанных Жуковским. Но Кутузов недолго удивлялся новому «таланту» — армия подошла к Неману, и Жуковский открыл свое решение остаться на родине.

Очевидно, отношение Жуковского к дальнейшей войне было похоже на то, которое более чем полвека спустя выразил в «Дневнике писателя» Федор Михайлович Достоевский: «В двенадцатом году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ним, как советовали и желали тогда некоторые немногие прозорливые русские люди, а двинулись всей стеной осчастливить Европу, освободив ее от похитителя. Конечно, вышла картина яркая: с одной стороны шел деспот и похититель, с другой — миротворец и воскреситель. Но политическое счастье наше состояло тогда вовсе не в картине, а в том, что этот похититель был именно тогда в таком положении, в первый раз во всю свою карьеру, что помирился бы с нами крепко-накрепко и искренно и надолго — может быть, навсегда...»^[99]

Жуковского пробовали уговорить остаться при армии, но в Вильно поэт заболел горячкой, и от него отступились.

Тем временем в Главной квартире срочно понадобился бюллетень на изгнание врага из пределов России. Бывшему приставу пришлось самому взяться за перо. Его сочинение было весьма лаконичным: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его — и расточились!»

Вскоре умер Кутузов и близкие ему офицеры стали неудобны. Паисий Сергеевич Кайсаров покинул Ставку и получил под командование «летучий отряд». Андрей ушел вместе с ним. Современник позднее вспоминал, что Андрей стал партизаном, «желая показать подлецам, какая разница между ним и придворными шаркунами».

Из донесения Баркляя де Толли императору Александру от 15 мая 1813 года: «Генерал-майор Кайсаров, коему предписано действовать в тылу неприятеля, напал вчерашнего числа между Герлицем и Рейхенбахом на неприятельский парк, взял два орудия, взорвал патронные и пороховые ящики... взял в плен 80 чел. К сожалению, убит в сем деле дерптского университета профессор и московского ополчения майор Андрей Кайсаров»^[100].

26 августа 1813 года, в праздник Сретения иконы Владимирской Божией Матери и первую Бородинскую годовщину, архиепископ Московский и Коломенский Августин служил литургию и панихиду в Сретенском монастыре.

Мать Андрея Кайсарова, Наталья Васильевна, должно быть, вернулась тогда из эвакуации в Москву и, возможно, была на этой особенной службе в Сретенском монастыре и слышала сказанное тогда преосвященным Августином поминальное слово о павших воинах: «... Сердобольные родители! и ваш сын пал среди кровавой брани: оплачьте его: но вместе и утешьтесь тою верою, в которой вы сами наставляли и утверждали его и словом и примером. Он убит еще во цвете юности; но он довольно жил для Отечества, довольно для чести своей и вашей...»^[101]

Узнав о смерти друга, Жуковский писал А. И. Тургеневу в июле 1813 года: «О брате Андрее я погрустил. Славная, завидная смерть!.. Надобно друга и товарища помянуть стихами...»

...А время мчится без возврата,
И жизнь-изменница за ним;
Один уходим за другим;
Друг, оглянись... еще нет брата!
Час от часу пустее свет;
Пустей дорога перед нами.

Имя Андрея Сергеевича Кайсарова выбито золотом в галерее воинской славы храма Христа Спасителя, на 38-й стене.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГВАРДИИ ПОРУЧИК ЧИЧЕРИН

(Александр Васильевич Чичерин. 1793–1813)

Эти люди, это время, казалось, были от меня и современников моих так уже далеко... но вместе с тем, я ощущал непостижимую внутреннюю связь сердца с этой эпохой и с этими отошедшими в вечность людьми...

*К. Леонтьев Рассказ смоленского дьякона о
нашествии 1812 года ^[102].*

...В 1813 году Екатерина Афанасьевна Протасова вернулась с дочками в Муратово. Маша Протасова любила Жуковского, и он давно отдал ей свое сердце, но из-за родственной близости союз их не мог состояться.

Как и во всякую послевоенную пору, женихов в округе было немного. Самые храбрые и самоотверженные юноши погибли на полях сражений. Одним из них — из тех, кто мог бы стать достойным избранником для Маши или Саши, — был девятнадцатилетний поручик лейб-гвардии Семеновского полка Александр Чичерин (кстати, в том же полку служили Николай и Петр Оленины).

Маше Протасовой и Александру Чичерину не суждено было встретиться в жизни, так пусть они встретятся хотя бы в этой книге.

Дневник Чичерина, сохранившаяся его часть, начинается в те дни, когда Жуковский ездит в Орел и гостит у Протасовых. Кстати, Василий Андреевич знал Чичерина еще мальчиком, видел его стихотворные опыты и рисунки...

Из подлинных дневников, которые вели на войне русские офицеры, уцелели всего два. По удивительному стечению обстоятельств они принадлежат офицерам, служившим в одном полку

и даже в одной роте. Павел Пущин^[103] был командиром 9-й роты 3-го батальона Семеновского полка, а поручик Александр Чичерин воевал под его началом.

В 1812 году Пущину — 23 года, и, судя по дневнику, это человек умный, серьезный, настоящая «армейская косточка».

Выпускнику Пажеского корпуса Саше Чичерину всего девятнадцать, и он еще витает в облаках. Иногда на марше Александр так замечтается, что не слышит команд. «...Мало-помалу я уединился, находясь в толпе... Тем временем полк остановился, а я, продолжая идти вперед в рассеянности, не давшей мне заметить, что делается кругом, оказался впереди музыкантов; только крик, поднятый нашими офицерами, заставил меня очнуться от мечтаний...»

Отношения Пущина и Чичерина складывались нелегко (сравнивая записи двух молодых людей, невольно вспоминаешь Онегина и Ленского), и, не будь суровых рамок военной дисциплины, все могло бы кончиться дуэлью.

От грубоватых армейских шуток Чичерина коробило. Он не сразу привык к тому, что в среде офицеров чаще всего наибольшим вниманием окружен не самый храбрый и благородный, а самый красноречивый и легкомысленный. Александр так и писал в дневнике: «Во главе полка обычно идут избранные остроумцы...»

Его доброе сердце было многим известно. В лагере под Малоярославцем Кутузов, оставшийся по нерасторопности своих квартирмейстеров и адъютантов без штабной палатки, просит палатку именно у Чичерина. Поручик перебирается к своему товарищу и записывает в дневнике: «Усталый, грязный, полуголодный, без постели, я все-таки готов благословлять небо, лишь бы успехи наши продолжались. Теперь у меня нет даже палатки... В моей палатке укрыты судьбы Европы»^[104].

Первая часть дневника Чичерина пропала вместе с повозкой, где были и другие вещи поручика. Это произошло после Бородинского сражения, когда наши войска спешно отходили к Москве и на дорогах творилась неразбериха.

Александр был талантливым рисовальщиком, многое он обещал и как литератор. В детстве у него были замечательные воспитатели и учителя. Талантливого отрока поощряли к творчеству Державин, Карамзин, Жуковский...

А осталась нам лишь тетрадка в коричневом переплете. Как сообщает публикатор: «Внешне „Дневник“ представляет собой небольшую тетрадь в твердом коричневом переплете, украшенном узкой рамкой из мелких золотых листиков (бумага английского производства 1808 года с водяными знаками). Написан дневник по-французски, красивым мелким убористым почерком, разными чернилами, без помарок и исправлений. Местами текст не поддается прочтению, вероятно ввиду того, что автор порой часто разбавлял чернила...»^[105]

В настоящее время он хранится в фондах Государственной публичной исторической библиотеки России, в Москве.

Из дневника поручика Александра Чичерина^[106]

Печальное предуведомление

...Когда мы проходили через Москву, моя повозка со всем, что в ней было, где-то застряла и, вероятно, попала в руки французов, которые вошли в город через несколько часов после нас. У меня не осталось ничего, кроме старого платья, которое было на мне, верховой лошади, кучера и тетради, которую я избрал своим спутником в замену той, что находится теперь в руках какого-нибудь бесчувственного и, конечно, равнодушного существа. Пусть бы забрали мое белье, платье, палатку, посуду — все на свете, но как же мне не жаловаться на жестокость судьбы, когда я подумую, что платочек Марии, образок, найденный таким чудесным образом и доставивший мне такую радость, письма, которые я перечитывал без конца, письма — мое единственное сокровище, мои краски, карандаши, мой дневник и все те мелочи, которые так приятно иметь при себе, — что всё это погибло в огне или употреблено бог весть на что, или, может быть, поделено шайкой каких-нибудь разбойников, продавших потом за гроши то, что для меня было драгоценнее всего на свете и становилось с каждым днем все дороже.

Вот уже четыре дня, как у меня нет ничего. Нет больше денег, нет удовольствий. Придя на бивак, я должен думать о том, где бы поесть. Мне негде ночевать, у меня нет самых необходимых вещей. Я оказался в положении солдата, не имея его преимуществ.

Я могу только делать время от времени наброски, но совершенно безжизненные и не доставляющие мне никакой радости. Ума не приложу, как мне быть дальше.

Я столько же люблю Броглио ^[107], сколько уважаю его, и не могу удержаться от удовольствия беседовать с ним часами всякий раз, как мы встречаемся.

После Бородинского сражения мы обсуждали ощущения, которые испытываешь при виде поля битвы; нечего говорить о том, какой ход мыслей привел нас к разговору о чувстве, Броглио не верит в чувство. Я же как раз тогда закончил две главы о рекруте и образке, и мне очень хотелось доказать, что чувство существует и часто действует на нашу душу.

— Всё это химеры, — говорил Броглио, — одно воображение: видишь цветок, былинку и говоришь себе: «Надо растрогаться» и, хотя только что был в настроении самом веселом, вдруг пишешь строки, кои заставляют читателей проливать слезы.

Я спорил, возражал ему целый час... Наконец пора было ложиться спать, а на завтра мы прошли через Москву.

Война так огрубляет нас, чувства до такой степени покрываются корой, потребность во сне и пище так настоятельна, что огорчение от потери всего имущества незаметно сильно повлияло на мое настроение — а я сперва полагал, что мое уныние вызвано только оставлением Москвы...

В тоске и печали я вертел в руках несколько ассигнаций — последнее, что у меня оставалось и должно было обеспечить мне все житейские блага, — и раздумывал над тем, чему был свидетелем. Предо мной была Москва, охваченная пламенем, всеобщее уныние и растерянность, мрачное молчание в Главной квартире, перепуганные лица. Я дрожал при мысли о священных алтарях Кремля, оскверняемых руками варваров. Поговаривали о перемирии. Оно было бы позорным... Перемирие, когда я не пролил еще ни капли своей крови! Перемирие, когда оставались еще тысячи героев! Все эти мысли привели меня в полное смятение, и в минуту отчаяния я проклял судьбу, обрекавшую меня на неизбежную смерть и не сулившую славы...

Итак, я держал в руке ассигнацию. Взглянув на нее, я увидел надпись: «Любовь к Отечеству»... — Да! — воскликнул я. — Любовь

к Отчеству должна заставить меня все позабыть: пусть свершаются предательства, пусть армия потерпит поражение, пусть погибнет империя, но отечество мое остается, и долг зовет меня служить ему. Прочь печальные и мрачные мысли, прочь позорное уныние, парализующее возвышенные чувства воина! Не хочу верить злым предвещаниям, не хочу слушать досужих говорунов, которые ищут повсюду только дурное и, кажется, совершенно не способны видеть ничего прекрасного. Пусть нас предали, я еще буду сражаться у врат Москвы и пойду на верную гибель, хотя бы и не для того, чтобы спасти государя. Я не усташусь никаких опасностей, я брошусь вперед под ядра, ибо буду биться за свое отечество, ибо хочу исполнить свою присягу и буду счастлив умереть, защищая свою Родину, веру и правое дело...

Тут моя мысль отвлеклась в сторону, я вспомнил про ассигнацию и подумал, что нашел хорошее оружие в споре против Броглио. Какая прекрасная тема для главы в сентиментальном жанре, какой счастливый случай, подтверждающий, что довольно безделицы, чтобы совершенно изменить наше душевное расположение! У меня слишком живое воображение. Направляя его на какой-нибудь предмет, я всегда запасаюсь мысленно другим — на тот случай, ежели истощу первый. Так и теперь, хотя на уме у меня был разговор с Броглио, я продолжал вертеть в руках ассигнацию, надеясь обнаружить какие-нибудь другие слова, способные вдохновить меня еще на одну главу. Я прочел «...50 рублей». Разочарование было ужасно! Напрасно усиливался я предать забвению сию обиду судьбы и вернуться к мыслям, занимавшим меня прежде, возвышенное настроение не возвращалось. Мне стало смешно — пришлось сложить оружие и согласиться с Броглио, что забавное происшествие может иногда породить самую сентиментальную страницу.

9 сентября. Лагерь под Красной Пахрой и Калугой

Всё находит возмещение в этом мире — добро и зло, удовольствие и огорчение; это говорилось не раз до меня и будет говориться, доколе существуют счастье и горе.

Мать, потерявшая сына, — самый ужасный пример глубочайшего несчастья! — переносит в конце концов всю свою нежность на оставшееся дитя. Освободившись от заблуждений, коих она не замечала, пока была счастлива, она сосредоточивает всю любовь, все

заботы на дитяти, коего небо ей сохранило, и в самой скорби своей благословляет божественное милосердие, не оставившее ее без утешения.

После сдачи Москвы я был очень несчастен. Лишась всего, не имея ни где спрятаться от непогоды, ни чем укрыться, оставшись без всяких запасов, я оказался в положении солдата и даже в гораздо худшем, потому что у меня не было ни начальников, которые бы заботились обо мне, ни необходимых пожитков за спиной.

Родительская заботливость спасла меня. Батюшка^[108] помог мне, сколько можно было, — и вот у меня теперь великолепная палатка, хорошее одеяло, я хорошо одет. А главное — я имел счастье получить всё это из рук любимого отца. Когда батюшка давал мне все сии вещи, я думал о том, чего мне еще недостает, и вспомнил про образок, который носил в своей дорожной суме и собирался хранить так бережно. По совести говоря, он не имел для меня особой цены: я нашел его совершенно случайно. Правда, он охранял, наверное, покой невинности, перед ним возносились молитвы моих соотечественников; но соотечественники эти мне были незнакомы, и я почитал его, лишь поскольку я почитаю всякое изображение божества. В ту минуту, как я сожалел об этой утрате, батюшка достал из своего бумажника образок, коим его благословила мать, и подал мне, советуя всегда носить его при себе.

В порыве чувства я бросился к ногам обожаемого отца и, поцеловав его руки, почтительно принял из них эту священную эгиду, залог счастья, обеспеченного родительской заботливостью, — и казался себе богаче, чем когда-либо.

Вот я и получил возмещение за все утраты и больше не жалею о пропавшем образке, а буду молиться перед батюшкиным — за его благополучие и покой, которые моя привязанность, всё возрастающая от его благодеяний, хотела бы сделать беспредельными.

11 сентября. Лагерь в одной версте позади прежнего

Сочинитель, дабы запечатлеть свою мысль, нередко выбирает тему, коя не представляет для него никаких трудностей. И меня можно было бы теперь обвинить в том, если бы я писал с иной целью; но я хочу лишь приготовить себе на будущее счастливые минуты и

удерживаю в памяти поразившие меня мысли для того, чтобы обдумать их впоследствии.

Разве мог я, стоя у врат Москвы, свыкнуться с мыслью, что она будет сдана без боя, предана пламени, оставлена на поругание неприятелю, который осквернит ее храмы, ее святыни? А теперь меня уже занимают новые замыслы, увлекают новые надежды, предо мною раскрылась светлая будущность, и я не сожалею более о своих утратах. Но если опять, даже победителем, я окажусь в древних стенах этого великого града и увижу следы разрушений и пожара, сердце мое, я знаю, станут терзать неодолимые укоры совести.

Почтенные старцы, поседелые под латами, благородные мужи, заставившие весь свет уважать себя, я мог бы говорить о вас, упрекая людей в неблагодарности и несправедливости. Но если ваши заслуги могли быть преданы забвению, — значит забвение вообще свойственно человеческой природе.

Горести, наслаждения — всё проходит, всё забывается, и дар памяти, часто благодетельный, становится иногда несчастьем для людей.

Жители столицы! Вам придется теперь пережить то же, что переживали мы. Воспрянув духом при Бородинской победе, вы вновь потеряли бодрость, узнав о нашем отступлении, но другие наши победы заставят вас еще не раз поднять голову, а ваши надежды возродиться.

Несколько дней назад я мог видеться с батюшкой, сколько хотел; наслаждаясь счастьем быть вместе с ним без жадности и торопливости, я не тревожился о будущем, словно это счастье могло продолжаться всю жизнь. Теперь батюшки уже нет здесь, я его не вижу более — и всё позабыл, даже то блаженство, которое испытывал, находясь подле него. Словно я и не видел его с тех пор, как оставил Петербург, и только вспоминал о его заботливости и любви ко мне...

Нет, дорогой отец, будь уверен, что хотя всё забывается, но твоя нежность, твоя доброта, твои достоинства, все высокие качества, присущие тебе, навсегда запечатлены в моем сердце.

12 сентября

Я всегда жалел людей, облеченных верховной властью. Уже в 14 лет я перестал мечтать о том, чтобы стать государем; теперь я даже

страшусь высокой власти. Обязанность прислушиваться к желаниям тысяч людей, придерживающихся самых различных мнений, угождать всему свету, когда никто на всем свете не мыслит одинаково, кажется мне отнюдь не легкой.

Юности свойственно вполне достойное, но осуществимое только в мечтах желание — быть всем приятным. И я часто ломал себе голову, раздумывая над тем, как бы мог главнокомандующий поступить в ту или иную минуту, дабы удовлетворить всем пожеланиям. Как я ни старался, ничего не получалось, и мне пришлось признать неисполнимость своих предположений.

Мы потеряли Смоленск и Дорогобуж, светлейший прибыл к армии, сопровождаемый благими пожеланиями всей империи. Но тут же возникли новые сговоры, стали образовываться новые партии. Только что его хвалили за победу при Бородине, а назавтра стали упрекать за нерешительность. После сдачи Москвы его обвиняли в слабости, равной предательству, а несколько дней спустя те же, кто обвинял, стали находить ему оправдание. Недавний смертельный — без причины — враг теперь хвалит его, потому что светлейший мимоходом бросил ему любезное слово; восторженный сторонник становится его врагом, потому что светлейший прошел мимо, не поздоровавшись. Предатели всем известны, на них указывают пальцами, и никто не смеет их разоблачить; все восхищаются про себя хорошими генералами, и никто не смеет похвалить их; наши успехи преуменьшаются, наши потери преувеличиваются.

Не доверяйтесь восторгу сочинителей, вы, кто станет читать о великих полководцах, не верьте в мнимое величие этих людей; они были такими же смертными, как мы все.

Светлейший, может быть, чересчур был склонен угождать Желаниям, ему высказываемым; чересчур доверял мнениям тех, кто его окружал, чересчур боялся рисковать, был чрезмерно нерешителен, опасаясь обвинений, и чрезмерно осторожен, боясь обмануть наше доверие. Теперь он обещает нам верную победу, но она обойдется слишком дорого...

Что до меня, я не допущу себя следовать за теми, кто знает только порицания либо восторги, и если я в свои годы позволю себе судить о начальнике, то лишь тогда, когда действия его будут завершены и я

сумею проверить свои предположения, а не основывать их на предположениях, быть может ошибочных.

14 сентября 1812 г. Новый лагерь фронтом направо

Я только что дочитал интересные «Путешествия Гулливера». Нечего говорить о том, какое удовольствие я испытал.

15 сентября

Небо хмурится. Мы прошли сегодня утром восемь верст по Калужской дороге. Утро такое холодное, что, видно, лету уже пришел конец.

18 сентября

Мы сидим одни в своих палатках, и однообразие наших разговоров и шуток заставило нас искать новых развлечений. Мы так дружны, что нам ни на минуту не хотелось покинуть палатку. Музыка сменялась чтением, мы беседовали, потом Анненков декламировал стихи, Поль вспомнил какой-то музыкальный отрывок; одно занятие следовало за другим, не утомляя и не надоедая, — и так, даже на биваке, мы провели чудесный день.

Вот уже пять суток, как мы стоим на месте, но сейчас получен приказ готовиться к выступлению. Говорят об атаках и сражениях; я молюсь об отечестве и о том, дабы нам поручено было достойное дело.

19 сентября. 13-ю верстами ближе к Калуге. Лагерь в селе Спас-Купля

Сегодня утром мы прошли 13 верст в отвратительную погоду, дождь и сейчас льет как из ведра. Вообще погода уже давно мешает нам и, хотя по-настоящему еще не похолодало, она весьма препятствует военным действиям и передвижениям. Грязь ужасная; солдатам, промокшим на марше, приходится спать в воде — дождь просачивается сквозь солому, которой они укрываются. Если б я мог разделить с ними удобства, коими пользуюсь!

Дождь не перестает, земля превратилась в сплошное болото, но моя палатка защищает меня от воды и ветра, толстое сукно не пропускает холодного воздуха, простой и удобный камелек согревает и очищает воздух, подсушивает землю под моей постелью. Здесь я

укрыт от всего, и чего же мне еще желать? Я ненавижу излишества и роскошь.

12 октября. Лагерь в семи верстах от Малого Ярославца

Сегодня вечером мы продолжаем преследовать неприятеля. Прощайте, покой и сибаритское существование; усталый, грязный, полуголодный, без постели, я все-таки готов благословлять небо, лишь бы успехи наши продолжались. Теперь у меня нет даже палатки. Сегодня утром светлейший в весьма учтивых выражениях попросил ее у меня, а я не так дурно воспитан, чтобы отказать. И вот я перебрался к Вадковскому, где очень неудобно; а в моей палатке укрыты судьбы Европы.

15 октября. Лагерь в Полотняных заводах

Вчера вечером мы вышли из Детчина и свернули с Калужской дороги направо, а сегодня утром стали лагерем у дороги, которая идет на Медынь, перед селом в 3 тыс. домов, богатым и, к счастью, не тронутым неприятелем. Возможно, мы останемся здесь на ночь, хотя говорят, что мы надобны в ином месте.

С недавнего времени похолодало, и сегодня утром, когда я вернулся в лагерь, первое, что мне бросилось в глаза, была канарейка, которую мне принесли в подарок.

«Вот поступок из тех, что совершаются так охотно и производят впечатление дружелюбия, а на самом деле бывают внушены себялюбием», — подумал я, принимая этот подарок.

«Вы нашли это бедное существо, которое какой-то жестокий бездельник, дабы доставить себе минутное наслаждение видом освобожденного узника, выпустил из неволи, где, по крайней мере, оно жило беззаботно; вы нашли это существо измученным, с обвисшими крыльями, заочневшим на морозе — жестокая расплата за мгновение счастья! Прежде всего приходится подумать, что с ним станет. Благодетельное тепло вашего дыхания возвращает ему жизнь, но вы не можете постоянно заботиться о нем, укрывать его от снега и холода и дать ему ту теплую атмосферу, в коей оно единственно может существовать. И вот огорченные своим бессилием что-либо сделать, более того — раздраженные, раздосадованные тем, что не можете обеспечить навсегда счастье даже канарейке, вы обратились ко мне,

увлекая меня мыслью хотя на минуту быть полезным этому невинному созданию; теперь птичка у меня на руках, а ваша совесть чиста; передо мной вы доказали себя людьми благодетельными, а неизбежная гибель птички окажется только на моей совести».

В палатке было довольно тепло, канарейка вскоре ожила под моим одеялом, стала летать и порхать; я отбросил заботу о том, что делать с ней завтра, как обеспечить ее существование, и предался удовольствию минуты.

Несколько часов я проспал, а когда проснулся, то увидел, что птичка задохлась у меня в постели.

6 декабря. Вильна

Двенадцатого будет бал! Я буду танцевать! Скорее достаньте мне сукна на мундир! Есть тут шали? А золотое шитье? Можно ли купить сани? Велите принести клавесин! Достаньте посуду! Отдайте в стирку мое белье! Пусть накормят лошадей!.. Добудьте мне сапоги! Велите вышить парадный воротник к мундиру! Доставьте хороший обед! Достаньте писчей бумаги! Живее! Скорее! Отправляйтесь! Идите! Чтоб все было готово тотчас же!

Немало поручений, не так ли? И каждое вызывало рой приятных мыслей, каждое обещало удовольствия. Желания громоздятся одно на другое, обгоняют друг друга...

Посмотрите же, сколь счастлив оказался человек, обещавший себе все эти удовольствия; узнавши его мечты, посмотрите, что его встретило в действительности!

Сегодня утром мне принесли прекрасного кофею, но дороговизны несусветной. По золотому каждое утро — это уж прямой грабеж; придется вернуться к прежнему обыкновению закупать всё по отдельности.

— Напрокат клавесинов не дают, можно только купить.

Ну что ж, обойдусь без музыки.

— Сани в продаже есть, но цена их весьма высока.

Ну что ж, буду ходить пешком.

— Хозяйка не хочет взять белье в стирку.

Ну что ж, потерплю.

— Нельзя достать ни охапки сена.

Ну что ж, придется поехать за ним за 20 верст.

— Готовых сапог нет.

Ну что ж, несколько дней нельзя будет выйти из дому.

— Шитый воротник стоит 20 рублей серебром.

Это слишком дорого, придется обойтись старым.

Обед принесли сквернейший. Ну что ж, завтра велю приготовить лучший.

Про писчую бумагу забыли. Ну что ж, сегодня не буду никому писать.

Вечером я прошу чаю — нет ни сливок, ни хлеба. Ну что ж, завтра велю запasti.

Выйти на улицу мне не в чем... Сукно тут есть прекрасное, но денег у меня нет. Ну что ж, ну что ж, — увы — не придется мне идти на бал двенадцатого, проскачу этот день один. Все буквально так и было. К несчастью, это чистая правда. Увидев, что все мои планы так быстро рухнули, я приготовился проводить вечера так же уныло, как в Тарутине, как на биваках, как в походе, а не как в столице, находя величайшее утешение в беседах с Якушкиным^[109] (сегодня мы проговорили до 11 часов). И все-таки я счастлив — счастлив сознанием, что истинное наслаждение состоит отнюдь не в исполнении прихотей, ставших привычными, а в душевном покое, дружеской привязанности, увлекательной беседе, которые всегда доступны и которых ничто не может от нас отнять.

Мало-помалу я уединился, находясь в толпе; мне нравилось прислушиваться к чужим словам и угадывать чувства, руководившие говорящими. Тем временем полк остановился, а я, продолжая идти вперед в рассеянности, не давшей мне заметить, что делается кругом, оказался впереди музыкантов; только крик, поднятый нашими офицерами, заставил меня очнуться от мечтаний.

Во главе полка обычно идут избранные остроумцы.

27 декабря. 88 верст от Вильны. Талькуны

Я не мог быть счастлив, если сутки не держал в руках кисти, если книга, которую мне хотелось прочесть, оставалась нераскрытой на столе, если мне не удавалось побеседовать с вами, прелестная графиня, поучиться мудрости, внимая вашим изящным и разумным речам, если мне не удавалось видеть ту, чьи черты запечатлены в моей душе. Как мне бывало грустно, если в течение дня не удавалось ни

разу перенестись мыслью к моим любимым родным, вообразить себя среди них; если у меня не оставалось времени, чтобы записать вечером прожитой день.

Вот в чем я вижу для себя истинное счастье.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Последняя запись в дневнике относится к 13 августа 1813 года, и сделана она в Саксонии, в лагере Гроссе Котте, незадолго до битвы под Кульмом, в которой Александр Чичерин был смертельно ранен.

Вот как вспоминал о происшедшем прапорщик Свиты по квартирмейстерской части Николай Муравьев, впоследствии вошедший в историю как генерал от инфантерии Муравьев-Карский: «Ермолов приказал 2-му батальону Лейб-гвардии Семеновского полка идти на защиту орудий. Никогда не видал я что-либо подобного тому, как батальон этот пошел на неприятеля. Небольшая колонна эта хладнокровно двинулась скорым шагом и в ногу. На лице каждого выражалось желание скорее столкнуться с французами. Они отбили орудия, перекололи французов, но лишились всех своих офицеров... Поручик Чичерин примером своим ободрял солдат: он влез на пень, надел коротенький плащ свой на конец шпаги и, махая оной, созывал людей своих к бою, как смертоносная пуля поразила его сзади под лопатку плеча; лекаря не могли ее вынуть... Чичерин к наружной красоте присоединил отличные качества души...»

В полковой истории сказано: «Когда Чичерин умирал, он попросил своего родственника генерала-майора Пашкова отвезти в полк 500 рублей, с тем чтобы проценты этого капитала ежегодно выдавались одному из рядовых, тяжело раненному при Кульме»^[110].

Александр Чичерин был похоронен на военном кладбище в пражском предместье Карлине у подножия Жижковой горы. В 1906 году останки русских воинов были перенесены на Ольшанское протестантское кладбище. Перенесен был и памятник, где на русском и немецком языках сделана следующая надпись: «Памятник храбрым русским офицерам, которые от полученных ими ран в сражениях под Дрезденом и Кульмом в августе месяце 1813 года в городе Праге померли. Да пребудет священ Ваш прах сей Земле, незабвенными останетесь Вы своему Отечеству».

На других двух сторонах высечен список имен погребенных под памятником офицеров. Двенадцатым в списке названо имя поручика лейб-гвардии Семеновского полка А. В. Чичерина.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ХРАНИТЕЛЬ ГНЕДИЧ
(Николай Иванович Гнедич. 1784–1833)

Глава первая

Пой, легкокрылая ласточка, пой и кружись надо мною! Может быть, песнь не последнюю ты мне на душу напела.

Н. И. Гнедич. Ласточка

Первые стихи. — Детство. — Миколочка. — Письмо Маши

Осьмнадцатый уже се истекает век...

Так начинается одно из первых сохранившихся произведений Николая Гнедича — «Песнь на Рождество Христово». Стихи написаны четырнадцатилетним отроком на рубеже веков, в 1798 году. Проводы XVIII века были долги и величественны, как недавнее правление Екатерины.

Рождественская песнь украшена рисунком автора: в бедных яслях лежит спеленатый младенец, над ним — Вифлеемская звезда и шесть ангелов. Ясли нарисованы с крестьянским знанием дела, грубое сено торчит во все стороны.

Богородицу и Иосифа, как и волхвов с дарами, юный поэт не нарисовал. Возможно, не осмелился. А может, просто не успел, отдав все силы и время отделке большого стихотворения. Не исключена и другая причина: мальчик затосковал о доме и, глядя на свой недорисованный вертеп, погрузился в счастливые воспоминания...

О время! О часы! Минуты драгоценны,
В который приял плоть прежде век рожденный!
Померкнут звезды пусть и солнце и луна,
Пусть быстрых крил своих лишатся времена,
Изсохнет океан, вселенна пусть увянет,
Но славить человек сего дня не престанет...

Свою «Песнь...» Николай приготовил в подарок отцу. С детской горячностью и сердечным упованием мальчик обращался к Богу:

Всесильный Бог, Творец тьмочисленных миров,
Непостижимый Царь бытий, времен, веков!
Будь моему отцу всегда ты Покровитель,
Будь дней его драгих Защитник и Хранитель,
Да в счастье под Тобой и им я буду жить
И возмогу к Тебе ввек благодарным быть.

В пору написания этих строк Николай и его старший брат Володя учились в Харькове, впервые оторвавшись от родных мест (села Бригадировка, что в Богодуховском уезде близ Полтавы), от бедной, но дружной своей семьи — отца и старших сестер Наташи, Маши и Гали. Мать Николая умерла при его рождении, поэтому нянчились с мальчиком сестры. Они не могли заменить Гнедичу мать, но веселые и добрые барышни первыми заметили актерские способности младшего брата, стали брать его в свои домашние спектакли. Вместе с сестрами Николай пел украинские песни, а цвирканье ласточек было его любимой музыкой. На склоне лет Гнедич посвятит ласточкам одно из своих лучших стихотворений:

Ласточка, ласточка, как я люблю твои вешние песни!
Милый твой вид я люблю, как весна и живой и веселый!
Пой, весны провозвестница, пой и кружись надо мною;
Может быть, сладкие песни и мне напоешь ты на душу...

Жизнь в Бригадировке протекала среди вольных степей, где сам воздух был певуч. Летом через село приходили странники. Часто это были слепые старцы, похожие на ветхозаветных пророков. Приветить их было не только богоугодно, но и в некоторой степени почетно. Исполненные смирения и в то же время — глубокого достоинства, странники трогали струны бандуры или кобзы, и все слушатели погружались в мир древний, былинный и сказочный. Это была та славянская античность, через которую пролегал кратчайший путь к античности греческой.

В 1816 году, в поэме «Рождение Гомера», Гнедич, повествуя о детстве слепого гения, невольно воссоздавал свое детство. В поэме есть много такого, что заставляет вспомнить образы украинской культуры, начиная с «цветистой колыбели» и завершая описаниями природы, совершенно малороссийской:

И томная земля как будто в сладкий сон
И воды, и поля, и воздух призывала...

Сохранилось одно из писем Маши братьям в Москву (после Харьковского коллегиума братья Гнедичи поступили в Университетский благородный пансион). Письмо написано в сентябре 1801 года. В нем Маша просит Николая извещать о его сценических успехах, а также умоляет рассказать о том, как проходила в Первопрестольной коронация Александра I. В обмен на столь драгоценные для жителей провинции подробности девушка обещает прислать брату журавля: «Здравствуй, милой мой братеку Миколочко. Прошу тебе ще мій севенькій голубчику, коли Володя полинится описате за коронацію, то ти напиши, а я вже тебе пришлю за те журавель щоб с тобою на трагелдии тацував кадрель: то-то удивишь всех. Ти же, брате, почав трагелдии представлять: я слыхала... Миколочка, да сделай милость пиши, не ленись: да що смешне — напеше, яки ти там трагельдии представляешь. Та особливо пиши ж, не в батюшкином письме... Прощайте. Ещо, братья, живите себе хорошенько, мирненько, то будет вам от Бога и от людей гаразд. Поцилуйтесь-ж у двоих за мене: ти Володю за мене поцалуй, и вене тебе та мецно, глядет, цулуйтесь, щоб и я чула...»^[11]

Глава вторая

Мы други не с тем, чтоб плакать вместе, когда один за тысячу мириаметров от другого, не с тем, чтоб писать обоюдно плачевные элегии или обыкновенещину, но с тем... чтоб меняться чувствами, умами, душами, чтоб проходить вместе чрез бездны жизни...

К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу. 27 ноября — 5 декабря 1811^[112]

Юность друзей. — Первая любовь. — Глагол «любить». — Михаил Никитич Муравьев. — Военская труба зовет. — Гнедич и Батюшков пишут письма своим отцам. — Рожденный «для подъятия оружия». — Американская мечта

«Портфель моя уехала...»^[113] — с такой забавной бытовой подробности начинается первое из сохранившихся писем Батюшкова Гнедичу.

Они дружили крепко и горячо с самой ранней юности: распахнутый, доверчивый, запальчивый Батюшков и осторожный, суховатый, замкнутый Гнедич. При всей разности характеров не только их умственная, но и сердечная жизнь были созвучны. Они прекрасно дополняли друг друга. И когда одному из них вдруг приходилось изменять своим лучшим качествам, друг неизменно поправлял. «Куда девалось твое хладнокровие, — спрашивал Батюшков Гнедича в августе 1811 года, — твоя рассудительность, доблесть ума и сердца? Куда сокрылась твоя философия, опытная и отвлеченная, твоя наука наслаждаться, быть счастливым, покойным, довольным?...»^[114]

Оба рано потеряли матерей. Оба в раннем детстве были опекаемы старшими сестрами и на всю жизнь сохранили к ним огромную привязанность. Оба были чрезвычайно ранимы и несчастливы в

любви, остались одиноки, хотя мечтали о семье, о домашнем очаге, о детях. Особенно тосковал о жизни семейственной Гнедич.

«Главный предмет моих желаний — домашнее счастье. Моих? Едва ли это не цель и конец, к которым стремятся предприятия и труды каждого человека. Но, увы, я бездомен, я безроден. Круг семейственный есть благо, которого я никогда не ведал. Чуждый всего, что бы могло меня развеселить, ободрить, я ничего не находил в пустоте домашней, кроме хлопот, усталости, уныния. Меня обременяли все заботы жизни домашней без всякого из ее наслаждений»^[115]. Так писал Гнедич в своей записной книжке на склоне своей недолгой жизни.

Не знаю, рассказывал ли он другу о своей первой любви. А может быть, и не только рассказывал, но успел познакомить Батюшкова с этой замечательной девушкой. Ее звали Мария Хомутова. Адресованных ей писем Гнедича до нас не дошло, а вот одно из писем Маши бережно сохранялось поэтом. Оно написано 20 декабря 1803 года. Гнедичу шел тогда двадцатый год; Маша, очевидно, была чуть младше.

«Милостивый Государь, Николай Иванович!

Благодарю Вас за письмо, которое я имела удовольствие получить. Вы не поверите, сколько я чувствовала в душе моей удовольствия, читая его; несколько раз перечитывала. Пишете, что я хотела уязвить Вас, благодаря за дружбу, и Вы в добром моем сердце сомневаетесь. Я не комплимент Вам сделала, а благодарность. О, ежели б это было в деревне, чтобы я имела удовольствие Вас видеть то б предпочла Вашу приятную беседу всякому балу.

Скажу Вам о себе: я с тоски умираю. Опишу Вам мое положение. Сижу дома и никуда не выезжаю. Дом мой о два этажа, превеликий; я сижу и живу в одной маленькой спальне, в которой расписаны по стенам деревья, горы, хижины; вверху комнаты изображен воздух и маленькие облака и птицы летающие представлены. Я сижу на черном, кожаном диване с утра и вяжу шнурки. Читаю книги, часто плачу, задумываюсь, а по парадным комнатам брожу раз в

день, когда обедаю. Бывают гости: и те тяготят. Нет тех милых душе моей, которые были в Петербурге.

Говорите Вы, что выпили чашку налитого мною чаю: как бы постаралась Вам в деревне приготовить чай — Вы подлинно бы похвалили.

Вы философ, а льстить умеете. Говорите: ежели б один вечер, проведенный с нами — был бы для Вас приятен. Я не верю, чтобы Вы не нашли в Петербурге так же любезных, с которыми бы приятно вели время.

Скажу Вам: я не смела к Вам писать...

Ношу всякий день Ваш подарок, который я выпросила у Вас в медальон: как встаю поутру и этот медальончик надеваю...»^[116]

Что помешало молодым людям соединиться? Тому могло быть много причин: и отказ родителей Маши, и бедность Гнедича, и мнительность его — должно быть, он не верил, что его, изуродованного оспой, можно так сильно полюбить...

Придет пора: Гнедич и Батюшков полюбят одну девушку — Анну Федоровну Фурман, воспитанницу Алексея Николаевича Оленина. Первым влюбится Константин (он симпатизировал Анне еще до войны 1812 года), за ним — Николай.

По целым дням чего-то все желать,
Чего? не понимая;
Зарадоваться вдруг и вслед за тем — вздыхать,
О чем, не очень зная;
Все утро проскучать и вечера хотеть,
А вечером об утре сожалеть;
Страшить себя, когда надеждой можно льститься;
Надеждой льстить себе, как надобно страшиться;
Всем жертвовать и трепетать,
Не мало ли еще пожертвовано было?
Терзаться тем, что прежде веселило;
Страдать и обожать страдания свои;
Вдруг ненавидеть их, с самим собой сражаться;
И вдруг, забыв страдания свои,

В мечты блаженства погружаться;
То робким иногда, то слишком дерзким быть,
То подозрительным, то очень легковерным;
Всем верить, и считать на свете все неверным;
Чужому все открыть, от дружбы все таить;
Соперником считать невинного душою;
Короче: ночью сна, а днем не знать покою,
Вот смысл, но слабою брошенный рукою,
 Глагола страшного *любить*:
Вот что испытывал (я знаю над собою),
 Кто в жизни раз влюбленным был,
И вот зачем никто два раза не любил.

Невинный душой соперник — это, конечно же, Батюшков, посвятивший Анне Фурман строки, ставшие ослепительной вершиной всего им написанного:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны золотые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милой, незабвенной
Повсюду странствует со мной.
Хранитель Гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? прикиннет к изголовью
И усладит печальный сон.

Анна Фурман склонна была отдать руку и сердце Константину, но тот замешкался, повел себя непоследовательно, и это можно понять: он был беден, житейски неустроен. К тому же временами Батюшков остро чувствовал приближение болезни и не хотел принести девушке несчастье.

Гнедич сватался к Анне. Она отказала.

* * *

Батюшков был на три года младше Гнедича, но чувствовал себя старшим — во всяком случае, в письмах. Он наставлял Гнедича и в творческих, и в житейских делах. «Да не пиши на листке, а на трех, не в один присест, а во многие...»^[117]

Ощущение, что друг старше и опытнее его, было и у Гнедича (как-то он даже ошибся в возрасте своего друга: в 1811 году, когда Батюшкову было всего 24 года, он написал, что тому вот-вот исполнится тридцать).

А познакомились они в 1803 году в Департаменте народного просвещения. Батюшков служил письмоводителем, а Гнедич был определен в писари.

Через пару лет добросовестный и аккуратный Гнедич занял должность младшего помощника столоначальника. Батюшков же смотрел на свои обязанности как на досадное препятствие к занятиям литературой и не умел этого скрыть. Он и на службе писал стихи. Однажды у Константина отобрали листок со стихами (а это было послание Гнедичу, которое он шлифовал с утра до вечера) и отнесли прямо Михаилу Никитичу Муравьеву.

Оригинальный русский мыслитель, писатель, государственный деятель, попечитель Московского университета (и автор устава МГУ) Михаил Никитич Муравьев был двоюродным братом Николая Львовича Батюшкова, отца поэта. В отроческие годы Константин воспитывался в семье Муравьева. А Михаил Никитич был в свою эпоху, безусловно, лучшим педагогом в России. Еще в 1785 году Екатерина II пригласила его преподавать наследнику престола литературу, нравственную философию и русскую историю.

К юному Батюшкову Михаил Никитич относился как к родному сыну, но, занимая в департаменте высокую должность товарища министра народного просвещения (то есть заместителя министра), был его начальником. Чиновники ожидали, что Батюшков-сын будет примерно наказан. Но Муравьев, прочитав на листке эпиграф из Парни («Небо, желающее мне счастья, вложило мне в сердце лень и беззаботность»), только рассмеялся — он был на редкость великодушным человеком.

Через много лет (17 июля 1816 года) в речи своей при вступлении в Общество любителей российской словесности, Константин Батюшков так сказал о Михаиле Никитиче: «...Имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным, имя его напоминает все заслуги, все добродетели. Ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних, редкое искусство писать он умел соединить с искреннею кротостию, с снисходительностию, великому уму и добрейшему сердцу свойственною. Казалось, в его виде посетил землю один из сих гениев, из сих светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики... Он ободрил все отечественные таланты...» ^[118]

Полвека спустя Евдокия Ростопчина писала Михаилу Погодину: «И у нас бывали люди, когда было кому их образовать, когда были открыты дома Муравьева, Карамзина... а теперь — где свет, где теплота, где духовная жизнь?..»

* * *

Осенью 1806 года Александр I выступил на помощь Пруссии, которая подверглась нападению Наполеона. Война складывалась для союзников крайне неблагоприятно. Французы разгромили прусские войска под Йеной и Ауэрштедтом и вскоре заняли Варшаву. В январе 1807 года в битве под Прейсиш-Эйлау русская армия Беннигсена понесла тяжелейшие потери.

В России то с воодушевлением, то с тревогой следили за войной. Патриотически настроенная дворянская молодежь торопилась принять участие в исторических событиях. В феврале 1807 года Батюшков задумал вступить в армию. Чтобы получить родительское

благословение на такой решительный шаг, он написал письмо отцу. За несколько лет до этого (скорее всего, осенью 1801 года, в возрасте 17 лет) Гнедич, вдохновленный яркой судьбой своего любимого полководца Суворова, также пытался вступить в военную службу. Он писал отцу о своей мечте вступить в гвардию, но, не получив благословения, навсегда оставил эту жизненную стезю другим молодым людям.

Достаточно сравнить письма друзей на ратную тему, чтобы получить представление о разности их темпераментов и характеров.

Девятнадцатилетний Батюшков писал в спешке, и письмо получилось довольно легкомысленным и несколько путаным. Причем из этого послания следовало, что сын ставит отца перед фактом своего ухода на войну. Благословение ему, конечно, хотелось бы иметь, но раздумывать и ждать некогда, поскольку события развиваются слишком быстро...

«Любезный папилька! Я получил последнее письмо ваше, которым вы уведомляете меня, что нездоровы. Ах, сколь сия весть для меня ужасна, тем более, что я должен буду теперь вас еще огорчить. Падаю к ногам твоим, дражайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело честное без твоего позволения и благословения, которое теперь от меня требует и Небо, и земля.

Но что томить вас! Лучше объявить все, и Всевышний длань свою прострет на вас.

Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтоб их проводить до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что не найдете вы ничего предосудительного в сем предприятии. Я сам на сие вызвался и надеюсь, что Государь вознаградит (если того сделаюсь достоин) печаль и горесть вашу изливанием на вас щедрот своих. Еще падаю к ногам вашим, еще умоляю вас не сокрушаться. Боже, ужели я могу заслужить гнев моего Ангела-хранителя, ибо иначе вас называть не умею! Надеюсь, что и без меня Михаиле Никитич сделает все возможное, чтоб возвратить вам спокойствие и утешить последние дни жизни вашей. Он и

сам чрезвычайно болен к моему большому огорчению. Я могу сказать без лжи, что он меня любит, как сына, и что я мало заслуживаю его милости...»

Про «последние дни жизни вашей» — сказано, право, не очень учтиво. Как и то, что Батюшков вручает заботу об отце Михаилу Никитичу Муравьеву, который в ту пору действительно был очень болен. Муравьев скончается в возрасте 50 лет в июле 1807 года, всего за пару дней до возвращения с войны своего любимого воспитанника...

«Теперь буду вас покорнейше просить высылать деньги... — продолжает Батюшков письмо отцу, — к выезду моему мне оные чрезвычайно нужны.

Еще повергаю себя в ваши объятия и прошу благословения на дальний путь, который предприемлю; оно мне нужнее и денег, и воздуха даже, которым дышать буду. Я скоро возвращусь и надеюсь, что, увидя вас, исцелю все раны моими слезами радости, все раны, нанесенные вам рукою жестокой судьбы. Ах, и в сей час я плачу, родитель мой, и в сей час даже образ твой есть для меня залогом любви твоей и твоих милостей.

Сим кончу я письмо мое; поездку мою кратковременную отменить уже не можно: имя мое подтверждено Государем. Итак, прошу вас именем сына вашего, утешьтесь и не огорчайтесь краткой поездкой в Польшу.

Бога ради, прошу вас подать мне теперь к отъезду некоторые способы. Пишите ко мне, родитель мой, и дайте мне свое благословение, без коего я жить не могу; я же с своей стороны пред Всевышним пролию реки слез и испрошу вам здравия, спокойствия душевного и всех благ земных. Послушный сын ваш Константин Батюшков» ^[119].

Можно представить отцовские чувства после получения такого сумбурного письма. Будь Николай Львович Батюшков человеком крутого нрава, просьба слать деньги и благословение в обмен на «реки слез» он счел бы дерзостью. Но Батюшков-старший отличался

сдержанностью и отходчивостью, и если он осерчал, то ненадолго. В искренности сыновних чувств Николай Львович не сомневался, а стремление сына послужить Отечеству он не мог не разделять. Поэтому думается, что и отеческое благословение, и деньги Батюшков вскоре получил.

Гнедич, хотя и был в пору написания своего письма чуть моложе Батюшкова (письмо предположительно написано в 1801 или 1802 году, значит, Николаю — 17 или 18 лет), подошел к делу куда основательнее. Свои мысли он долго вынашивал, а средства их выражения придирчиво отбирал. Получилось даже не письмо, а публичная речь о выборе призвания. Чувствуется, что убедительность этого письма проверялась декламацией где-нибудь в глухом уголке парка. Голос юного Гнедича — «гибкий и сильный», как он сам его оценивал, — хорошо слышен здесь.

«Вам известно, что я достигаю полноты телесного возраста, — с важностью начинает он письмо отцу Ивану Петровичу, — достигаю той точки жизни, того периода, в который должен я благодарностию платить Отечеству. Благодарность ни в чем ином не может заключаться, как в оказании услуг Отечеству, как общей матери, пекущейся равно о своих детях. Желание вступить в военную службу превратилось в сильнейшую страсть. — Вы, может быть, скажете, что я не окончил наук. Но что воину нужно? Философия ли? Глубокие ли какие науки или математические познания? — Нет: дух силы и бодрости...»

Тут Николай решил честно сказать отцу, что постижение наук более его не увлекает: «Признательно скажу вам, что охота к учению мало-помалу угасает». Тут же сообразив, что фраза эта малодушна и за нее можно получить от отца сугубое порицание, а то и взбучку, Гнедич спешит зачеркнуть ее.

Поразительно, что Николай, сочиняя это письмо, совершенно уверен, что годен к службе в гвардии. Кажется, что он совершенно забыл о том, что его здоровье подорвано перенесенной в детстве оспой. (Надо сказать, что оспа уносила множество детских жизней; к примеру, от этой болезни погиб единственный сын Михаила Илларионовича Кутузова — Николай.)

Но нет, о своих немощах Гнедич не забыл: «Вы может быть думаете, что я слаб здоровьем... Нет, — я чувствую себя способным

лучше управлять оружием, нежели пером... Скажу вам, что я рожден для подъятая оружия. Дух бодрости кипит в груди моей так пламенно, что я с веселым духом готов последнюю каплю крови пролить за Отечество».

В этом месте Иван Петрович не мог не улыбнуться. Это была, думается, не насмешливая, а снисходительная, почти умиленная улыбка человека, который понимает в эту минуту, что не зря живет на земле: такой сын не опозорит своего отца.

А Николай рассуждал тем временем: «Образ героя Суворова живо напечатлен в душе моей, я его боготворю. Жаль мне прервать союз с музами, но глас Отечества зовет... Если протечет мне 20 лет, дух бодрости ослабнет, желание уменьшится. До 20 лет может быть я буду не без имени человек...»

С мальчишеской наивностью Николай приводит отцу еще один довод в пользу своего поступления в военную службу: благодаря ей он сможет... путешествовать. В глазах юного Гнедича итальянские и швейцарские походы Суворова — это не столько кровь, страдания и боль, сколько познавательное знакомство с Европой: «Может быть доведется мне быть в отдаленных частях света, увидеть <жизнь> различных народов, образ их правления, образ их жизни, — и конечно, если судьба мне поблагодарит, я возвращусь с большими опытами и познаниями. Вы скажете, что военная служба сопряжена с величайшими трудностями. Правда, она много требует труда и нередко жертвования сил; но что может быть славнее и приятнее, если не то, что мы преодолеваем трудности и достигаем того, чего желаем?»

Внимательными глазами рассматривал я все роды службы. Всякая имеет труды и награждения... Но военная служба, по мнению моему, превосходит все прочии. Славно, очень славно и любезно умереть на ратном поле при открытом небе. Правда, не меньше приятно умереть в своем месте рождения. Но судьба ничья не известна. Нельзя жить в свете и не испытать несчастий. Не всегда светит солнце, не всегда бывает майское утро...

И так, милостивый родитель, отриньте страх. Я уповаю на Бога и прошу его, да даст мне силы к понесению трудов. Позвольте мне вступить в военную службу... Но вы скажете, что нет благодетелей: Бог Всевышний Благодетворитель: Он не оставит меня. Прошу со

слезами, милостивый родитель, вашего отеческого благословения...»^[120]

Пройдет время, и Гнедич придет к убеждению, которое выразит на собрании Общества любителей российской словесности: «Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, более действительным, нежели меч в руке воина...»^[121]

* * *

В 1810 году Гнедич и Батюшков задумали вместе ехать в Америку. Тогда открылась вакансия на место советника при русском посольстве в Вашингтоне. «Я был уже на мази ехать искать фортуны там, где растет перец, в Северную Америку», — вспоминал Гнедич.

Но, во-первых, место было одно. Во-вторых, Гнедич не мог оставить сестру Галю, которая после смерти отца, Ивана Петровича, в 1805 году осталась в одиночестве в сельце Бригадировка близ Полтавы. Жила в такой бедности, что не могла появиться даже в полтавском «свете», и это вынужденное уединение помешало ей выйти замуж. Немыслимо было оставить ее надолго.

Константин хотя и рассуждал порой в духе героев авантурных романов, и заявлял другу, что готов ехать хоть на край света — лишь бы не служить «в канцеляриях, между челядью», но на деле был столь же ответственным и заботливым братом трех своих сестер.

Батюшков беден, и ему обязательно надо служить, но где найти второго Михаила Никитича Муравьева? Где найти такого начальника, который позволял бы поэту заниматься поэзией и не напоминал о рутине?

Второго Муравьева Батюшков увидел в Оленине — человеке феноменальном не только по многообразию своих дарований, но и по доброте и душевной щедрости. Как вспоминала дочь Оленина, Анна, «в характере отца не было ни суровости, ни холодности, ни эгоизма»^[122].

Незадолго до начала войны, 12 апреля 1811 года, Николай Гнедич был определен на вакансию помощника библиотекаря в Императорскую публичную библиотеку. Должность — из самых

скромных, но директор библиотеки Алексей Николаевич Оленин сделал ее почетной и ответственной: Гнедичу было поручено хранение манускриптов греческого собрания библиотеки.

Батюшков тоже задумался о службе в библиотеке; при этом мучился сомнениями и честно признался Гнедичу: «Я бы попросился в библиотеку, но боюсь вот чего: там должно работать, а я...»

Вскоре Батюшков собрался с духом и все-таки попросился к Оленину. Алексей Николаевич зачислил его в депо манускриптов помощником библиотекаря.

Глава третья

В буре бедствий светильник философии гораздо менее успокаивает, чем маленькая лампада перед образом Святой Девы.

Н. И. Гнедич. Записная книжка

Солдат Троянской войны. — Происшествие на мосту через Днепр. — Случай в лавре. — Проводы братьев Олениных. — Письмо Алексея Николаевича сыновьям. — Эвакуация библиотеки. — Приключения «книжного» брига. — Оружие «Илиады»

Оленин устроил все для того, чтобы работа Гнедича над переводом «Илиады» протекала в самых благоприятных условиях. Кроме жалованья, которое составляло тысячу рублей, Николаю Ивановичу полагалась служебная квартира прямо в здании библиотеки, что в условиях промозглого Петербурга сберегало не только время, но и здоровье. Все необходимые книги теперь были под рукой. Соседство тоже оказалось удачным: апартаменты Гнедича располагались над квартирой Ивана Андреевича Крылова, который заведовал русским собранием библиотеки.

Варвара Оленина, старшая дочь Алексея Николаевича, вспоминала: «Крылов и Гнедич, искреннейшие мои друзья и благодетели, занимались премного мною; были замечательны своею дурнотою; оба высокие: первый толстый, обрюзглый, второй сухой, бледный, кривой, с исшитым от воспы лицом; но зато души и умы были превосходные. Гнедича батюшка прозвал *ходячая душа...*»

В 1812 году Гнедичу исполнилось 28 лет. Потомок казацких сотников, он бы непременно отправился на войну, если бы позволяло здоровье. Но еще в 1809 году хвори Николая внушали медикам опасения, а несчастный случай, происшедший в 1810 году по пути из Петербурга в родное село, чуть не лишил его жизни. На мосту через Днепр кони понесли, Гнедича выбросило из коляски, и он попал под колесо того экипажа, что ехал за ним.

С тех пор болезни не оставляли Гнедича, и во время Отечественной войны он уже не мог встать в строй. Но — «сила Божия в немощи совершается», и, при всей своей физической слабости, Гнедич проявил немалую силу духа, помогая словом и делом всем тем своим друзьям и знакомым, кто был так или иначе задет войной. Наверняка он помогал и малознакомым, а то и вовсе не знакомым людям. Несколько таких историй открылось после его смерти, но еще больше их, очевидно, так и осталось в забвении.

Одна из известных историй относится уже к послевоенному времени. Однажды Гнедич приехал к ректору Духовной академии в Александро-Невскую лавру и, проходя мимо некрополя, заметил плачущего молодого человека. Николай Иванович подошел к нему и стал расспрашивать. Выяснилось, что молодой человек хорошо учится в академии, но ничем не может помочь своей матери, которую оставил в крайней бедности. Гнедич по-отечески утешил студента, а сам отправился к своему доброму знакомому адмиралу Николаю Семеновичу Мордвинову, занимавшему в ту пору пост председателя Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета. Мордвинов сразу отозвался на просьбу Гнедича помочь юноше: его матери был назначен пансион, а когда молодой человек через несколько дней пришел ее навестить, то обнаружил, что она живет в новой чистой квартире.

Но вернемся в Петербург 1812 года. С зимы столица жила в предчувствии грозных событий. Одна за другой уходили к западной границе гвардейские части.

9 марта Николай Гнедич участвовал в проводах от Московской заставы Семеновского полка, в котором служили сыновья Алексея Николаевича Оленина — восемнадцатилетний Николай и семнадцатилетний Петр. В армейские списки их по традиции внесли как Оленина 1-го и Оленина 2-го.

Гнедич знал юношей еще детьми и смотрел на них как на своих младших братьев (так же Батюшков относился к Никите и Александру Муравьевым). Супругу Алексея Николаевича, Елизавету Марковну, Гнедич почитал как мать. В 1820 году он посвятил ей элегию «Приютино», полную нежной благодарности:

Еще я прихожу под кров твой безмятежный,
Гостеприимная, Приютинская сень!
Я, твой старинный гость, бездомный странник прежний,
Не раз главу свою в твою склонявший тень...

В усадьбе Приютино у Николая Ивановича была своя комната (такая привилегия была еще только у И. А. Крылова). «Гостить у Олениных, — вспоминал один из друзей Олениных, — было очень привольно: для каждого отводилась особая комната, давалось все необходимое, и затем объявляли: в 9 часов утра пьют чай, в 12 — завтрак, в 4 часа обед, в 6 часов полдничают, а в 9 — вечерний чай; для этого гости сзывались ударом в колокол; в остальное время дня и ночи каждый мог заниматься чем угодно: гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и из лука, причем Алексей Николаевич показывал, как нужно натягивать тетиву»^[123].

Младшая дочь Олениных, Анна (в 1812 году ей было четыре года), любимица всей семьи, она была и любимицей Гнедича. С самых детских ее лет Николай Иванович приветствовал Анну возгласом: «Здравствуй, умная, веселая Анета!»

...Очевидцы вспоминают, что день 9 марта 1812 года выдался пасмурным, шел мокрый снег. Настроение у провожающих было тревожное. Мало кто сомневался, что полк уходит не просто в поход, а навстречу войне.

Действительный тайный советник Алексей Николаевич Оленин — человек, которого Александр I называл *Тысячеискусником* (*Tausendkünstler*: — нем.), был не только выдающимся художником, эстетом и интеллектуалом. Он хорошо знал военное дело, участвовал в суворовских походах в составе Псковского драгунского полка. Воевал и в Шведскую кампанию. Оленин еще за несколько лет до войны предсказывал новое столкновение с Наполеоном. Иллюзий у него не было.

Благословляя сыновей в путь, Алексей Николаевич дал им в дорогу свое письмо. Этот удивительный документ нельзя не привести полностью.

«Любезные дети Николай и Петр! Мы расстаемся с вами в первый раз и расстаемся, может быть, на долгое время! В первый раз вы будете управлять собою без всякого со стороны нашей влияния. Итак, родительским долгом почитаем мы, т. е. я и родшая вас, письменным вас снабдить наставлением, которое... будет сколько можно коротко, ибо на правду мало слов нужно... Если ваши деяния честны, человеколюбивы и не зазорны, то хотя бы и временное вас несчастье постигло, но рано или поздно святая и непоколебимая справедливость Божья победит коварство и ухищрение. Одно спокойствие совести можно уже почитать совершенною себе наградою. Будьте набожны без ханжества, добры без лишней нежности, тверды без упрямства; помогайте ближнему всеми силами вашими, не предаваясь эгоизму, который только заглушает совесть, а не успокаивает ее. Будьте храбры, а не наянливы, никуда не напрашивайтесь, но никогда не отказывайтесь, если вас куда посылать будут, хотя бы вы видели перед собою неизбежную смерть, ибо, как говорят простолюдины, „двух смертей не бывает, а одной не миновать“. Я и сам так служил и служить еще буду, если нужда того востребует. Будьте учтивы, но отнюдь не подлы, удаляйтесь от обществ, могущих вас завлечь в игру, в пьянство и другие скаредные распутства, неприличныя рассудительному и благовоспитанному человеку. Возлюбите ученье ради самих себя и в утешение наше. Оно нас отвлекает от всех злых пороков, которые порождаются от лени и возрастают в тунеядстве. Будьте бережливы, но не скаредны, и в чужой земле берегите, как говорят, деньгу на черный день. В заключение всего закликаем вас быть всегда с нами искренними, даже и в сокровеннейших погрешностях ваших. Отец и любящая своих чад мать, как мы вас любим, единственные могут быть нелицемерными путеводителями детям своим. Если же они и слишком иногда строги, тому причина непомерное их желание видеть чад своих на высшей степени славы и благополучия. Затем да будет благословение наше на вас по конец дней ваших и в будущей жизни. Аминь.

Р. С. Если вы будете к нам писать по возможности, то ни о каких политических делах не уведомляйте, нам только нужно знать о здоровье вашем, о выборе знакомства, о прилежании вашем к ученью, т. е. к наукам и художествам, буде вы на то можете употребить время от службы остающееся»^[124].

Через сорок два года отставной генерал-майор Петр Алексеевич Оленин передал это письмо своему сыну Алексею. «Вот копия письма твоего деда Алексея Николаевича, — писал бывший прапорщик Оленин 2-й. — Посылаю тебе ее, потому что лучше нам ничего не придумать. Он писал это письмо в тех же обстоятельствах, отправляя сыновей на войну. Прибереги ты его в случай, что у тебя самого будут дети. Эти правила и чувства должны оставаться неизменными, и может быть, тебе пригодится письмо, как и нам пригодилось для вас»^[125].

Петр Оленин одно время приятельствовал с Пушкиным и, возможно, показывал ему свою реликвию — батюшкино письмо. И тогда можно предположить, что это письмо и воспоминания Петра отозвались в «Капитанской дочке». Вспомним, что наказывал отец Петруше Гринёву: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду...»

* * *

Через полтора месяца после вторжения Наполеона Оленин получил от правительства распоряжение подготовить к эвакуации наиболее ценную часть собрания Императорской публичной библиотеки. Для переправки книг в безопасное место (предполагалось, что это будет Петрозаводск) Алексей Николаевич нанял бриг.

Гнедич занялся отбором самых ценных книг греческого собрания. На поверку оказывалось, что все они ценные и ни одной нельзя было пожертвовать. В кратчайший срок — с конца августа по середину

сентября — 150 тысяч томов книг и все рукописи были уложены в огромные ящики.

Из-за непогоды путь «библиотечного» брига до Ладожского озера занял почти две недели. Морозы застали бриг у деревни Устланки, в 30 верстах выше Лодейного Поля. Там и пришлось бросить якорь и остаться на зимовку. Состояние книжных сокровищ очень беспокоило Оленина, и он добился их возвращения по зимнику, санным путем. 19 декабря 1812 года книги благополучно вернулись в Петербург.

* * *

...По вечерам Николай Иванович допоздна сидел над переводом «Илиады». Драматические события начала XIX века пробудили в русских людях огромный интерес к «Илиаде» (его можно сравнить лишь с тем, как жадно читали «Войну и мир» во время Великой Отечественной).

Еще за пять лет до вторжения Наполеона Гнедич перевел пять песен «Илиады» александрийским стихом с рифмами, продолжая труд Ермила Кострова. Песни печатались отдельно. О их популярности свидетельствует письмо Гнедича Батюшкову от 2 сентября 1810 года: «В один из моих приездов в город Ахтырку по делам судебным, остановясь на квартире, заночевал. В пятом часу утра за стеною комнаты слышу я тоны декламации; вообрази мое удивление и радость: в Ахтырке найти человека декламирующего, — стало быть, имеющего о чем-нибудь понятие! Вслушиваюсь в слова: „Как боги, ветер послав, пловцов возвеселяют“ — стихи моей „Илиады“! Я был в... ты сам вообразишь, в чем я был...»^[126]

Весной 1811 года Гнедич выступает с чтением «Илиады» в гостиных Петербурга, срывая цветы первой славы. «Старик Гомер довел старика Строганова^[127] до того, что он кидался мне на шею, — пишет Гнедич Батюшкову, — графиня Строганова молодая прогнала графа Мейстера, который начал было читать по-французски то место, которое читал я им в своем переводе... Здесь кружатся головы, или это действие моды, или афинская звезда взошла над нашею страной»^[128].

Ради перевода Гомера Гнедич оставил службу писца в департаменте. Батюшков был восхищен поступком друга: «Ты не хотел потерять свободы и предпочел деньгам нищету и Гомера...»

Однако еще осенью 1809 года Гнедич получил пособие на совершение перевода — пенсию в тысячу рублей годовых, которую выхлопотал ему князь Гагарин у великой княгини Екатерины Павловны. Современному читателю такая сумма может показаться небольшой, но в то время именно таковым было жалованье полковника пешего гвардейского полка. Кроме того, в окружении Гнедича такая помощь от царственной особы справедливо расценивалась как выражение заинтересованности государства в «русской» «Илиаде».

Пожалуй, первым, кто обратил внимание на злободневность «Илиады», был Михаил Никитич Муравьев. Это он увлек Гомером юного Гнедича. Николай Иванович с благодарностью помнил об этом. При издании своего перевода в 1829 году он писал в предисловии: «Для дополнения понятий о Гомере едва ли найдет читатель, даже на языках иностранных, что-либо лучшее и столь верное, как мысли о нем Муравьева, писателя, который так хорошо был знаком с древними и в творениях своих оставил прекрасную душу и богатые плоды познаний...» В том же предисловии Гнедич прямо цитирует Муравьева: «Двадцать столетий протекло по лицу земли, — говорит почтенный Муравьев, — а я нахожу, что самые сокровеннейшие чувствования сердца моего столь же живы в творениях Гомера, как будто происходят во мне самом».

Батюшков вслед за Муравьевым горячо поддерживал работу Гнедича над «Илиадой». Масштаб и предмет творческих деяний всегда были очень важны для него. А тут — Гомер! «Чем ты занят? Переводишь ли Гомера? А я его ныне перечитываю и завидую тебе, завидую тому, что у тебя есть вечная пища!»

Сам же Батюшков был увлечен Гомером еще до встречи с Михаилом Никитичем Муравьевым. Для него это был родной, домашний писатель, к которому он возвращался всю жизнь. Гомера очень любил отец Батюшкова, Николай Львович. Однажды он писал сыну: «Надобно уметь сносить с терпением возлагаемое Святым Провидением... но что же делать. Надобно почаще читать сии Гомеровы стихи:

Мы листвиям древес подобны бытием.
Одни из них падут от ветра сотрясенны.
Другие вместо их явятся возрожденны,
Когда весна живит подсолнечну собой.
Так мы: один умрет, рождается другой...»^[129]

Николай Львович цитирует здесь перевод Ермила Кострова, но чаще всего эпос Гомера читали на французском языке.

6 августа 1812 года Николай Львович просит сына прислать «на французском „Илиаду“ и „Одиссею“... Я, прочтя, в целости к тебе возвращу... Не позабудь о „Илиаде“ и „Одиссее“ Битобе^[130]: ты много меня тем утетишь...»^[131]

Тогда же, 6 августа, Ростопчин писал из Москвы министру полиции Балашову: «Третьего дня здесь нашло уныние, когда узнали, что в крепости, банках и Эрмитаже укладывают по секрету вещи, для отправления в Ярославль... из сего и заключают, что опасность для С.-Петербурга велика...»^[132]

В эти же дни в столице выходит свежий номер «Санкт-Петербургского вестника», где публикуется сцена из трагедии Шекспира «Троил» в переводе Гнедича. В обстановке крайнего недостатка информации о происходящем на войне Шекспир в переводе Гнедича воспринимался как актуальная публицистика. Когда шекспировский Одиссей на военном совете ахейцев говорит, что главная причина неудач в войне с Троей — разброд и шатания среди военачальников, читатель тут же вспоминал о Барклае де Толли и Багратионе, о их бурном и трагическом конфликте.

* * *

После утомительной работы в библиотеке по отбору книг для эвакуации Гнедич поднимался в свою квартиру и до глубокой ночи сидел над «Илиадой». Тогда он искал русские названия для древнегреческого оружия.

Позднее Гнедич так рассказывал об этом этапе работы: «Позволил себе вольности... употребляемые Гомером; оружия однородные, например: копье, пика, дрот, дротик, ὄρυς, δόρυ, βέλος, κόντιον, или меч, сабля, нож, φάυανον, ξίφος, μάχαιρα, он употребляет, иногда в том же стихе, одно за другое, может быть для меры, может быть по своему нраву; я желал сохранить и своеобразие Гомера...»

Главным консультантом по древнегреческому оружию (как и по многим другим вопросам) стал для переводчика Оленин. «Не могу не свидетельствовать благодарности А. Н. Оленину, — писал потом Гнедич в предисловии к первому изданию перевода „Илиады“, — как вообще за участие, какое принимал он в труде моем, так и за снисхождение, с каким сей просвещенный любитель древностей, похищая свободные минуты от своих многих занятий, предлагал мне изъяснения, касающиеся до греческих орудий...»

Качества воина, которые Гнедич не сумел применить на ратном поле, пригодились ему в трудах над «Илиадой». В многолетней истории этого перевода, в разных этапах работы, можно увидеть и вдохновенную атаку, и продуманное тактическое отступление, и поиск удобной позиции для нового наступления... Поначалу Гнедич переводил «Илиаду» александрийским стихом, но, проделав за шесть лет огромную работу (перевел 11 песен), отказался от александрийского стиха в пользу гекзаметра, уничтожил рукопись перевода и начал весь свой труд с чистого листа.

То, что «Илиада» была его баталией, его генеральным сражением, растянувшимся на двадцать лет, пишет и сам Гнедич в предисловии к первому изданию перевода. Замечательно, что «противником» в этом сражении переводчик считал не трудность Гомерова языка, а... самого себя: «Таким образом, величайшая трудность, предстоящая переводчику древнего поэта, есть непрерывная борьба с собственным духом, с собственной внутреннею силою, которых свободу должно беспрестанно обуздывать, ибо выражение оной было бы совершенно противоположно духу Гомера...»

Можно подумать, что Гнедич, работая над «Илиадой», уходил от действительности, прятался под сенью Гомера от житейских тягот. Но все было наоборот — эпос Гомера был для Гнедича репортажем с места событий, Гомер скорее погружал в войну, чем отвлекал от нее.

Отдохновением для Николая Ивановича была лишь память о детстве, родная Украина. Осенью 1812 года неожиданно для самого себя Гнедич начинает сочинять... комедию. Будь она опубликована и поставлена, можно было бы предположить, что именно из нее вышел Гоголь-драматург ^[133] — так причудлива эта пьеса. В одной из ее сцен семья запорожских казаков приезжает в Петербург, чтобы засвидетельствовать свое почтение супруге фельдмаршала Кутузова — Екатерине Ильиничне. Казаки поют княгине «козацьку виршу в честь ее мужа» (надо сказать, «вирша» весьма кровожадная — в духе написанного ровно через тридцать лет Гоголем «Тараса Бульбы»):

Ой наши козаки рубили ляхив,
Рубили и турок, кололи татар;
От их запорозьких шаблей и спысив
Носился над полем кровавый лишь пар!
Но их як Кутузов на Сичу водыв,
Так не булы славны ни разу козаки:
Ничто булы горы, ничто байраки!
Кутузов козакив як птыц окрылив
И ими французив як громом губя,
На вики прославыв и их и себя!
На вик не погибне всеобщий сий глас:
Кутузов Смоленскій отечество спас!

Глава четвертая

*Плоды земные предвосхищаются цветами, а
благоденствия людей — ласками.*

Н. И. Гнедич. Записная книжка

Гибель Николая Оленина. — Батюшков: дружеские «комиссии». — Характер Гнедича. — Французские знамена

Весть о гибели Николая Оленина в Бородинском сражении потрясла Гнедича. Он старается не отходить от убитых горем Олениных. Много думает о смерти, о смысле жизни. 3 октября 1812 года пишет Батюшкову: «Нет, любезный друг, из Москвы я не получал письма твоего и только сегодня, получив письмо твое от 4 сентября из Владимира, узнал я, что ты жив, ибо, слыша по слухам, что ты вступил будто в ополчение, считал тебя мертвым и счастливейшим меня. Но видно, что мы оба родились для такого времени, в которое живые завидуют мертвым, — и как не завидовать смерти Николая Оленина — мертвые бо сраму не имут... Грусть Алексея Николаевича мне гораздо кажется мучительнее, нежели Елизаветы Марковны; после того как ты их видел, они оба прожили пятьдесят лет; она от слез, а он от безмолвной грусти — истаяли...»^[134]

13 июля 1813 года в Приютине, в усадьбе Олениных, был установлен памятный камень Петру Оленину. Его поставили на месте, где Петр посадил дубок, но в 1812 году деревце засохло. Эпитафию для памятника написал Николай Иванович Гнедич:

Здесь некогда наш сын дуб юный возвращал:
Он жил — и дерево возрастало.
В полях Бородина он за Отчизну пал,
И дерево увяло!..
Но не увянет здесь дней наших до конца
Куст повилики сей, на камень насажденный!..
И с каждой весной взойдет он, орошенный

Слезами матери и грустного отца.

После смерти Гнедича Алексей Николаевич Оленин добавил к этой эпитафии пояснение: «Сия надпись была сочинена покойным другом покойного моего сына Николая, убиенного за веру, царя и отечество на поле Бородинском!..»

Скорее всего, и Батюшков присутствовал на этой печальной церемонии — тогда он еще был в Петербурге и не мог не приехать в такой день к Олениным. С Николаем он дружил много лет. (Право, это звучит странно — «много лет», — когда речь идет о юноше, погибшем в неполные двадцать, но сохранилось письмо Батюшкова четырнадцатилетнему Николаю Оленину; из него видно, что их дружбе не первый день.)

* * *

В сентябре Константин Николаевич уже на войне. Первое же письмо Гнедичу (оно было написано в Теплице) наполнено просьбами: «Отправь это письмо к батюшке... Сделай одолжение, из моих денег купи сии карты и пришли немедленно при первой okazji на имя его Превосходительства Николая Николаевича Раевского... Приложенные у сего письма доставь сестре и куда следует, не замедля... Письма раздай по адресу... В книжной лавке Академии наук надо вышедший на 813 год адрес-календарь...» ^[135]

И сколько еще будет этих неотложных просьб, сколько раз Гнедич, забыв о себе, будет бегать по Петербургу в поисках то одного, то другого. Купить карту Германии, зайти в ломбард, выслать деньги на хорошую лошадь, поскольку воевать на плохой — значит рисковать головой...

Гнедич крайне щепетильно относился к каждой просьбе, и Батюшков очень ценил эту способность друга, весьма редкую не только сегодня, но и двести лет назад. Не было случая, чтобы Николай Иванович не исполнил просьбы или промедлил, или забыл что-то, или потерял, или перепутал. Ответственность во всем, что касалось его

служебных или дружеских обязанностей, была частью жизненной философии Гнедича.

Сохранилась записка Гнедича Алексею Полозову, который подвел его, забыв и не исполнив обещанного. При этом Полозов ссылаясь, очевидно, на то, что потерял записную книжку. Вот что пишет 26-летний поэт своему приятелю: «Памятные дела носи лучше в сердце или в уме, а не в записной книжке. Не делай ни малейшего невнимания к тому человеку, которого желаешь иметь своим другом, потому что если он честолюбив — оскорбится, если корыстен — осердится, если искренен, то быть таким перестанет...»^[136]

Гнедич с первых лет их дружбы исполнял столько самых разнообразных поручений Батюшкова (друзья называли их «комиссиями»), что нельзя не удивиться его терпению и пунктуальности.

«Пришли мне табаку курительного, янтарный чубуку и несколько книг русских стихов да балладу Жуковского, чем меня много обяжешь...» — это Батюшков пишет из своего вологодского Хантонова. Из «ледяного» Шведского похода Константин просил прислать два фунта чая, теплые чулки и перчатки, книгу Оссиана, а также заказать темно-зеленый гусарский жилет. И вновь из Хантонова: поскорее выслать плетеный чубук для фарфоровой трубки, турецкий табак, почтовой бумаги, «Цветник» Державина и «Драматический вестник»...

При этом Батюшков вечно подшучивает над другом, называя его *каналъей*, *хохлою*, *злодеем*... Конечно, выносить все это способен был лишь снисходительный человек, способный к самоиронии. Странно, что люди, наблюдавшие Гнедича со стороны, считали его гордым, чопорным и лишенным юмора.

Сам он так писал о сложности своего характера: «...Я ласков, однако же не менее того я суров; иногда от того, что не доволен собою, иногда от того, что не доволен другими. Не доволен собою бываю и от того, что мне всегда хочется достигнуть какого-то совершенства, а особенно в стихах моих; не доволен другими потому, что мои свободные, но немного строгие правила и мои пламенные чувства не могут легко согласоваться с другими...»^[137]

Нам и сегодня кажется странным, что Гнедич не вошел в «Арзамас», хотя близко знал всех его участников и несомненно

украсил бы это веселое общество (хотя бы потому, что имел профессиональные актерские навыки). Нет, он не осуждал эту затеянную друзьями игру, но, судя по всему, считал ее недостойной миссии писателя, в особенности — русского писателя. Таинственным образом эту взыскательную позицию Гнедича наследовал Евгений Баратынский, который в одном из дружеских писем в 1825 году признался: «На Руси много смешного; но я не расположен смеяться...»^[138]

Также не расположен смеяться был и Гнедич. Конечно, и у него есть шуточные стихи, но в каждом из них присутствует или серьезная мысль, или острое социальное наблюдение — как, к примеру, в этой эпиграмме (кстати, и сегодня она весьма актуальна):

Помещик Балабан,
Благочестивый муж. Христу из угожденья,
Для нищих на селе построил Дом призренья,
И нищих для него наделал из крестьян.

После войны «комиссии» Батюшкова только множились, особенно когда он писал из деревни: «Сделай одолжение, милый друг, отошли со сторожем это письмо слесарю моему; оно ему очень нужно. Слесарь вручит тебе сто рублей, а ты вручи их книгопродавцу...»

Впрочем, и Батюшков всегда был полон заботы о Гнедиче. И не только для Константина, но и для его сестер Гнедич был родным человеком. В 1817 году Батюшков писал из Хантонова: «Я послал тебе Умиравшего Тасса, а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что более тебе понравится и что прочнее, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут: я в этом уверен...»^[139]

Нет, не случайно в 1816 году Батюшков доверяет Гнедичу издание своей заветной книги — двух томов «Опытов в стихах и прозе». Константин Николаевич знает, что Гнедич справится с этим куда лучше, чем если бы за дело взялся он сам. 17 августа Батюшков, тронутый вниманием друга, пишет Гнедичу: «Письмо твое получил и благодарю за предложение твое печатать на свой счет и, кроме того, дать еще автору 1500. Ты разоришься, и я никак не могу на это согласиться...»^[140]

Таким же заботливым издателем Гнедич станет и для Пушкина. 24 марта 1821 года Александр Сергеевич напишет из Кишинева: «Вдохновительное письмо ваше, почтенный Николай Иванович, нашло меня в пустынях Молдавии; оно обрадовало и тронуло меня до глубины сердца. Благодарю за воспоминание, за дружбы, за хвалу, за упреки, за формат этого письма — все показывает участие, которое принимает живая душа ваша во всем, что касается до меня. Платье, сшитое, по заказу вашему, на „Руслана и Людмилу“, прекрасно; и вот уже четыре дни как печатные стихи, виньета и переплет детски утешают меня...»^[141]

Именно в том 1821 году, когда Пушкин писал Гнедичу из своей молдавской ссылки, болезнь Батюшкова становится очевидной для всех его друзей. 4 ноября Жуковский видится с Батюшковым в Дрездене и застаёт его в страшной депрессии. Константин Николаевич уничтожает все им написанное во время жизни за границей. Его душу заполняют самые мрачные подозрения и предположения, совершенно ничем необоснованные. Они прорываются в его письмах, ставших крайне нервными, отрывистыми и отчужденными.

20 ноября Гнедич отсылает Батюшкову одно из последних писем. Это письмо, полное сочувствия к другу, боли за него и желания вырвать его из тисков болезни. «Я не мог остаться равнодушным к поэтическим обстоятельствам сердца твоего, — пишет Гнедич. — Давно не слыша живого, родного голоса, оно, кажется, омрачилось, составило себе мечты, не совсем счастливые... Но может быть голос человека, от которого никогда не слышал ты лести, пробудит доверенность в твоём сердце, сгонит с него туман смутных снов, осветит и согреет его истиною... И если дружба моя будет так действительна, как искренна, может быть, оно не останется без могущества... Выслушай меня старейшего... Письмо это похоже на рапсодию; нет нужды; писав к тебе, я не думал о слоге, фразах и прочих претензиях авторских; я писал к другу...»^[142]

Из записной книжки Гнедича: «1827. Марта с 18 на 19-е. — Видел я чудный сон: Кто-то, голосом похожий на Батюшкова... рассуждал...»^[143]

После возвращения нашей армии из Парижа в Казанском соборе были выставлены захваченные знамена наполеоновской армии. Николай Иванович Гнедич, бывая на воскресных службах, всякий раз останавливался у этих поверженных символов мирового могущества.

В 1816 году он написал стихи «На французские революционные знамена в Казанском соборе, из которых на одном видна надпись: Qu'est ce que Dieu? („Что такое Бог“ или „Что есть Бог?“)».

Произнеси в сем Храме, нечестивый,
Что Божество?..
Здесь дан тебе ответ красноречивый:
Вот Бог, вот суд Его, вот Веры торжество!

Титанов новых легионы,
Безбожие столпив под знамена свои,
Войною грянуло на алтари, на троны,
На все святое на земли!

Уже торжествовало:
И крест и скиптр попало в прах,
И кровию царя на гордых знаменах
Хулу на Бога начертало!
И клик ужасный «Бога нет!»
Уже, как ада рев, смутил весь Божий свет...

И где Титанов легионы?
Где богоборные, кровавые знамены? —
Во храме Вышняго Царя,
Как бы дрожащие перед Его святыней,
Поникнули у прага алтаря,
С уничиженною безбожия гордыней!

Это стихотворение почему-то никогда не входило в антологии русской поэзии, посвященные войне 1812 года. Быть может потому, что в нем много пророческого, того, что и сегодня больно задевает. Разве не о нас, не о событиях нашей истории эти строки:

...И кровию царя на гордых знаменах
Хулу на Бога начертало!
И клик ужасный «Бога нет!»
Уже, как ада рев, смутил весь Божий свет...

Глава пятая

*Мой голос, как жизни я кончу течение,
Хоть в памяти друга да будет храним.*

Н. И. Гнедич

Штрихи к портрету. — Гнедич, Гомер и Пушкин. — О свободе писателя. — Полузапретные «Записные книжки». — Молитва. — Последнее стихотворение

Портрет глазами современников

Гнедич, испуханный, изрытый оспою, не слепой, как поэт, которого избрал он подлинником себе, а кривой, был усердным данником моды: он всегда одевался по последней картинке. Волоса были завиты, шея повязана платком, которого стало бы на три шеи.

Гнедич в общежитии был честный человек, в литературе он был честный литератор. Да, и в литературе есть своя честность, свое праводушие. Гнедич в ней держался всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью.

Князь П. А. Вяземский

Несмотря на некоторые смешные черты характера Гнедича, все биографы сходятся в том, что он отличался редкой честностью... никогда не знал зависти... Гнедича в ранних годах посетила оспа... Свирепая болезнь оставила на его лице глубокие рябины, рубцы и швы. Известно, что ничто так не озлобляет человека, как сознание своего безобразия. Но Гнедич до конца жизни сохранял верное и любящее сердце... Отличался искренним дружелюбием... Несмотря на свое безобразие был щеголь: платье на нем всегда было последнего покроя. С утра до ночи во фраке и с белым жабо, он приноровлял цвет

своего фрака и всего наряда к той поре дня, в которую там и сям появлялся: коричневый или зеленый фрак утром, синий к обеду, черный вечером... Обувь, шляпа, тросточка — все было безукоризненное. Цветные перчатки всегда носились им в обтяжку. Держал он себя прямо, несколько величаво, и во всех движениях был соразмерен и плавен, как в своих гекзаметрах...

Н. М. Виленкин (Минский), составитель первого полного собрания сочинений Гнедича. 1884

* * *

Гомер сделал Гнедича сильной и независимой личностью. Его немногие сохранившиеся публичные выступления производят большое впечатление. И кажется, что когда Пушкин писал «Ты царь: живи один...» — он думал не только о себе, но и видел перед собой пример Гнедича. Когда перевод «Илиады» вышел в свет, Александр Сергеевич написал о Гнедиче: «С чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига».

Пресловутая «чопорность» Гнедича была не напускной важностью, а истинным аристократизмом, за которым стояло глубокое убеждение в своем «царском» литературном призвании. Понимая это, легко понять и то, почему «гордый» Гнедич был так отзывчив, так легко сходил с детьми и с людьми самого простого звания.

Гордец и сноб не мог бы посвятить жизнь чужому произведению, чужому гению. Переводчик — это вообще одно из самых смиренных призваний на свете. Проявляя иноязычный текст, как проявляют негатив, сам он должен отойти в тень. Но как раз из этой тени переводчику открывается многое из того, что для других скрыто.

Гнедич, работая над «Илиадой», не считал зазорным советоваться со всеми знающими людьми. Особенно ему важно было узнать мнение Карамзина. Вот что он писал Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу 4 декабря 1814 года:

«Все еще нуждаюсь в подкрепительных мнениях людей просвещенных. Сер. Сем. Уваров хотел послать еще первый опыт мой к Ник. М. Карамзину; но это тем и кончилось. Сам я, не имея чести быть ему известным, не смею надеяться на его снисходительность или, лучше сказать, на строгость. Ваше превосходительство знакомы с ним. Позвольте мне через Вас узнать мысли этого почтенного человека, которого судом дорожу я. Если Вы почтете лучшим — сделайте одолжение, вручите Николаю Михайловичу от имени моего копию и испросите от него мнение, не об моем, но вообще об экзаметре русском. Как он и что об нем думает? Искреннее мнение сего просвещенного писателя было бы мне или гранитной опорой, или, может быть, лекарством от экзаметромании. — Я ожидаю от Вас большого одолжения, а особенно если и Вы еще присоедините свой голос.

Да долго ли тебе пробовать и делать опыты? — скажете Вы мне. Без сомнения, если б я переводил Омера для моего самолюбия, я скорее бы старался кончить его; но я ли его кончу, или кто другой, мне до этого дела нет; лишь бы на русском языке было что-нибудь подобное Омеру...» ^[144]

Карамзин не только сочувствовал трудам Гнедича, он высоко ценил личность Николая Ивановича, его умение держаться в стороне от литературных партий. Автору «Истории государства Российского» были близки представления Гнедича о миссии писателя в обществе.

Как сохранить свою независимость, в защиту каких ценностей направить свое перо? — вот вопросы, которые волновали Гнедича задолго до того, как ими зададутся крупнейшие писатели XX века. В 1821 году он выступил с речью на собрании Вольного общества любителей российской словесности. Многие собратья по литературе слушали Гнедича невнимательно, заранее зачислив его в архаики и ретрограды. Мудрая, горячая и до сих пор злободневная речь Гнедича и сегодня кажется гласом вопиющего в пустыне:

«Писатель своими мнениями действует на мнение общества; и чем он богаче дарованием, тем последствия неизбежнее. Мнение есть властитель мира. Да будет же перо

в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен! Перо пишет, что начертается на сердцах современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могущим, и сильных земли призывает из безмолвных гробов на суд потомства. Чтобы владеть с честью пером, должно иметь больше мужества, нежели владеть мечом. — Но если писатель благородное оружие свое преклоняет перед врагами своими, если он унижает его, чтобы ласкать могуществу, или, если прелестию цветов покрывает разврат и пороки, если, вместо огня благотворного, он возжигает в душах разрушительный пожар, и пищу сердец чувствительных превращает в яд: перо его — скипетр, упавший в прах, или оружие убийства! — Чтобы памяти своей не обременить сими грозными упреками, писатель не должен отделять любви к славе своей от любви к благу общему...»^[145]

Гнедич категорически не соглашался с теми, кто считал: писатель — слуга читателей, а его произведения — зеркало действительности. Им он с гневом отвечал: «Писатель, говорят, есть выражение времени, печать духа и нравов века своего. Как?.. Он, свободный, должен рабски следовать за веком и, сам увлекаясь пороками его, должен питать их?.. Удались, мысль, недостойная разума!.. В дни безверия и безбожия народного... пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие, любовь к вере и отечеству, к истине и добродетели — вот что нужно в такое время, когда благороднейшими чувствами души жертвуют эгоизму... когда холодный ум сей опустошает сердце, а низость духа подавляет в нем все, что возвышает бытие человека. — В такое время нужнее чремерить величие человека, нежели унижать его...»^[146]

Одна из его заветных и любимых мыслей: от знания античности, классических языков напрямую зависят успехи русской словесности. Забвение античной классики, школярское отношение к древним языкам привели к забвению собственной истории, к бесконечным заимствованиям стиля и слога из французской, а потом и немецкой литературы, к упадку своеобразия и неповторимости русской словесности.

«От времен Рима, — говорил Гнедич еще в 1814 году, — во всех странах Европы и у нас, образование языка тогда только начиналось, когда писатели познакомились с языками древних; а успехи там только быстрее возрастали и словесность народную возвысили до совершенства, где писатели основательно изучали творения древних, признанные образцами превосходного первым законодателем вкуса. <...> Одним словом, если б поэзия и красноречие древних служили образцами для нашей словесности, хотя с прошлого века: мы не бряцали б великолепных од своих на Готических лирах, не основывали б своей эпопеи на скудном знании поэмы Французской, не делали б нашего театра зрелищем одних любовных приключений; не дали б иностранцам упредить нас глубокими познаниями и изысканиями нашей истории; не позволили б чужеземцам изобразить прежде нас великих наших Государей и описать подвиги наших героев; и наши Омеры, Пиндары, Софоклы и Фукидиды, силою превосходного нашего слова и изящностию их творений, уже восхитили б всех просвещенных народов, и слава языка Российского носилась бы по вселенной, как гром Российского оружия...»

* * *

Гнедич — одно из тех имен в русской литературе, которое привычно упоминается среди поэтов пушкинского времени, но такое упоминание лишь подчеркивает забвение. Единственное, что мы выносим из школьного (да и университетского!) курса литературы, — это то, что Гнедич перевел «на язык родных осин» «Илиаду». Лирика Гнедича, его поэмы и пьесы, его «Записная книжка», полная философских размышлений, его публичные выступления и письма — все это известно лишь узкому кругу специалистов. Собрание сочинений Гнедича не издавалось более ста лет, не говоря уже о полном академическом собрании.

Думается, не случайно Гнедич оставлен нам «про запас». Именно сегодня нам так нужны примеры творческой гармонии, примеры тех

людей, для которых вся мировая культура — один большой сад. И что очень важно: Гнедич, сформировавшийся на стыке четырех культур — украинской, русской, античной и европейской, — прекрасно знал, где и что растет в этом саду. Он не разбрасывался, не пробовал все плоды подряд.

Гнедич пытался приучить доверчивых русских людей, прежде чем срывать плоды, смотреть на корни. Именно Гнедич как переводчик и мыслитель дал нашей культуре возможность живо ощутить не только свои близкие, славянские корни, но и корни, идущие от Эллады.

Задолго до Толстого и Достоевского, Солженицына и Шолохова он пришел к убеждению, что главный жанр русской литературы — эпос. Именно эпическое произведение более других соответствует и масштабу событий отечественной истории, и масштабу страны, и духовному складу народа, который чувствует себя народом лишь в свете «великих происшествий» (выражение Гнедича), а в буднях теряется, опускается и мельчает.

Но при этом Гнедич своей судьбой доказал, что эпическая цельность возможна и без войн и сражений, без оглушительных катаклизмов. Эпосом делает жизнь великая цель. И пусть почти все дни Гнедича протекли в тиши Императорской публичной библиотеки, — он оставил нам эпос. Не тот эпос, что навязывается историческими потрясениями, а тем, что создается силами собственной души.

После 1917 года речи Гнедича и его «Записные книжки» издавались лишь фрагментарно. И не только потому, что его эстетические и нравственные воззрения стали считаться глубоко устаревшими. Очевидно, что удобнее было иметь дело с Гнедичем-переводчиком, чем с Гнедичем-мыслителем. За последние сто лет «Записные книжки» Гнедича ни разу не выходили полностью, хотя по объему это всего лишь тридцать страниц.

Одно из самых удачных изданий Гнедича было предпринято тридцать (!) лет назад замечательным историком русской литературы XIX века Виктором Васильевичем Афанасьевым (ныне — монах Лазарь). Сборник избранного Гнедича вышел тогда в издательстве «Советская Россия»^[147]. В него вошли и сорок четыре записи из «Записной книжки» Гнедича (всего их 158). На дворе был еще «атеистический» 1984 год, но Виктору Васильевичу удалось

опубликовать, например, такое соображение Гнедича о Библии: «В книге Бытия есть красоты столь необыкновенные, столь великие, что они убегают от всякого изъяснения критики; удивление не находит слов и искусство обращается в ничтожество»^[148].

И все-таки многие записи Гнедича не вошли тогда в книгу. Что сегодня мешает издателям опубликовать полностью «Записные книжки» Гнедича? Возможно, острая злободневность его мыслей о народе и власти, нравственный максимализм Гнедича?..

Вот некоторые из записей Гнедича, которых не было в изданиях советского времени (цитирую по сборнику П. Тиханова «Николай Иванович Гнедич», изданному к 100-летию со дня рождения поэта в 1884 году).

Из «Записной книжки» Н. И. Гнедича^[149]

Должно верить Богу и совести, ибо мы их чувствуем; все доводы будут всегда ниже убеждений сего ощущения.

Для людей не совсем твердых правил и слабой нравственности довольно найти в писателе одну фразу в пользу их поведения; они употребляют ее сначала, чтобы обманывать других, и кончат тем, что будут обманывать самих себя.

Испытание может ослабить сию веру привычки, которую люди, весьма хорошо делают, сохраняя сколько возможно. Но когда человек кончит испытание, и остается более верующим нежели при его начале, тогда религия остается уже на непоколебимом основании, тогда водворяется между ею и философией вечный мир и взаимное служение.

Молитва — есть дыхание души.

Истину, как и детей, нельзя рождать без болезни.

В буре бедствий светильник философии гораздо менее успокаивает, чем маленькая лампада перед образом Святой Девы.

Христианизм^[150] извлек из сердца звуки, совершенно неизвестные древним, и дал, так сказать, душе новые струны. Звуки сии силою любви проникают твердь небесную и достигают к Престолу Вечного.

Истинная философия никогда не растлит невинности сердца, ни в самой глубокой старости ума народного; учение Сократа и Иисуса заставят человека иметь добродетели по размышлению, если он не имеет их по побуждению.

Пусть Канты, упрямясь в сем ложном мнении, что нет ничего, что было выше нашего понятия, иссыхают над метафизикою; они никогда не постигнут ни одной тайны природы; не они положили **морю врата**, не они рекли ему: **до сего дойдешь и не прейдешь, но в тебе сокрушатся волны твоя**. Зачем, восклицает Монтан^[151], зачем не пожелает природа когда-нибудь хотя на миг обнажить пред нами недра свои? Боже! Сколько лжи, сколько заблуждений мы увидели бы в нашем бедном знании!

Легкая поверхность философии ведет к заблуждениям и к неведению Божества, но **полное учение** сближает человека с Богом. Так говорит Бакон^[152]. Как ужасна эта истина! Одни простые сердца и одни великие умы могут веровать в Бога, ибо первые Его чувствуют по внутреннему убеждению, а последние постигают полными познаниями, к которым посредственные умы никогда не достигнут и всегда остаются во мраке, скрывающем от них Бога. Вот почему многие мудрецы думали, что учение философии чрезвычайно пагубно для толпы.

Многие просвещенные умы думали, что науки иссушают сердце, разочаровывают природу, влекут слабые умы к атеизму, и от атеизма к преступлению, но что, напротив, изящные искусства умягчают наши души, исполняют нас верою в Бога и посредством веры побуждают нас к исполнению добродетелей.

В век нравственный самые пороки покрываются личинами. В век безверия они нагло выказывают чело свое. Скупость, невежество, самолюбие, гордость являются в наш век в новом виде. Прежде они были робче, прикрывались учтивством и тонкостию; а теперь они к дурноте порока присоединяют еще дерзость и грубость; прежде они были неприятны и смешны; а теперь они безобразны и ненавистны.

Строгие, чистые нравы и благочестивая мысль еще более нужны в союзе с музами, чем гений.

Удивительный дух царствует в наше время между народами Европы. Недовольные настоящим, они не предвидят ничего, кроме перемен и революций. Мрачные и кровавые времена прошедшего повергли людей в род безумия, в котором истощенная душа мучится видениями. Кто будет внимательно наблюдать современников, тот увидит в них удивительную смесь подлости и дерзости, безбожия и суеверия, жестокости и сентиментальной нежности, разврата и набожности, холодности и романического исступления. Они не знают, во что им одеться, в доспехи ли рыцарей, в рясу ли монахов, или в тогу римскую? Они испытали быть всем, выключая того, чем им быть надлежит. Истинное им кажется слишком обыкновенным, простое — низким и ветхим, и вкус их находит приятность в одном том, что чрезмерно (Гизо).

После жестоких времен безбожия и безнравственности, какое новое поприще ожидает подвигоположников веры! Сколько трудов и славы! Сколько заблуждений, народных раздоров, слез и язв, сколько несчастий, которые все требуют целебного бальзама религии. Никогда религия не имела бóльших надежд и блистательнейшего жребия. Перерожденный мир требует второго благовествования Евангелия; христианизм возрождается и исходит победительный из страшной борьбы, в какую когда-либо ад ввергал его. Кто знает — то, что мы приняли за падение Церкви, не есть ли ее восстановление. Она погибала в бездействии и праздности; она не вспоминала о кресте: крест явился, она будет спасена.

Никто не отвергает Бога, кроме тех, которым не нужно, чтобы существовал Он.

Получивший благодеяние будет всегда о нем помнить, если сделавший его о нем забудет.

Не должно хвалить обычаев чужой земли; ибо если люди не уверены, что их обычаи самые лучшие, то скоро захотят переменить их.

Мудрость государя не в том состоит, чтобы издавать новые законы, но чтобы хранить старые, и таким образом делать их для народа священными.

Государства доводятся до такого положения, что в них мыслящему человеку ничего не можно сказать без того, чтобы не показаться осуждающим и власти, которые это делают, и народ, который это переносит. В такие времена безнадежные должно молчать. В такие времена печальные молодые люди до старости, а старые до гроба доходят в молчании. — Или горе безрассудному, который начнет говорить что думает прежде нежели обеспечил себе хлеб на целую жизнь. Горе ему, если чувство добра и справедливости поселилось в сердце бедняка. Лицемерие, притворство, вот верховный закон общественный для того, кто рожден без наследства.

Первый, издавший крик о **равенстве** — был его враг; если это был человек из народа, он алкал золота богачей; если богач — он хотел почести вельмож; если вельможа — жадничал верховной власти; и вот какого равенства желают все, о нем вопящие; вот о каком равенстве мечтали в 18 веке, но мы видели и грозное начало и быстрый конец кровавым мечтам сим. Нет равенства в природе, нет его на земле и не может быть в обществах человеческих.

Едва ли хорошо такое правление, в котором каждый гражданин имеет свободу повелевать, и стало быть каждый гражданин может быть тираном. Таково правление республиканское. Его лучше называть: **правление своевольное**.

Николай Иванович Гнедич не дожил до старости. Он умер 3 февраля 1833 года. Ему было 49 лет.

В его бумагах друзья нашли молитву. Она была сложена самим Гнедичем. Он так объяснял причины, по которым он взялся за этот труд: «Не знаю от чего, но сердце мое не удовлетворяется молитвами, в которых от начала до конца восписываются хвалы Богу: такие хвалы и умных людей оскорбляют. Душа моя всегда чувствовала нужду в молитве, в которой бы находилась она в собственных отношениях к Богу...»^[153]

Молитва Николая Гнедича

Боже Великий! Источник жизни, Создатель вселенной! Ты и меня благоволил воззвать из небытия, одарил душою и разумом; Ты и мне уделил частицу из даров, украшающих человечество. Благодарю Тебя, Создатель мой, и молю: укрепляй мою душу, да не унижу ее ничем недостойным; просвещай мой разум, да зрю истинные пользы мои и да не уклонюся от пути добродетели и от высокой цели, благостию Твоею человечеству предназначенной... Прости мне, Боже милостивый, заблуждения, в какие впадаю по слабости или по невежеству. Даруй мне лучшее из благ, здравие души и тела, да имею силы быть полезен моим братьям; ибо сим единственно могу возблагодарить Тебя за милости, Каких Ты меня удостаиваешь, Отец милосердый!^[154]

На бюро, за которым Гнедич работал, остался листок с неоконченным стихотворением.

Душа, душа, ты рано износила
Свой временный, земной на мне покров.
Не мудрено: по милости, его ты получила
Из ветоши от щедроты богов.
Сама ты у меня от юности могуча,

И беспокойна и кипуча,
Как тульский самовар.
От детства ко всему твой непрерывный жар,
Которым все твои движенья полны
Твоих страстей, для тела сих отрав,
Мне кипятили жизнь, мне били грудь как волны
И потрясали мой состав,
Ты не могла...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
КОРНЕТ ВЯЗЕМСКИЙ
(Князь Петр Андреевич Вяземский.
1792–1878)

Глава первая

*Вольется и конец в начало,
И всё, что будет и бывало,
Рекою в вечность протечет;
Проглянет вечности денница,
Поглотит числа Единица,
И не вечерний узрим свет.*

*Матвей Дмитриев-Мамонов. Из
стихотворения «Огонь». 1811 г.*

Как я был первым читателем за 130 лет. — Мятёжный граф Матвей Дмитриев-Мамонов. — Встреча у князя Четвертинского

Бывая в Екатеринбурге, я всегда прихожу в отдел редкой книги родного университета. На этот раз я искал автобиографическую прозу Вяземского, которая после революции издавалась лишь фрагментарно, с купюрами^[155]. В каталоге нашёлся седьмой том из собрания 1882 года — как раз то, что мне надо.

И вот хрупкая девочка в больших очках (будто из давнего фильма «Вам и не снилось...») приносит мне Вяземского. Вместе с книгой она подает мне... нож. Он необычный — с узкой ручкой и широкий, закругленный на конце. Девочка объясняет: «А это будете страницы резать, ведь до вас эту книгу никто не спрашивал...» Оказалось, я — первый читатель этого тома Вяземского за сто тридцать лет!

И вот сижу, режу страницу за страницей. Они пахнут почти так же, как пахнут новые книги, но не резко, а как-то грустнее и тоньше. Наверное, это запах типографии Стасюлевича, где книга была отпечатана.

На одной из страниц встречаю штамп: «Екатеринбургская мужская гимназия № 1». Значит, и там книгу никто не спрашивал, никому не интересно было узнать, как в 1812 году близорукий

Вяземский, недавно вышедший из гимназического возраста, отправился на войну.

Было бы Вяземскому обидно узнать об этом — о том, что молодые люди не читают его книг? Огорчился бы он или удивился?.. Во всяком случае, не удивился бы. Смолоду он был человеком без иллюзий — единственным, пожалуй, в своем поколении.

Нож летал от нижнего края страницы к верхнему, разрезая тугую и нежную плоть старинной бумаги. Вдруг рука моя замерла, будто меня кто-то окликнул из соседней комнаты. На только что разрезанной и открывшейся странице были вот эти строки:

«...Вы любите настоящее: вы горячо живете его жизнью, его заботами, успехами и надеждами. Но вы не отрекаетесь от минувшего... Любовь, во всех возвышенных и духовных применениях к явлениям жизни, есть чувство бессмертное и, следовательно, всеобъемлющее. Ограничивать любовь единовременным пристрастием к тому, что есть, к тому, что на глазах и под рукою — значит унижать ее. *Нет, любовь... объемлет и то, что есть, и то, что было, а бессмертным предчувствием и то, что будет...* Любви не чужды ни колыбели потомков, ни могилы предков...»^[156]

* * *

Летом 1812 года Вяземский, двадцатилетний московский аристократ, только женился, полон честолюбивых планов и надежд. И тут — «гроза меня прожгла незримою стрелою».

Правда, в начале июля князь еще не менял привычек мирного счастья, пытался развлечь жену своими затеями — совсем еще мальчишескими.

Сохранился словесный портрет Вяземского той поры (правда, он сделан более года спустя, но во многом он, думается, верен и для 1812 года): «Ему на вид лет сорок. Он потолстел, отрастил бакенбарды, к тому же у него выпал зуб на самом виду. Он такой же веселый, как и прежде, суждения его крайне оригинальны. Например, он уверяет, что мы до смерти соскучимся, если года через два не явятся снова французы или другой неприятель...»^[157]

Поступив в Московское ополчение — в полк, сформированный графом Матвеем Александровичем Дмитриевым-Мамоновым, — Вяземский обнаружил, что совершенно не готов к военной службе: на лошади ездит неуверенно, огнестрельным оружием не владеет, как, впрочем, и саблей.

Полк Мамонова формировался в Петровском дворце. Там Вяземский облачился в мундир. Выглядел он в нем нелепо, все на нем как-то обвисало, и знакомые находили, что князь стал похож на казака времен Запорожской Сечи.

«Мундир Мамоновского полка, — вспоминал Вяземский, — состоял из синего чекменя с голубыми обшлагами. На голове был большой кивер с высоким султаном, обтянутый медвежьим мехом...» Это был, пожалуй, самый экзотический мундир в русской армии того времени.

Такой же оригинальной фигурой был сам граф Дмитриев-Мамонов. О нем стоит рассказать отдельно.

* * *

Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов был почти ровесник Вяземскому — ему только исполнилось двадцать два года. Современник так описывал Мамонова: «Наружности был он представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица...»

Даже для Александровской эпохи, богатой на незаурядные личности, это был фантастический человек. Состояние, ум, красота, разнообразные способности — все было дано с избытком потомку Рюриковичей. И этот избыток чувствуется в немногих сохранившихся стихах Дмитриева-Мамонова — там, как птица в силках, бьется его причудливая мысль. Оттуда доносятся вулканические раскаты его мрачного и тревожного духа.

За полгода до начала войны, предчувствуя грядущие потрясения, молодой граф пишет стихотворение «Огонь». Эпиграфом к нему ставит строки из Апокалипсиса (гл. 21, ст. 1): «И видех небо ново и землю нову; первое бо небо и земля первая преидоша».

Ты страшен, Огнь, с свинцовым громом,
В сгущенных серых облаках
На крыльях ветренных несомом,
Во пламенных мечях, браздах;
Еще страшнее в жерлах медных,
В десницах воинов победных;
Тогда ты жнешь людей как цвет,
Летает смерть перед тобою
И острою своей косою,
Ударом тмит в глазах их свет... ^[158]

Летом 1812 года пробил его «огненный» час. Из воспоминаний Петра Андреевича Вяземского: «В самый день состоявшегося собрания, и когда положено было образовать народное ополчение, граф Мамонов подал чрез графа Ростопчина Государю письмо, в котором он всеподданнейше предлагал вносить, во все продолжение войны, на военные издержки весь свой доход, оставляя себе 10 000 рублей ежегодно на прожитие. Мамонов был богатый помещик нескольких тысяч крестьян. Государь, приказав поблагодарить графа за усердие его и значительное пожертвование, признал полезнее предложить ему составить конный полк. Так и было сделано. Дело закипело. Вызвал он из деревень своих несколько сот крестьян, начал вербовать за деньги охотников, всех их обмундировал, посадил на коней, вооружил: исправно и скоро полк начал приходить в надлежащее устройство. Были и другие от частных лиц предложения и попытки ставить полки на собственные издержки; но, кажется, один полк Мамонова окончательно достиг предназначенной цели. Мамонов, хотя и в молодых летах, был тогда обер-прокурором в одном из Московских Департаментов Сената. Военное дело было ему совершенно неизвестно. Он надел генеральский мундир; но чувствуя, что одного мундира недовольно для устройства дела, предложил место полкового командира князю Четвертинскому — тогда в отставке, но известному блестящему кавалерийскому офицеру в прежних войнах. За ним последовали многие молодые люди, в том числе и я...»

Вяземский не совсем точен: в чин генерал-майора Александр I произведет Мамонова в марте 1813 года, а полностью полк был

сформирован лишь к Заграничному походу, в сражении при Бородине он не участвовал.

Пушкин выбрал Дмитриева-Мамонова в герои своего неоконченного романа «Рославлев». Действие романа начинается в Москве в 1812 году. Повествование ведется от лица молодой девушки. «Приезд государя усугубил всеобщее волнение... Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим именем... (В черновой редакции Пушкин цитирует эту речь: „У меня 15 тысяч душ и жертвую отечеству 3 миллиона и поголовным ополчением моих крестьян“.) Мы все были от него в восхищении. Полина бредила им». Жених героини уходит на войну в составе Мамоновского полка и гибнет на Бородинском поле.

Лев Толстой придал своему Пьеру Безухову немало черт Дмитриева-Мамонова: высокий рост, огромная физическая сила, вспыльчивость, склонность к мистицизму...

Кавалеристы Мамонова храбро сражались, о их командире говорила вся Россия. Но как писал о Мамонове служивший первое время под его началом Петр Вяземский: «Отличия перепитали гордость его...» Буйный нрав молодого генерала и его нежелание подчиняться кому-либо привели к тому, что во время зарубежного похода полк был расформирован.

После войны Мамонов, как и многие гордые умы того времени, был пленен масонскими идеями; вместе с 26-летним генералом Михаилом Орловым он стоял у истоков первого тайного «преддекабристского» общества — Орден русских рыцарей...

В своем подмосковном имении Дубровицы граф построил что-то вроде замка, закупил пушки и поставил под ружье часть своих крепостных. Правительство заподозрило подготовку мятежа. Мамонова пробовали вызвать для объяснений, но он отказывался покидать свою крепость и никого не принимал. Многие годы не встречался даже со своими друзьями. Слухи о нем ходили самые причудливые: одни говорили, что граф давно скончался, другие уверяли, что он стал человеком-невидимкой.

Незадолго до восстания декабристов Мамонов был насильно привезен в Москву и посажен под домашний арест. Николая Первого опальный миллионер не признал и присягать ему отказался. В ответ

власти предъявили ультиматум: «Поскольку граф отказывается признавать императорскую династию и правительство, установленное императором Николаем I, его предупреждают, что ему вернут свободу и его права лишь в том случае, если он признает законность и правомочность правительства...»

Коса нашла на камень. Мамонов стал сочинять пародийные указы, оспаривая права Романовых на престол и подписывая свои бумаги титулами родовитых предков или просто: «Владимир Мономах». Правительство после событий на Сенатской площади шуток не понимало. Вскоре имущество графа было передано под опеку, Матвей Александрович взят под стражу и объявлен сумасшедшим.

Поразительно, что через несколько лет такая же судьба постигнет его дальнего родственника — Петра Чаадаева. Но Чаадаева хотя бы не лечили насильно, надзор над ним позволял прогулки и прием гостей. Над Мамоновым же изощренно издевались — привязывали к кровати и обливали ему голову ледяной водой.

Через несколько лет такого «лечения» Мамонов и в самом деле психически заболел. Мир людей стал ему чужд. Говорят, он очень любил голубей.

Умер в 1863 году. Похоронен в Москве в Донском монастыре.

* * *

Вяземский недолго был в составе Мамоновского полка — буквально несколько недель. Первые дни армейской жизни обострили хронический бронхит, и даже обычные смотры и дежурства корнет Вяземский переносил тяжело. Мамоновский полк формировался «сбору по сосенке». В нем оказались слишком разные люди, не всегда ладившие друг с другом. Правда, на казарменное положение офицеров не переводили, и Вяземский пользовался этой относительной свободой. Обедал он обычно у своего непосредственного командира князя Бориса Антоновича Четвертинского (с ним его связывали и родственные отношения: Четвертинский был женат на сестре супруги Вяземского, Надежде Федоровне Гагариной).

Филипп Филиппович Вигель вспоминал о князе Четвертинском: «Много раз встречал я в петербургских гостиных этого красавца,

молодца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и сделался мирным жителем Москвы; знал также, что, по усиленной просьбе графа Мамонова, он взялся сформировать его конный казачий полк...»

Итак, обедая однажды у Четвертинского, корнет Вяземский оказался за одним столом с генералом Милорадовичем, который был проездом в Москве. Очевидно, это было 24 или 25 июля.

Михаил Андреевич Милорадович спешил тогда из Киева, где до этого служил военным губернатором, в Калугу — там по повелению государя он должен был собрать из рекрутов резервную армию.

Милорадович заметил, что молодой человек явно не приспособлен к армейской рутине, но оценил его ум и горячность и предложил князю перейти к нему адъютантом. Вяземский, с первых минут общения очарованный генералом, с радостью согласился и выразил готовность тут же приступить к своим обязанностям. Милорадович сказал, что в том нет пока нужды, и пообещал вызвать новоиспеченного адъютанта в ближайшее время.

Вяземский продолжал ходить на построения Мамоновского полка в Петровский парк, старательно, но без особого рвения упражнялся в верховой езде и стрельбе. Проводил в эвакуацию беременную жену, которая покинула Москву вместе с супругой и детьми Карамзина.

Тем временем пришла весть о назначении главнокомандующим Кутузова. Первый его приказ от 18 августа гласил, что генералу Милорадовичу вверяется начальство над 2-м и 4-м пехотными корпусами. В состав 2-го корпуса входили 4-я дивизия генерал-майора принца Евгения Вюртембергского и 17-я — генерал-лейтенанта Захара Дмитриевича Олсуфьева. В состав 4-го вошли две дивизии братьев Бахметевых. Генерал-майор Николай Николаевич Бахметев командовал 11-й дивизией, генерал-майор Алексей Николаевич Бахметев — 23-й.

Вызов от Милорадовича пришел в самый канун Бородинского сражения.

Глава вторая

Вяземские пряники. — Адъютант Милорадовича. —
Бородино. — Опасный мундир. — Раненые лошади. — «Не
ищите имени моего в летописи этой битвы...» — Орден

Прибыв в расположение армии, молодой князь и его камердинер долго искали штаб Милорадовича. Вдруг Вяземскому послышалось, что кто-то упоминает его фамилию. Он радостно подошел ближе. Оказалось: маркитанты обсуждают закупку вяземских пряников.

Вяземский нашел Михаила Андреевича сидящим у костра.
— Поздравляю, князь, вы очень кстати прибыли.

Вяземский не уловил грустной иронии генерала. Он подумал, что прославленный командир искренне рад такому ценному сподвижнику, да еще прибывшему столь вовремя — в самый канун сражения.

Не зная, куда девать адъютанта, который и в двух шагах плохо различал лица однополчан, Милорадович отправил его спать в свою избу.

«На другое утро, с рассветом, — вспоминал полвека спустя Вяземский, — разбудила меня вестовая пушка, или говоря правдивее, разбудила она не меня, заснувшего богатырским сном, а верного камердинера моего. Наскоро оделся я и пошел к Милорадовичу. Все были уже на конях. Но, на беду мою, верховая лошадь моя, которую отправил я из Москвы, не дошла еще до меня. Все отправились к назначенным местам. Я остался один. Минута была ужасная. Мне живо представились вся несообразность, вся комическо-трагическая неловкость моего положения. Приехать в армию ко дню сражения и в нем не участвовать! Мысль об ожидавших меня насмешках меня преследовала и удручала... Мне тогда казалось, что если до конца сражения не добуду себе лошади, то непременно застрелюсь...» ^[159]

К счастью для русской литературы, один из офицеров отдал Вяземскому свою запасную лошадь. «Я так был неопытен в деле военном и такой мирный Московский барич, что свист первой пули, пролетевшей надо мной, принял я за свист хлыстика. Обернулся назад

и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста...»^[160]

Пуля эта вполне могла прилететь и от своих, ведь мундир Мамоновского полка был еще неизвестен в армии и по своей причудливости мог быть принят за вражеский.

«Не умею сказать, на какой, — вспоминал Вяземский, — но были мы с Милорадовичем на батарее, действовавшей в полном разгаре. Тут подъехал ко мне незнакомый офицер и сказал, что кивер мой может сыграть надо мной плохую шутку. „Сейчас, — продолжал он, — остановил я летевшего на вас казака, который говорил мне: Посмотрите, ваше благородие, куда врезался проклятый француз!“

Поблагодарил я незнакомца за доброе предостережение, но сказал, что нельзя же мне бросить кивер и разъезжать с обнаженной головой. Тут вмешался в наш разговор молодой Петр Петрович Валуев^[161], блестящий кавалергардский офицер, и, узнав, в чем дело, любезно предложил мне фуражку, которая была у него в запасе. Кивер мой был сброшен и остался на поле сражения. Может быть, после попал он в число принадлежностей убитых и в общий их итог внес свою единицу... Видно, в Бородинском деле суждено мне было быть принятым за француза.

Во время сражения разнесся слух у нас, что взят был в плен Мюрат; но после оказалось, что принят был за него генерал Бонами. Не помню, с кем ехал я рядом: мой спутник спросил ехавшего к нам навстречу офицера, знает ли он, что Мюрат взят в плен? — „Знаю“, — отвечал тот.

„А это кого ты ведешь?“ — спросил он про меня.

Данная мне адъютантом Юнкером лошадь была пулею прострелена в ногу и так захромала, что не могла уже мне служить. И вот я опять стал в тупик, по образу пешего хождения. А за Милорадовичем, на поле сражения, пешком угнаться было невозможно: он так и летал во все стороны.

Когда ранили лошадь подо мною, неизъяснимое чувство то радости, то самодовольствия пробудилось во мне и меня воодушевило. Мне в эту минуту сдалось, что я недаром облачился в казацкий чекмень... Хотя собственно был ранен не я, а только неповинная моя лошадь; но все же был я в опасности и также мог быть ранен. Я даже жалел, что эта пуля не попала мне в руку или ногу, хотя — каюсь — и

не желал бы глубокой раны, а только чтоб закалилась на мне память о Бородинской битве.

Когда был я в недоумении, что делать, опять явился ко мне добрый человек и выручил меня из беды. Адъютант Милорадовича, Д. Г. Бибииков, сжалился надо мной и дал мне свою запасную лошадь. Но и ему за оказанное одолжение не посчастливилось: вскоре затем ядром оторвало у него руку. Спустя немного времени после сделанной ему операции видел я его: он был спокоен духом и даже шутил...»^[162]

Про свой первый и последний бой Вяземский написал в стихах лишь в 1869 году, через 55 лет после войны, в стихотворении «Поминки по Бородинской битве»:

Милорадовича помню
В битве при Бородине:
Был он в шляпе без султана
На гнедом своем коне.
Бодро он и хладнокровно
Вел полки в кровавый бой,
Строй за строем густо, ровно
Выступал живой стеной.
Только подошли мы ближе
К средоточию огня,
Взвизгнуло ядро и пало
Перед ним, к ногам коня,
И, сердито землю роя
Адским огненным волчком,
Не затронуло героя,
Но осыпало песком.
«Бог мой! — он сказал с улыбкой,
Указав на вражью рать, —
Нас завидел неприятель
И спешит нам честь отдать...»

В прозаическом комментарии к этим стихам автор сообщает факт, очень важный для понимания эпохи и тех, кого мы называем героями Двенадцатого года. Слова, сказанные Милорадовичем в самом начале

сражения — «Бог мой, нас завидел неприятель и спешит нам честь отдать...» — были произнесены по-французски. И никого тогда это не смутило. Обычная реакция на происходящее боевого русского офицера, образованного дворянина, для которого французский язык — такая же родная стихия, как и русский.

Через полвека историкам уже хотелось вычеркнуть эту подробность «по соображениям патриотизма», и именно поэтому 77-летний князь подчеркивает: «Для сохранения исторической истины, должен я признаться, что это было сказано на французском языке... Привычка говорить по-французски не мешала генералам нашим драться совершенно по-русски. Не думаю, чтобы они были храбрее, более любили Россию, вернее и пламеннее ей служили, если б не причастны были этой маленькой слабости...» ^[163]

О своем участии в Бородинском сражении Вяземский в этом стихотворении не пишет. Как, впрочем, и в других стихах. О коротком, но близком знакомстве с пулями и ядрами князь не упоминает даже там, где это просится на перо: например, в стихах, посвященных Денису Давыдову. Отчего было не написать: и я там был, и мне знаком запах пороха...

Когда друзья напоминали князю, что он участвовал в Бородинском сражении и ему тоже есть о чем поведать, Вяземский отмахивался: «Да я же близорук и ничего толком не видел. Я не мог даже понять, мы бьем или нас бьют...»

Приобретя репутацию скептика и желчного умника, Вяземский спрятал под этой броней свое самое сильное юношеское переживание. Лишь в глубокой старости он позволял себе иногда предаться воспоминаниям, но это всегда был рассказ не о себе, а о павших и ушедших товарищах. В 1861 году на юбилее своей пятидесятилетней литературной деятельности Вяземский сказал собравшимся гостям: «Вы в моем лице празднуете умилительную тризну славным покойникам, которых некогда я был питомцем, современником и товарищем. Не мои дела, не мои труды, не мои победы празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который уцелел из побоища смерти и пережил многих знаменитых сослуживцев. На поприще гражданина имел я также один поэтический и достопамятный день... Много ли насчитается ныне налицо из тех, которые были хотя и незаметными, но

присутствующими участниками в великой, эпической Бородинской битве? Не ищите имени моего в летописи этой битвы; но я под ядрами находился в сей день при Милорадовиче. В ушах моих еще звучит повелительный голос его; пред глазами моими еще рисуется его спокойное и мужественное лицо...»^[164]

За мужество, проявленное в Бородинской битве, князь Вяземский был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. В представлении Милорадович написал: «Находясь при мне весь день, был мною посылаем в самый жестокий огонь и отличился храбростью; при чем убита под ним лошадь, а другая ранена»^[165].

Но почему-то в этом представлении нет ни слова о героическом поступке, совершенном Вяземским в Бородинском сражении.

Глава третья

Жуковский вынес из Бородинской битвы «Певца во стане Русских воинов». Какой же будет мой итог за этот день? Самый прозаический.

Князь Петр Вяземский. Воспоминания о 1812 годе ^[166]

Приказ о вступлении в дело. — Спасение генерала Бахметева. — Батюшков ухаживает за раненым и просится в адъютанты. — Золотая шпага «За храбрость»

Вяземский и Жуковский почти одновременно прибывают к Бородинскому полю, но ничего не знают друг о друге. Поручик Жуковский с московской дружиной стоит в резерве, а корнет Вяземский, как и положено адъютанту, все время в движении. Именно Вяземский передает приказ Милорадовича о вступлении в дело начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-майору Бахметеву.

38-летний Алексей Николаевич Бахметев был опытным и храбрым командиром. Только недавно он оправился от ран, полученных в Турецкой войне при штурме Руцука в июле 1810 года. И вот теперь он должен был силами трех полков своей дивизии поддержать дивизию своего старшего брата Николая, которая насмерть стояла в центре позиции за батареей Раевского против непрерывно атакующей французской, баварской, саксонской, вестфальской и польской кавалерии.

Только дивизия Алексея Бахметева двинулась навстречу врагу, как под генералом была убита лошадь. Ему подвели другую. Дивизия вступила в бой. Вяземский оставался при Бахметеве. Рядом с ними падает ядро. Худенького поручика лошадь выбросила из седла и это, очевидно, спасло ему жизнь. Через секунду ядро «зашипело, завертелось, взвилось и разорвало мою лошадь» — так вспоминал Петр Андреевич много лет спустя.

Когда он поднялся, оглушенный, то сквозь оседающую пыль разглядел, что Бахметев лежит на земле, истекая кровью. Вяземский

склонился над ним. У генерала была раздроблена нога.

«С трудом уложили мы его на мой плащ, — вспоминает Вяземский, — и с несколькими рядовыми понесли его подальше от огня. Но и тут, путем сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, перед нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявлял желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его. Но мы благополучно донесли его до места перевязки...»^[167]

Состояние Алексея Николаевича усугублялось тем, что еще в Турецкую войну он был ранен в обе ноги и даже некоторое время лежал парализованным. Тогда Бахметева с трудом выносили. Конечно же, его раны, заслуги, да и лета позволяли генералу беспрепятственно выйти в отставку и безбедно жить на покое. Но Алексей Николаевич не только остался в армии. До Бородина он успел отличиться в бою при Островно и в сражении при Смоленске.

Весть о его новом тяжелом ранении дошла до родных и друзей только через месяц-полтора. Мария Волкова, знавшая Бахметева, очевидно, еще девочкой, писала подруге 15 октября 1812 года (из Тамбова в Петербург): «Знаешь ли, что наш генерал, у которого в Турецкую кампанию ноги были в параличе, окончательно лишился одной из них в битве 26-го сентября. Брат его, женатый на Нарышкиной, был контужен в голову и оглох...»^[168]

Позднее Бахметев рассказывал, что был спасен от смерти только решительными действиями молодого князя Вяземского.

Но это еще не вся история спасения генерала. После тяжелой операции (ампутация раздробленной правой ноги) и долгой мучительной дороги Алексея Николаевича привезли на лечение в Нижний Новгород. Одним из тех, кто ухаживал за раненым, был Константин Батюшков. Он расспрашивал Бахметева о его подвигах в прошлые военные кампании, читал ему газеты и книги. Вот так забота об одном генерале и в разлуке соединила двух друзей, две тогдашние надежды русской словесности.

Только вернувшись к жизни, Бахметев начал хлопоты о своем возвращении в строй. В свою очередь, Батюшков, искренне привязавшийся к генералу, просит Бахметева помочь ему с местом в армии, и тот обещает поэту, что как только вернется в строй, то возьмет его в адъютанты. Очевидно, Алексей Николаевич излучал

такую жизненную энергию, что нельзя было не поверить в то, что одноногий генерал вновь поведет в бой свою дивизию.

О том, что Алексей Николаевич был человеком невероятной воли и редкого оптимизма, свидетельствует и письмо Марии Волковой. 12 марта 1814 года она сообщала подруге из Москвы: «Забыла тебе сказать, что наш генерал два раза у нас ужинал. Положение его незавидное, однако, он сохранил веселое расположение духа и стал более подвижным, чем прежде, когда у него были обе ноги...»^[169]

После излечения Бахметев едет в Петербург добиваться своего возвращения в строй. Ему раз за разом отказывают. Батюшкова эти отказы расстраивают не меньше, чем самого Бахметева. Поэт устал от неопределенности, он опасается, что война закончится без него.

Тогда Бахметев пишет письмо Николаю Николаевичу Раевскому, который с войсками уже давно в Европе. Он просит своего старого друга взять Батюшкова к себе адъютантом.

С этим письмом поэт отправляется догонять армию Раевского.

Казалось бы, Бахметеву и Батюшкову уже никогда не служить вместе, их пути разошлись навсегда. Но там, где человек бессилен, наступает очередь Вышних сил.

Да, Бахметев уже не попадет на войну. После излечения он получит от государя золотую шпагу «За храбрость» с алмазами и назначение Каменец-Подольским военным губернатором.

Вскоре после возвращения с войны, 8 июня 1815 года, Константин Батюшков отправляется продолжать службу в... Каменец-Подольский, к Алексею Николаевичу Бахметеву.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ПЕРВЫЙ РАТНИК ГЛИНКА
(Сергей Николаевич Глинка. 1776–1847)

Глава первая

Может быть, все произведения моего пера со мною исчезнут. Желая одного, чтобы осталось удостоверение, что любовь моя к родному краю всегда беспредельна была... а если и это затеряется, то явно будет там, где положен предел всем противоречиям и где остается одна любовь.

С. Н. Глинка

Ратник № 1. — Перестрелка с Наполеоном. — Кадетство. — Предсказание Кутузова. — Легендарный Тучков. — Стихи Марины Цветаевой: полный список

Удивительно, какое место занимает Сергей Глинка в воспоминаниях о Москве 1812 года! Формально он был просто литератор. Ни больших чинов, ни высоких званий, ни громких титулов у него не было, а упоминается Глинка на одних страницах с Александром I, Ростопчиным, Кутузовым, Наполеоном, Коленкуром... Особенно часто имя Сергея Николаевича Глинки возникает на московских страницах эпопеи 1812 года. Возникает даже ощущение, что в Первопрестольной действовали несколько человек с таким именем — так вездесущ был Глинка в июле — августе рокового года.

Хотя он и родился в Смоленской губернии, но по духу был истинным москвичом еще Екатерининского века, со всем пафосом, наивностью и благородством той эпохи. Это был горячий человек, и казалось: дотронувшись до него, можно обжечься. Столь же горячими были его писания.

Добавьте к этому обостренное чувство справедливости, безоглядную храбрость, крайнюю непоседливость, живое (иногда чересчур) воображение — и вы получите Глинку образца 1812 года.

В ту пору ему было 37 лет, со своим обширным семейством он снимал дом близ Дорогомиловского моста. В пятом часу утра 11 июля его поднимает хозяйка криком «Мы пропали, мы пропали!» и подает ему воззвание императора к Москве. Глинка бежит к дому генерал-

губернатора, пытается пробиться на прием к Ростопчину, но тот в столь ранний час уже принимал архиепископа Августина. Тогда Глинка просит в канцелярии перо и пишет: «Хотя у меня нигде нет поместья, хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности и хотя я не уроженец Московский, но где кого застала опасность Отечеству, тот там и должен стать... Обрекаю себя в ратники Московского ополчения».

Так Сергей Николаевич Глинка стал первым, кто в Москве записался в ополчение. Иначе, считал он, и быть не могло. Ведь у Глинки были с Наполеоном свои непростые отношения. В 1808 году французский посол Коленкур жаловался Александру I на Глинку: мол, тот в своем журнале «Русский вестник» обижает Наполеона. Коленкур считал, что журнал Глинки — рупор официальной пропаганды, тогда как Александр I только от французского посла узнал о существовании такого издания.

Раскалившееся перо Глинки пытались охладить, его уволили от работы в московских театрах (где он зарабатывал как драматург), но Сергей Николаевич продолжал метать во властителя Европы свои публицистические стрелы. Как вспоминал потом князь Вяземский: «Перо Глинки первое на Руси начало перестреливаться с неприятелем...»

Писательскую карьеру Глинке предсказал сам Михаил Илларионович Кутузов. Когда в 1794 году будущего фельдмаршала назначили директором петербургского Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, приветственную речь держал один из лучших учеников корпуса семнадцатилетний Сергей Глинка. После его выступления Кутузов сказал: «Недолго послужит солдатом; он будет писателем».

Кадетский корпус, куда Глинка поступил в шестилетнем возрасте, был и его домом, и его *alma mater*. Он получил там замечательное гуманитарное образование. Михаил Дмитриев вспоминал: «Начитанность Глинки была удивительна! Он не только помнил все, что прочитал; но помнил наизусть целые места из Монтескье, Бекарии, Наказа Екатерины, Руссо, Вольтера, Дидерота, Франклина, одним словом, из всего, что ни читал. Все это он приводил неожиданно и в сочинениях, и в разговорах... Он очень хорошо знал языки французский и немецкий».

Физическая и, главное, нравственная закалка, полученная в корпусе, помогла ему выстоять и в войнах, и в бедности, и в идейных сражениях. Сергей навсегда запомнил слова, которыми Кутузов попрощался с выпускниками: «Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами, как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны; но лучшею наградою почитаю то, когда обо мне говорят — он настоящий русский солдат. Господа! Где бы вы ни были, вы всегда найдете во мне человека, искренно желающего вам счастья, и который совершенно награжден за любовь к вам вашею славою, вашею честью, вашею любовью к Отечеству» ^[170].

* * *

Благодаря кадетскому корпусу Сергей Глинка обрел друзей на всю жизнь. И каких друзей! Один из них — легендарный Тучков 4-й. Помните нежное и пронзительное: «Вы, чьи широкие шинели / Напоминали паруса...»?..

Единственное имя, которое упоминается в стихотворении Марины Цветаевой «Генералам Двенадцатого года», — имя Александра Тучкова. Стихи эти, написанные 26 декабря 1913 года, памяты всем нам по фильму Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». К сожалению, строфа с именем Тучкова не вошла в тот замечательный романс, что написал композитор Андрей Петров, а исполнила актриса Ирина Мазуркевич.

Вообще из двенадцати строф (а число это, думается, неслучайно для стихотворения о героях 1812 года) прозвучала лишь половина. Поэтому мне кажется важным привести полный авторский текст.

ГЕНЕРАЛАМ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Сергею

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели

И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери, — вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я видела, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...

О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли!
Вы были дети и герои,
Вы всё могли!

Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острее —
И весело переходили
В небытие.

Александр Алексеевич Тучков назывался в армии Тучковым 4-м, поскольку ко времени получения им генеральского звания в русской армии уже служили три генерала Тучкова. Это были старшие братья Александра — Николай, Павел и Сергей; пятый из братьев — генерал-майор Алексей Тучков — пребывал в отставке со времен Павла I.

Александр родился в Киеве 7 марта 1777 года. Был определен в кадетский корпус, где и подружился с Сергеем Глинкой. В своих записках Сергей Николаевич так вспоминал о друге: «Он был красавец, душа чистая, ясная, возвышенная. Ум его обогащен был глубочайшими познаниями. Но чем другие в нем восхищались, он только один не замечал в себе. Мы познакомились в счастливые дни юношеской жизни и подружился навсегда. Никогда не требовали мы друг от друга никакой услуги, но при каждом свидании нам казалось, будто видимся после долгой разлуки...»

В семнадцать лет Александр Тучков начал службу в артиллерийском батальоне, в 23 года, в чине полковника, принял 6-й

артиллерийский полк, но в 1801 году оставил службу и отправился в Европу совершенствоваться в военных и других науках — до 1804 года.

В 1806 году Александр женился на Маргарите Нарышкиной. Ради того чтобы не расставаться с любимой, Тучков готов был пожертвовать военной карьерой, но император не принял его рапорт. И тогда свой «рапорт» подала... Маргарита. В этом обращении к царю не было просьбы освободить от службы мужа, но была просьба разрешить ей быть рядом с Александром в войне с наполеоновской армией.

В 1807 году Тучков, в роли шефа Ревельского мушкетерского полка, участвовал в сражении под Гутштадтом и за отличие был награжден орденом Святого Георгия 4-го класса. Еще не вошло в обиход понятие «сестра милосердия», но Маргарита уже была такой сестрой. В одном из донесений главнокомандующий сообщает, что солдаты называют Маргариту Тучкову ангелом-хранителем.

В 1808 году Ревельский полк отправлялся в шведский поход, и Маргарита вновь обращалась к Александру I: «Умоляю позволить мне сопровождать мужа моего... Любовь к Тучкову составляет мой личный мир и выражается жаждой дела — вместе служить Престолу и Отечеству...»

На этом прошении государь написал, обращаясь к князю Багратиону: «Князь Петр Иванович! Маргарита Тучкова взяла с меня полную и обильную дань удивления и восторга. Какая страсть, какая воля! Она предпочла покинуть сферу созерцательности, тепла и покоя. Пусть Тучковы будут вместе... Любовь есть сила, Богом даруемая. Мне ли стоять плотиной против мужества духовного дерзновения!...»

Ревельцы дважды сбрасывали шведский десант в море. Сергей Глинка вспоминал: «Друг мой никогда не говорил о своих военных подвигах. Но ни бивачная жизнь, ни походы, ни битвы кровопролитные не пресекли переписки его со мной. В этом заочном свидании мы переписывались по-французски. Любимого нами Ж. Ж. Руссо называл он *L'homme de la nature* — человеком природы. В 1809 году, когда он направлялся в армию, а я ехал в Смоленск, мы завтракали вместе. Старшие его братья несколько раз присылали за ним для подписи каких-то деловых семейных бумаг. В третий раз он отвечал посланному: „Скажи братьям, что я купчую подписать успею, а с Сергеем Николаевичем вижусь, может быть, в последний раз“. Я

отвечал, что для дружбы нет последнего часа. Кто кого переживет, тот и оживит того жизнью дружбы. Но друг мой как будто предчувствовал свой жребий...»^[171]

Тучков получил после шведского похода чин генерал-майора. «Молодые генералы своих судеб» действительно были очень молоды. Среди генералов Двенадцатого года было немало ровесников Тучкова 4-го и даже более молодых: Михаилу Воронцову и Ивану Паскевичу было по 30 лет, а принцу Евгению Вюртембергскому и вовсе 24.

С началом войны 1812 года бригада генерал-майора Александра Тучкова сдерживает французов под Витебском и Смоленском. У Маргариты на руках годовалый сын Николенька, и она уже не может быть рядом с мужем.

На Бородинском поле у средней Семеновской флеши Александр ведет в бой Ревельский полк. Вот как описывает его подвиг Глинка: «Настала минута идти вперед, Тучков закричал полку своему: „Ребята, вперед!“ Полк дрогнул. „Вы дрогнули! — вскричал он. — Я пойду один!“ Схватив знамя, он бросился вперед и в нескольких шагах от люнета пал жертвой смерти. Когда роковая картечь поразила его в грудь, адъютант и рядовые подхватили его. Ужасный намет ядер посыпался на них и раздробил труп Тучкова; тут был убит адъютант и множество рядовых врыты были ядрами в землю...»^[172]

Маргарита узнала о гибели мужа 1 сентября и после этого почти месяц оставалась в беспамятстве. Родные опасались за ее жизнь. В середине октября она поехала на Бородинское поле — искать тело мужа. В сопровождении иеромонаха Иосафа вдова героя обошла поле. После безуспешных поисков Тучковой пришла мысль возвести на Бородинском поле церковь и установить там полковую икону Спаса Нерукотворного, переданную ей офицерами Ревельского полка.

Маргарита Михайловна продала все свои драгоценности и имение, и в 1820 году церковь во имя Всемилоственного Спаса была построена. В 1826 году умер пятнадцатилетний Николенька, единственный сын Тучковых, — он был похоронен в часовне на Бородинском поле.

В 1831 году Тучкова подала прошение на имя митрополита Филарета с просьбой благословить создание «женского богоугодного общежительного заведения для нуждающихся». Так возник Спасо-

Бородинский женский монастырь, а Маргарита (в монашестве — Мария) Тучкова стала его первой игуменьей.

Молитва, которую она написала вскоре после гибели мужа, начинается такими словами: «Господи, дозвожь мне сохранить память того, кого я любила, с кем в неизреченные минуты Твоей милости Ты соединил меня через таинство брака... Я с ним увижусь — увижусь там, где нет ни смерти, ни разлуки...»

Глава вторая

Разговорная речь его была звончее и красноречивее письменной.

М. А. Дмитриев о С. Н. Глинке

Очерк Вяземского. — Александр I подъезжает к Москве. — Царская карета в руках народа: импровизация или отвлекающий маневр? — «Душой младенец беззаботный...» — Бренная ладья

Петр Андреевич Вяземский в молодости относился к Глинке с аристократическим пренебрежением, а то и вовсе его не замечал. Но в зрелые годы его взгляд на деятельность Глинки переменялся совершенно, и когда Сергей Николаевич умер, Вяземский написал блестящий очерк его творчества. И сегодня этот очерк — лучшее, что написано о Глинке.

«Недавно жил среди нас русский писатель, — начинает свой очерк Вяземский, — который во время оно проливал слезы, слушая „Семиру“ Сумарокова, и смеялся вчера, слушая „Ревизора“ Гоголя. Он был современником и учеником Княжнина и одним из литературных сподвижников в эпоху Карамзина. Он беседовал с Пушкиным и многими годами пережил его... Умирая, мог он, себе в отраду, другим в назидание, сказать, что в оставшихся по нем творениях он ни единою строкою не изменил священнейшей обязанности писателя искренно и честно обращаться со словом, по прекрасному выражению Гоголя. Писатель сей Сергей Николаевич Глинка...»^[173]

По мнению Вяземского, главная заслуга Глинки была в том, что он познакомил русских с Россией. Это звучало несколько парадоксально в середине XIX века, но сегодня мы хорошо понимаем, о чем говорил Вяземский. Мы снова переживаем те времена, когда «Россия еще не отыскана». Многие из нас куда лучше знают зарубежную культуру, нежели свою собственную. И нашим детям подчас лучше знакомо побережье Средиземного или Красного моря, чем берега Волги. Нам остро не хватает знания своего Отечества.

Как-то в начале 1990-х годов выдающегося композитора Валерия Гаврилина спрашивали, почему бы ему не уехать на Запад. Он ответил: «Мне и на родине не хватает родины». Думаю, так бы ответил и Сергей Глинка.

* * *

Когда 11 июля 1812 года в Москву приехал Александр I и кто-то из толпы предложил нести государев экипаж, Глинка загорелся этой идеей. Как докладывала полиция, Глинка, «возбужденный предложением, вскрикнул „ура“ и повел толпу, оглашавшую воздух криками и песнями».

Вот как увидел эти события девятнадцатилетний Иван Лажечников: «На Поклонной горе особенное мое внимание привлек к себе многочисленный кружок, составленный, большею частью, из купцов, мещан и крестьян. В середине толпы стоял мужчина, довольно высокий, плечистый; лицо его казалось вдохновенным, голос звучал знойно, энергически. За толпою, тесно окружившей его, я не мог слышать его речи, обращенной к народу, но до меня долетали по временам слова его, глубоко западавшие в грудь. Толпа, творя крестное знамение, повторяла с жаром его последние слова: „За батюшку царя и Русь православную, под покров Царицы Небесной!“ Я узнал, что это был Сергей Николаевич Глинка, ревностный сподружник московского градоначальника в тогдашних его подвигах на служении отечеству. С каким благоговением смотрел я на него!..»^[174]

Сам Сергей Николаевич описывал это событие несколько иначе, отодвигая свою персону в тень. В 1818 году он издал небольшую книжку, в самом названии которой сказывалось его настойчивое желание высказаться: «Прибавление к русской истории Сергея Глинки, или Записки и замечания о происшествии 1812, 13, 14 и 15 годов, им самим изданные».

В первой части, названной «От нашествия французов до изгнания врагов из России. Обзорение происшествий от 12 июня до 14 июля», Глинка пишет о дне 11 июля: «На Поклонной горе сидело множество отдыхающего народа. Иные, уклонясь с дороги, расположились под тенью деревьев и перчитывали друг другу *воззвание к первопрестольной*

Столице (здесь и далее — курсив самого Сергея Глинки. — Д. Ш.). Вдруг принеслась от заставы весть, что *усердные* Москвичи и обыватели хотят из коляски Государевой выпрячь лошадей и несть на плечах до самого Кремля... „*Ура, вперед!*“ С сим словом двинулись несколько сот вперед...»^[175]

Похоже, что идея нести карету государя до самого Кремля была не импровизацией, а тактической заготовкой, хорошо продуманной в кабинете Ростопчина. Очевидно, что свита Александра I потребовала от московских властей обеспечить императору максимально скрытный въезд в Первопрестольную — прежде всего по причинам безопасности. И если бы Глинка не увлек народ своим верноподданническим порывом и не увел людей с Поклонной горы, то *усердные москвичи* до ночи ждали бы там императора, а потом восторженная толпа могла бы надолго заблокировать царский экипаж.

Думается, что Александр, подъехав к Москве поздно вечером, был рад, что на въезде в Москву возникла лишь одна заминка. Вот как об этом эпизоде рассказывает Сергей Глинка: «И хотя уже был двенадцатый час ночи, но священник Покровского села Григорий Гаврилов имел счастье встретить Государя на Поклонной горе. Священник был в облачении, с крестом на блюде; престарелый диакон держал свечу, разливавшую блеск среди ночи... при встрече Государя были читаны *стихиры Пасхи*: „Да воскреснет Бог и расточатся врази Его“»^[176].

На другой день Александр I назначил дворянам и купцам собраться в залах Слободского дворца. Туда можно было явиться только в мундире, а его у Глинки не было. Пришлось срочно одалживать. Еще до того, как в собрание вошел государь, Глинка успел произнести получасовую речь, которую заключил словами: «Мы не должны ужасаться, но Москва будет сдана». Собравшиеся вскочили с кресел и вцепились в самочинного оратора: «Кто вам это сказал?!»

Напомню, что это происходило 15 июля, за полтора месяца до совета в Филях! Ни один генерал, министр или дипломат не мог тогда и помыслить об оставлении Москвы. Откуда же знал об этом Глинка? Очевидно, все произошло по поговорке «устами младенца глаголет истина». Нет, совсем не лукавил Сергей Николаевич, когда на закате жизни писал о себе: «Душой младенец беззаботный...»

Впрочем, полиции мало было дела до душевных качеств Глинки, и за опасные пророчества его могли если не арестовать, то выслать из города. Но тут Александр I, тронутый приемом москвичей, решил вознаградить их в лице Сергея Николаевича Глинки. Государь пожаловал ему орден Святого Владимира 4-й степени «за любовь к отечеству, доказанную сочинениями и деяниями» и триста тысяч (!) рублей собственно на «деяния». Перед оставлением Москвы всю эту невероятно огромную по тем временам сумму Глинка вернул казне — до копейки!

Это абсолютное бескорыстие Глинки более всего поражало современников. В 1812 году, не имея никаких сбережений или драгоценностей, он пожертвовал на ополчение домашние серебряные ложки. Подаренный ему императором бриллиантовый перстень Глинка даже не донес до дома, пожертвовал встреченной по пути бедной семье. Сергей Тимофеевич Аксаков вспоминал, что Глинка «не мог видеть бедного человека, не поделившись всем, что имел, забывая свое собственное положение и не думая о будущем...».

«Русский вестник» в каждом номере помещал известия о благотворителях и о благодетельных поступках людей самых разных сословий. Посредством своего журнала Глинка собирал многие тысячи рублей для нуждающихся, а сам при этом часто перебивался с хлеба на воду.

Понятно, что в таких обстоятельствах Сергей Николаевич вынужден был тоже принимать помощь. Своих покровителей он обычно благодарил стихами. В Государственном музее А. С. Пушкина в Москве хранится уникальная книга (скорее это тоненький сборник) «Голос души и сердца благодарного отца семейства. Сочинение Сергея Глинки». Книга посвящена двум благотворителям, спасшим семью Глинки от нужды: «Его превосходительству Елисавете Михайловне Кологривой и Князю Александру Николаевичу Голицыну». Сборник украшен эпиграфом: «Человек великодушный подобен солнцу, которое, изливая лучи свои на лице земли, не требует никакого возмездия. Оно дает свет для света».

Князю Голицыну, известному филантропу и мистика, посвящены строки, датированные 5 июля 1832 года. За несколько лет до этого Голицын помог в устройстве восьми детей Глинки «под Высочайшее покровительство» в разные учебные заведения.

Мрачной грустью отягченный,
К берегам Невы летел;
И с семейством разлученный
Жить для жизни не хотел.
Как на бурном океане
Мчится брэнная ладья;
Так печальных дней в тумане
Странствует моя семья.
Странствует — с нуждой сражаясь,
Иль болезнью сокрушаясь
В горестной своей судьбе.
В этих дум моих борьбе
Я летел: к тебе явился;
Ты вещал; я оживился...

Пожалуй, строки Глинки — это то небольшое доброе, что можно найти об А. Н. Голицыне в свидетельствах его современников.

Глава третья

*Что наша жизнь? Одно шатанье,
Когда не для добра живем.
Что ненависть? любви изгнанье;
А без любви — во тьме идем...
Нет! к человечеству душою
Не охлаждаюсь никогда!
Лелеян ли бывал судьбою,
Или встречалась мне беда —
В любви одной, в любви всегда
Я видел первую отраду.
Спешил к печальному я брату,
С страдальцем слезы проливал,
Вздыхал, где слышал вздох сердечный,
И клеветы позабывал...*

Сергей Глинка

Народный трибун. — Адвокат Ростопчина. — Как Глинка переменял вывески на Кузнецком мосту. — Что увидел Батюшков на берегах Леты. — Речи в Слободском дворце. — Роковой день 2 сентября. — Встреча с Карамзиным. — Корзинка от неизвестного

Вяземский вспоминал о деятельности Сергея Николаевича в 1812 году: «Глинка был рожден народным трибуном... Он умел православному говорить с народом православным. Речами своими он успокаивал и ободрял народ. И то и другое, по обстоятельствам, было нужно. Было уныние, но было и волнение. Не веря, чтобы неприятель мог подойти к Москве, не имея тайных сношений в городе, народ везде искал предателей и шпионов. Он ловил на улицах людей, которых подозревал быть подозрительными. Русский дворянин, немой от рождения, был схвачен толпою потому, что, подойдя к лавке, объяснялся знаками. Это показалось подозрительно. Я сам был

свидетелем такого случая. Может быть, за месяц до сдачи Москвы, сидел я с двумя или тремя приятелями на террасе дома, занимаемого мною на Кисловке; вдруг услышали мы на улице шум и жалобные крики. Едва успели мы перескочить через стену, чтобы выручить из рук толпы немца, с которым она готова была разделаться потому, что немец на вопрос ее отвечал худым и ломаным русским языком. Чтобы успокоить народ, отдали мы немца на руки полицейскому чиновнику. Немец оказался совершенно невинным...»^[177]

В то время как многих чиновников и целые учреждения охватила протрация, а вскоре и паника, Глинка стал связующим и эмоциональным центром, мотором целого города. На свои более чем скромные средства он снаряжал ополченцев, собирал пожертвования для вдов и сирот. Обходил улицы и базары, растолковывая людям обстановку и невольно собирая вокруг себя народ. Глинке верили куда больше, чем сытым вельможам.

Но энтузиазм Глинки вызвал раздражение и ревность Ростопчина. Вообще-то власти обычно не имеют ничего против патриотизма, но неуправляемых патриотов у нас не любят. Глинку отдали под надзор полиции. Сергей Николаевич узнал об этом, но никакой обиды не выказал. Мало того: в своих воспоминаниях Глинка всячески выгораживает Ростопчина, иногда доходя в своей защите до отрицания очевидных фактов.

То, что и накануне рокового дня многие тысячи горожан и раненых не знали правды о планируемой сдаче города, Глинка объяснял отеческой заботой о спокойствии москвичей. «Благодаря Богу, Царю и Московскому начальству, — пишет Глинка в своем „Прибавлении к русской истории“, — *ни одно семейство*, жившее в Москве до 2-го сентября 1812 года, то есть до входа врагов в древнюю Русскую Столицу, *ни одно семейство* не было потревожено и обеспокоено внутри Москвы...»^[178] Невольно воскликнешь: так уж лучше бы *потревожили и обеспокоили*, чем оставлять беззащитных людей в ужасе неведения!

Понимал ли Сергей Глинка, что его благодарность «Московскому начальству» вызовет лишь горькое недоумение современников и потомков? Трудно сказать, но очевидно, что Сергей Николаевич и после войны оставался под обаянием личности Ростопчина. Вопреки тому, что он видел собственными глазами, Глинка умудрился во

многих эпизодах своих воспоминаний совершенно раствориться в ростопчинском взгляде на происходившее в Москве.

Очевидно, это была семейная черта Глинок, ведь и младший брат его Федор Николаевич^[179] был очень внушаемым человеком (и отчасти именно эта особенность характера привела его в ряды декабристов).

Увлекаясь в своих мемуарах патриотическим пафосом, Сергей Николаевич не замечал того момента, когда пафос становился самодовлеющей силой повествования и уносил автора далеко от действительности. У людей со вкусом и самостоятельным складом ума эта черта публицистики Глинки еще задолго до Отечественной войны вызывала невольный протест.

Неумеренность эмоций, неудержимость в порицаниях или восхвалениях — в этом была большая беда этого талантливого человека. Как замечал Сергей Тимофеевич Аксаков, много недоразумений возникало из-за «торопливого нрава» Глинки. В глазах многих своих коллег-литераторов Сергей Николаевич сделался человеком забавным и странным.

Еще в 1809 году, начитавшись в деревне «Русского вестника», Батюшков писал Гнедичу: «Любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели выхваляют все старое?.. Поверь мне, что эти патриоты, жаркие декламаторы, не любят или не умеют любить Русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву отечеству... Да дело не о том: Глинка называет „Вестник“ свой русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: *русское, русское, русское...* а я потерял вовсе терпение!»^[180]

Батюшкову казалась смешной борьба Глинки с французскими вывесками на московском Кузнецком мосту. Он говорил, что вывески могут быть на любом языке, понятном людям, а вместо того, чтобы проклинать чужое, надо создавать свое — свою промышленность, свою торговлю и, что самое важное, свою культуру мирового уровня, с которой считались бы и те же французы.

Глинка же видел свою маленькую победу в том, что в канун лета 1812 года на Кузнецком мосту (а это был фешенебельный торговый центр тогдашней Москвы) исчезли вывески Викторины Пеш, Антуанетты Лапотер и лавки à la Corbeille au temple du bon gout^[181], а появились вывески с именами Карпа Майкова и Ивана Пузырева. Для Батюшкова это была лишь смена декораций, ничего не меняющая по существу.

Батюшков высмеял Сергея Глинку в шуточном стихотворении «Видения на берегах Леты». Впрочем, досталось почти всем известным литераторам того времени. По воле автора все они один за другим переносятся в лучший из миров и там заново знакомятся. Батюшков очень точно схватил всем знакомую непоседливость и заполошность Глинки, который и на тот свет будто забегает лишь на минутку:

...«Уф! я устал, подайте стул,
Позвольте мне, я очень славен.
Бессмертен я, пока забавен».
— «Кто ж ты?» — «Я Русский и поэт.
Бегом бегу, лечу за славой,
Мне враг чужой рассудок здравый.
Для Русских прав мой толк кривой,
И в том клянусь моей сумой».
— «Да кто же ты?» — «Жан-Жак я Русский,
Расин и Юнг, и Локк я Русский,
Три драмы Русских сочинил
Для Русских; нет уж боле сил
Писать для Русских драмы слезны;
Труды мои все бесполезны!
Вина тому — разврат умов»^[182].

Вспоминая почти полвека спустя эту историю, Петр Андреевич Вяземский писал: «Некоторые литераторы смеялись над литературным старообрядством Глинки, но смеялись без озлобления, добросовестно... Тогда все было как-то молодо и опрометчиво: так много было веселости и остроумия, что не знали, как сбывать их.

Стреляли ими зря в противников и неприятелей, как ни попало. Батюшков, тогда еще на первых шагах своего блистательного поприща, написал замысловатую и прелестную шутку: „Видение на берегах Леты“. Русские поэты и прозаики на берегу реки являются пред судом Миноса... Глинка первый смеялся всем этим шуткам и продолжал свое дело. Впрочем, сердиться было и не за что... Литераторы составляли общину, а не междоусобицу, разделенную на акциях. Каждый мог иметь свое мнение, но в каждом писателе видел брата и уважал его, уважая себя...»

Что правда, то правда: Глинка не умел держать зла. 3 января 1810 года Батюшков писал Гнедичу: «Видел, видел, видел у Глинки весь Парнас, весь сумасшедших дом: Мерзлякова, Жуковского, Иванова, всех... и признаюсь тебе, что много видел. Однако ж сказать ли тебе правду? Именно: мне стыдно перед Глинкой, который обласкал меня, как брата, как родного, а я...»

В 1816 году Николай Гнедич будет готовить издание сочинений Батюшкова и захочет включить туда «Видения на берегах Леты», считая, что на старые добрые шутки уже никто не обидится. Батюшков пришел в ужас от намерений друга: «„Лету“ ни за миллион не напечатаю; в этом стою непоколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть! Лишняя тысяча меня не обогатит...»^[183]

* * *

Глинка покинул город 2 сентября, в самый день вступления французов. На афишных тумбах еще можно было заметить афиши, извещавшие о спектакле «Наталья, боярская дочь» в Новом Императорском театре на Арбате. Глинка был автором инсценировки этой повести Карамзина.

Накануне, 1 сентября, Карамзин и Глинка случайно встретились на выезде из Москвы. Сцена получилась трагикомическая. Вот как ее описывает Юрий Михайлович Лотман в своей работе «Люди 1812 года»: «Николай Михайлович Карамзин, уезжая из Москвы (он

покидал ее одним из последних, успев спасти лишь рукописи своей „Истории Государства Российского“), встретил при выезде из города своего старого знакомого, известного патриота, добродушного Сергея Глинку. Глинка — человек неуравновешенный, легко соединявший исключительную мягкость души с вспышками крайнего энтузиазма, — находился на вершине трагического восторга. Стоя в толпе возбужденного народа и почему-то размахивая большим ломтем арбуза, он пророчествовал о будущем ходе событий. Увидев Карамзина, Глинка обратился к нему с трагическим вопросом: „Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных! Ну, с Богом! Добрый путь вам!“ Карамзин молча сжался в глубине кареты — и вовремя: дискуссия с Глинкой в раскаленной атмосфере этого дня могла стоить писателю жизни» ^[184].

О том, что происходило в Москве 2 сентября, Сергей Глинка рассказывает в своих «Записках о 1812 году»: «Наступил час вечерень. Колокола молчали... Вдруг как будто бы из глубокого гробового безмолвия выгрянул, раздался крик: „Французы! Французы!“ К счастью, лошади наши были оседланы. Кипя досадою, я сам разбивал зеркала и рвал книги в щегольских переплетах... Взлетя на коней, мы понеслись в отворенные сараи за сеном и овсом... В это смутное и суматошное время попался мне с дарами священник церкви Смоленской Божией Матери. Я закричал: „Ступайте! Зарывайте скорее все, что можно!“ Утвари зарыли и спасли. С конным нашим запасом, то есть с сеном и овсом, поскакали мы к Благовещению на бережки. С высоты их увидели Наполеоновы полки, шедшие тремя колоннами... У Каменного моста, со ската кремлевского возвышения, опрометью бежали с оружием, захваченным в арсенале, и взрослые и малолетние...»

В тот же день Федор Николаевич Глинка записал в дневнике (эта запись войдет в «Письма русского офицера»): «2 сентября. Вчера брат мой, Сергей Николаевич, выпроводил жену и своих детей. Сегодня жег и рвал он все французские книги из прекрасной своей библиотеки, в богатых переплетах, истребляя у себя все предметы роскоши и моды. Тому, кто семь лет пишет в пользу отечества против заразы французского воспитания, простительно доходить до такой степени

огорчения в те минуты, когда злодеи уже приближаются к самому сердцу России...»^[185]

Федор помог старшему брату выбраться из города. «В Рязани простились мы с братом Сергеем: он поехал отыскивать жену свою и семейство, которое составляло все утешение, все счастье трудами и бурями исполненной жизни его...»^[186]

В поисках своей семьи Глинка обошел потом несколько губерний и только к зиме добрался до Нижнего Новгорода — без вещей, без денег, в полном отчаянии. В переполненном беженцами городе он с трудом нашел угол.

Через день-другой Глинка разыскали и передали от имени неизвестного корзину. В ней оказался запас белья. Только много лет спустя Сергей Николаевич узнал, что тем неизвестным был Константин Николаевич Батюшков.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
РЕДАКТОР ШАЛИКОВ
(Князь Петр Иванович Шаликов. 1767–
1852)

Глава первая

«Новопоявившийся персонаж». — Первые мемуары эпохи 1812 года. — Грузинские корни. — Хижина на Пресне. — Прогулка a la Chalikof. — Напрасные поиски Ростопчина на Трех Горах

Портрет глазами современников

Кн. Шаликов был по происхождению грузинец, что обнаруживала и его физиономия: большой нос, широкие черные брови, худощавость... Он был очень оригинален... Был странен и в одежде: летом всегда носил розовый, голубой или планшевый платок на шее.

М. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти ^[187]

Он милый поэт, человек достойный уважения, и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятна. Он именно поэт прекрасного пола...

А. С. Пушкин. Из письма П. А. Вяземскому, 19 февраля 1825 г. ^[188]

Мне сказывал Загоскин, что во время малолетства случилось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу, с любопытством, в почтительном расстоянии идущую за небольшим человечком, который то шибко шел, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. «Вот Шаликов, — говорили шепотом, указывая на него, — и вот минуты его вдохновения».

Ф. Ф. Вигель. Записки ^[189]

В гостиную впорхнул небольшой человек на высоких каблуках лакированных сапожков, очень смугло-желтоватый, с черным с проседью огромным хохлом над высоким лбом, от которого шел длинный горбатый попугайный нос... Новопоявившийся персонаж имел вид веселый, оживленный и был вертляв не по годам... Он с

некоторою изысканностью прикладывал лорнет к своим черным глазам... То был князь Петр Иванович Шаликов, издатель «Дамского журнала»...

В. П. Бурнашев ^[190]

А эти шальные Шаликовы хуже шмелей!.. Гром и молнию бросит он на нас... гром и молнию!..

К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу. 19 декабря 1811 г. ^[191]

* * *

Принято считать, что в занятой французами Москве не оставалось ни одного поэта и вообще ни одного профессионального литератора. Но это не так. В Москве вынужден был остаться князь Петр Иванович Шаликов, стихотворец, издатель и редактор «Аглаи» — одного из самых популярных в ту пору журналов.

Те, кто наблюдал Шаликова издалека (а не заметить его нельзя было и в толпе), считали его забавным персонажем пестрой старомосковской жизни. Мемуарист вспоминает: «Его за доброту и любезность очень любили, что... не мешало всем, от мала до велика трунить над ним, преимущественно за его почти болезненную страсть к стихоплетству и особенно к чтению своих пиитических произведений направо и налево всякому встречному и поперечному...» ^[192]

Забавная, нарочито окарикатуренная некоторыми современниками, фигура Петра Ивановича Шаликова плохо вписывалась в апокалиптическую картину гибели Первопрестольной. Кто-то не очень верил в его московские мытарства, а кто-то верил, но упрекал: как же так, гордый Грузинец (одно из его прозвищ на Парнасе), русский дворянин, а остался под французами.

Очевидно, поэтому для изложения и прояснения истинных своих обстоятельств Петр Иванович решился на исповедь. Одним из первых московских жителей он написал воспоминания о пережитом. 24 декабря 1812 года он поставил в рукописи точку, а в 1813 году книга Шаликова под названием «Историческое известие о пребывании в

Москве французов 1812 года» вышла в свет. Через много лет Михаил Дмитриев (племянник Ивана Ивановича Дмитриева и сам поэт) так оценивал эту книгу Шаликова в своих мемуарах: «Так как она содержит в себе свидетельство очевидца (а у нас таких книг мало), то и она не должна быть забыта. Это, может быть, из всего, написанного князем Шаликовым, одно, что должно сохраниться в библиотеках...»^[193]

Свое краткое документальное повествование Петр Иванович посвятил Александру I: «Прости, Монарх! верноподданному в смелости представить отеческому взору ТВОЕМУ картину бедствий, претерпенных любезными детьми великого ТВОЕГО сердца!...»^[194]

Во вступлении Шаликов будто оттягивает свой рассказ, пытается справиться с волнением, и оттого пускается в рассуждения о Наполеоне и тиранах вообще, размышляет о судьбах народов. Понимая, что до Карамзина ему далеко, князь чистосердечно признает «неопытность свою в роде историческом» и обещает ограничиться ролью честного «очевидца происшествий». При этом Петр Иванович предупреждает, что некоторые места сочинения он не может не озаглавить «духом сильного негодования... от воплей сердца, которые, может статься, вырвутся иногда из груди непроизвольно»^[195].

По этим словам чувствуется, что Петр Иванович был человеком чрезвычайно эмоциональным. Очевидно, свой горячий темперамент он унаследовал от деда — грузинского князя Дмитрия Елисеевича Шаликашвили, жившего в Картли. После завоевания Грузии персами дед в свите царя Вахтанга VI нашел пристанище в России.

Отец Шаликова служил в Сумском гусарском полку, командиром которого некоторое время был его родственник Антон Чаликов. В Отечественную войну 1812 года генерал-майор Чаликов командовал гвардейской кавалерийской бригадой, участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском, Бородином. Со славой дошел до Парижа.

Сам Петр Иванович в юности служил в одном из гусарских полков, принимал участие в Русско-турецкой войне, брал Очаков, потом ходил на Варшаву, дослужился до чина премьер-майора, командовал эскадроном. После выхода в отставку (в 1801 году) Петр Шаликов продал поместье отца в Полтавской губернии и купил в

Москве, в районе Пресни, небольшой деревянный домик, который в стихах неизменно называл «хижиной».

Обстановку этого домика можно отчасти восстановить по очерку Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» (именно отчасти, поскольку образ приятеля, к которому обращается в очерке Батюшков, скорее всего, собирательный — он имеет черты нескольких друзей и знакомых Константина Николаевича): «В твоём маленьком домике на Пресне (которого теперь и следов не осталось!) мы часто заводили жаркие споры о голове Аполлона Бельведерского, о мизинце Гебы славного Кановы, о коне Петра Великого, о кисти Рафаэля... Мы спорили; время летело в приятных разговорах. Счастливое, невозвратное время! Пожар Москвы поглотил и домик твой со всеми дурными картинами и эстампами, которые ты покупал за бесценок у торгашей на аукционах, а в Немецкой слободе у отставных стряпчих; он поглотил маленькую Венеру, в которой ты находил нечто божественное, и бюст Вольтеров с отбитым носом...»^[196]

О том, что Батюшков вспоминает здесь именно про дом Шаликова, легко догадаться по стихам Петра Ивановича, сочиненным в 1810 году и названным «К моей хижине»:

Не бронза, не фарфор, не мрамор вокруг меня,
Но книги, но портрет, но бюст людей великих.
В немой беседе их не примечаю дня.
А там передо мной горшок гвоздичек диких —
Символ невинности — с левкою дорогим,
Бесценным для меня...

В канун войны сентиментальные, порой до приторности, стихи Шаликова имели успех. Вяземский признавался в конце жизни: «Сознаюсь, что бывал я в плену и у князя Шаликова, с которым, впрочем, были мы и после хорошими приятелями. Была в отрочестве моем пора, когда вкусил я от „Плодов свободных чувствований“; под этим названием изданы были в свет молодые сочинения Шаликова, собрание разных сентиментальных и пастушеских статей. Однажды с профессором Рейсом, у которого я жил по назначению отца моего, ходили мы на Воробьевы горы. Тут встретился я с крестьянином, и под

сантиментальным наитием Шаликова начал я говорить крестьянину о прелестях природы, о счастье жить на материнском лоне ее и так далее. Собеседник мой, не вкусивший плодов, которыми я обкушался, пучил глаза свои на меня и ничего не отвечал. Наконец спросил я его: доволен ли он участью своею? Отвечал: доволен. Спросил я его: не хотел ли бы он быть баринном? Отвечал он: нет, барство мне не нужно. Тут я не выдержал: вынул из кармана пятирублевую синюю ассигнацию, единственный капитал, которым я владел в то время, и отдал ее крестьянину. Долго радовался я впечатлению, которое оставила во мне эта прогулка a la Chalikof...»^[197]

В 1812 году Шаликову было уже сорок пять лет, о воинских подвигах он давно не мечтал. Заботы у него были не только литературные, но и семейные: его внимания требовали жена Александра Федоровна (урожденная фон Лейснау), дочери Наташа и Соня. Ни поместьями, ни крепостными князь не владел. Жили Шаликовы на скромные доходы, которые Петр Иванович получал от своих журналистских, издательских и переводческих трудов.

Пока война была далеко, грозные события вызывали лишь смутную тревогу и любопытство, но когда Наполеон подошел к порогу Москвы, стало ясно, что происходит полное крушение основ бытия и надеяться можно только на Бога. И царь, и Кутузов, и армия со своими храбрыми генералами, и все городские власти во главе с пламенным генерал-губернатором — все теперь были далеко. Эта беспомощность перед лицом врага переживалась страшнее всего.

Шаликов говорит в своей книге, что остался в Москве из «патриотического честолюбия». Правда, тут же он добавляет, что были и личные обстоятельства, помешавшие покинуть Москву. Скорее всего, Петр Иванович не мог выбраться из города по своей бедности.

Сергей Глинка свидетельствует: «Лошадей нельзя было нанять ни за какие деньги; и за две уже недели за тройку лошадей на пятьдесят и шестьдесят верст платили по полутора ста рублей...»^[198]

Хотя и «патриотического честолюбия» хватало. Доверчивый князь до самого занятия Москвы французами пребывал под впечатлением афишек Ростопчина и свято верил всему, что в них сообщалось.

Поэтому когда 30 августа вышло очередное ростопчинское воззвание, Шаликов воспринял его как руководство к действию. А Ростопчин в той афишке звал москвичей вооружиться, кто чем может,

взять хлеба на три дня, а также хоругви из храма и идти на Три Горы. «Я буду с вами, — обещал Ростопчин, — и вместе истребим злодея. Слава Вышних, кто не отстанет; вечная память, кто мертвый ляжет; горе на Страшном Суде, кто отговариваться станет!..»

Не знаю, чем вооружился отставной премьер-майор Шаликов — кухонным ножом, садовыми ножницами или дедовским кинжалом, — но он простился с женой и двумя дочерьми и побежал на Воробьевы горы. Только там он понял, что жестоко обманут: никакого сражения не будет, Ростопчин сбежал, оставив город на произвол врага. Вот когда Петр Иванович вместе со многими другими наивными москвичами произвольно издал «воплъ сердца».

Как тяжело ему было возвращаться к семье, которую он так долго удерживал от эвакуации! Исправить эту страшную ошибку уже не оставалось никакой возможности. Своих лошадей Шаликов не имел, достать их было негде.

Можно представить, как безутешно плакал Петр Иванович, и в мирное-то время готовый расчувствоваться по самому незначительному поводу. Он бы, наверное, повредился рассудком, если бы не ответственность за близких. Думается, именно это помогло князю собраться с духом, и домой он вернулся полным решимости противостоять ударам судьбы.

Тут пришла очередь женских слез. С них и начинает Петр Иванович свои воспоминания: «Людям чувствительным нетрудно вообразить, что он (сочинитель. — *Д. Ш.*) должен был претерпеть, видя в беспрестанных обмороках, в ужасном отчаянии ближайших своих родственниц! Собственное страдание конечно для него было легче несравненно...»^[199]

Михаил Дмитриев свидетельствует в своих мемуарах: «После французов (т. е. когда они вышли из Москвы) граф Ростопчин призвал кн. Шаликова для объяснения: „Зачем остался в Москве?“ — „Как же мне можно было уехать! — отвечал кн. Шаликов. — Ваше сиятельство объявили, что будете защищать Москву на Трех Горах, со всеми московскими дворянами; я туда и явился вооруженный; но не только не нашел там дворян, а не нашел и вашего сиятельства!“ Еще забавнее, что он к этому прибавил по-французски: „Et puis j’y suis reste par curiosité!“ (И потом я там остался из любопытства. — *Д. Ш.*)»^[200]

Глава вторая

Въезд Наполеона. — Среди огня. — Прокламация Лессепса. — Благородное посредничество. — Голландский полковник. — Наполеон в Новодевичьем монастыре

Хронику своей жизни под Наполеоном князь ведет со 2 сентября 1812 года: «В четыре часа перед вечером сказанного дня несколько пушечных выстрелов с горы, называемой Поклонною, на Можайской дороге, верстах в трех от древней русской Столицы, возвестили о дерзновенном к ней приближении неприятеля... Когда завеса ночи стала опускаться с небес, — ужасное пламя вознеслось... и страшные вопли раздались под несчастными кровами оставшихся ее жителей: пожар и грабительство начали свирепствовать! Четверо суток продолжалось то и другое во всем своём ужасе, неописанном, невообразимом...»^[201]

3 сентября Шаликов был свидетелем въезда Наполеона в Москву: «Император... вступил в оный под звуками военной музыки, сопровождаемый гвардиями конными и пешими: французскою, итальянскою и польскою, и занял Кремль... Патрули начали разъезжать по городу, спокойно взирая на необузданность солдат, бегущих из дома в дом, из улицы в улицу, под грузом добычи, и ловили одних зажигателей — русских, тотчас расстреливали несчастных, может быть напрасно обвиняемых, и следственно открыт новый источник жестокости, нигде еще до сих пор не соделанной.

За преступлениями идут вослед другие! Были расстреляны зажигатели и французы, вероятно для вида справедливости...»^[202]

Рассказ Петра Ивановича о катастрофическом пожаре, начавшемся в ночь с 3 на 4 сентября, немногословен: «Ужасная буря разлила пламень по всем частям города... Сам Наполеон устрасился огненных рек и выехал из Кремлевского дворца в Петровский ночевать... По прошествии суток Наполеон возвратился в Кремль. Ворота Спасские тотчас заколотились наглухо и заставились рогаткою; а в Никольских, под башнею, стали часовые, за нею караул с Офицером, не пропускающий в Кремль из русских никого —

выключая гоняемых туда на работу — без билета от Дворцового Маршала, которого, думаю, ни один русский не просил об оном и который без сомнения отказал бы в нем каждому...»^[203]

Скромный домик Шаликовых, судя по всему, чудом уцелел среди огня (который уничтожил на Пресне десятки домов), но грабежа, очевидно, не избежал. Впрочем, к чести Петра Ивановича надо сказать, что он вообще не пишет о личном ущербе, который понес во время французской оккупации. Зато он подробно описывает то, что происходило с московскими храмами: «Почти все церкви... заняты были лошадьми, или фуражом и провиантом; некоторые женщинами, посаженными за работу в самых алтарях; многие служили убежищем для жителей, лишенных другого убежища; все без изъятия ограблены, во всех разбросаны иконы, сняты оклады, если они были серебряные; валялись утвари, если они были не серебряные... Грубые вандалы находили ребяческое удовольствие звонить в колокола, и вероятно утешались тем, что обманывали набожных простолудинов, которые могли подумать, что благовестят к обедне, к вечерне — и обманывались действительно, пока не привыкли к сим богоотступным забавам жалких безумцев...»^[204]

Шаликов свидетельствует о благородном и самоотверженном поведении директора Воспитательного дома^[205]: «Воспитательный Дом, благодаря деятельной и неусыпной попечительности его Начальника, был пощажен от грабительства и спасен от пожара...»^[206]

От личных несчастий Петра Ивановича отвлекала утешительная мысль о том, что судьба подарила ему возможность наблюдать исторические события. Роль очевидца виделась ему не только рискованной, но и высокой, исполненной смысла как для него самого, так и для потомков, которым он оставит свое честное свидетельство.

«...По прошествии четырех дней, — вспоминает Шаликов, — учредился гарнизон, расставились караулы во всех Частях города, показались Комиссары и Коменданты; на шестой гвардии пешие и конные: французская, итальянская и польская, заняли в Москве квартиры; наконец явилась на воротах Комендантов и на некоторых публичных местах

следующая печатная на французском и русском языках прокламация, списываемая мною от слова до слова:

„Жители Москвы! Несчастья ваши жестоки! но Его Величество Император и Король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступления. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отечественная Администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш Муниципалитет или Градское правление. Оно будет пещись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красною лентою, которую будут носить чрез плечо, а Градской Голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки. Городовая Полиция учреждена по прежнему положению; а чрез ее деятельность уже лучший существует порядок. Правительство назначило двух Генеральных Комиссаров или Полицмейстеров, и 20 Комиссаров или Частных Приставов, постановленных во всех прежних Частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедования открыты, и в них беспрепятственно отправляется Божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтобы они находили в них помощь и покровительство, следуемые несчастью. Сии суть средства, которые Правительство употребило, чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение; но чтобы достигнуть до того, нужно чтобы вы с ним соединили ваши старания, чтобы забыли, если можно, ваши несчастья, которые претерпели, предались надежде не столь жестокой; судьбы, были уверены, что неизбежная и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнутся на ваши особы и оставшиеся ваши имущества, а напоследок и не сомневались, что оные будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из Монархов. Жители! какой бы вы нации ни были, восстановите публичное доверие, источник счастья

Государств, живите как братья с нашими солдатами, дайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь; чтобы опровергнуть намерения зломыслящих, повинуйтесь воинским и гражданским Начальствам, и скоро ваши слёзы течь перестанут.

Москва 1812,

Интендант или управляющий городом и Провинциею Московскою Лессепс“.

Все знающие грамоту читали прокламацию и пересказывали не знающим ее содержание; но ни на одном лице не заметил я отрадного впечатления. Казалось, тайный голос сердца говорил каждому, что невозможно ожидать события обещаний; что они заключают в себе какую-нибудь хитрость и опасное обольщение...»^[207]

Наученные горьким опытом, обманутые своим градоначальником, москвичи не верили ни одному слову в оккупационных афишках. «Мы увидели белые ленты на левой руке, — пишет Шаликов, — но не видали правого дела торжествующим. Русские, употребленные в полицейскую должность, служили для сограждан своих только переводчиками; ибо на власть, им данную в пользу сограждан, французы не очень смотрели. Грабежи и своевольства в отдаленных местах от караулов продолжались...»^[208]

Петр Иванович хорошо знал европейские языки и стал одним из добровольных посредников между притесняемыми москвичами и наполеоновской военной администрацией.

«...В облегчение страдавшего сердца моего и в награду за потерянное имущество позволяю себе похвалиться, что я, во всё злополучное время, имел счастье быть полезным для сограждан моих, товарищей в бедствии, для жителей одной со мною части города, ходатайствуя день и ночь по кровным жалобам людей всякого состояния и пола на необузданные своевольства солдат Наполеоновых... и непрестанно бодрствуя над предохранением от пожара домов, без изъятия в Пресненской части деревянных... Надлежало иметь дело или с высокомерным французом, или с развратным поляком,

и не думать ни о здоровье, и без того ослабленном от скудной пищи, ни о покое, которой давно был отнят...»^[209]

Шаликов свел добрые, почти дружеские отношения с голландским полковником, назначенным комендантом Пресни. Благодаря этому удавалось вовремя спасать тех пресненских жителей, кто подвергался насилию или грабёжам. «Сим обязан я добродушию и честности... полковника, — пишет Шаликов, — которой часто, подобно мне, вздыхал о своем отечестве. Некогда я спросил у сего почтенного и уже немолодого человека о состоянии славных голландских плотин. „Все наши плотины, физические и моральные, — отвечал он, — разорваны, более или менее, сокрушительною рукою, невзирая...“ — примолвил он, горько улыбнувшись. Здесь глаза его наполнились слезами — он не мог более говорить. В другое время он сказал мне с горестью: „В армии Наполеона служит и сын мой; он здесь, но я не только что не вижу с ним, не знаю даже, где он именно, куда писать к нему; наконец остаюсь в неизвестности, жив ли он!..“»^[210]

Видел ли Петр Иванович Наполеона? Возможно, он наблюдал французского императора издалека, когда тот со свитой приехал осматривать Новодевичий монастырь. «Новодевичий монастырь видел супостата, Наполеона, в святой своей ограде, — пишет Шаликов, — которую осматривал он со вниманием и перед главными воротами которой вскоре явилась высокая батарейная насыпь с глубоким рвом, а самые ворота были заложены брусьями. Вообразите мучительное беспокойство страшной неизвестности, в которой до самого побега французов находились робкие, беззащитные девы, — что будет с монастырем и с ними! Но Бог, которому они посвятили себя, спас их невредимо; батарея и тогда же сделанный на противной стороне пролом в стене остались — грозными следами какого-то злого намерения, и только...»^[211]

Глава третья

...Лучше, не дождавшись конца французской трагедии, воспользоваться прекрасным майским вечером на Пресне.

К. Н. Батюшков. Прогулки по Москве. 1811

Польский генерал. — Проводы французских актеров. — Последние дни оккупации: взрывы, грабежи и перестрелки. — В руках мародеров

Петр Иванович познакомился с несколькими офицерами из вражеского стана и чистосердечно рассказал об этих людях, не умаляя их достоинств. Один из польских генералов волею судьбы оказался соседом нашего князя. Шаликов называет его «весьма ласковым, снисходительным и добрым человеком» и вспоминает, как ходил к нему в гости: «Генерал польский, раненный пулею в ногу под Бородином и квартировавший на Пресне, сказал мне с явным движением внутреннего удовольствия: „Французы выйдут отсюда (то есть с Пресни), и на место их станут итальянцы: они лучше“...»

Любопытство не раз приводило его к дому генерала Позднякова на Большой Никитской, где был устроен театр и труппа французских актеров, служивших до войны в Московском Императорском театре, давала представления. Говорили, что репертуар театра утверждал лично Наполеон.

Шаликов вспоминает в своей книге: «Достоинно замечания, что посреди страшных развалин и печальных остатков пылавшего несколько дней геенским огнем города, нимало не поврежденный, прекрасный, великолепный дом, бывший собранием веселостей, гремевший балами, спектаклями, маскарадами, концертами и проч., остался верен судьбе своей — тем же местом удовольствия: говорю о доме господина Позднякова. В этом счастливом, подобно своему хозяину, доме играли московские французские актеры...»^[212]

Возможно, у дома Позднякова пути Петра Ивановича пересекались с путями великого французского романиста Стендаля,

который был тогда известен под именем Анри Мари Бейля и в наполеоновской армии занимал высокий пост Инспектора Счетов, Зданий, и Мебели Империи (Inspector of the Accounts, Buildings, and Furniture of the Crown). Стендаль тоже тосковал в Москве по театру, о чем писал 2 октября 1812 года Феликсу Фору: «Все идет к тому, что мне придется провести здесь всю зиму; и я надеюсь, что здесь будут проходить концерты. Безусловно, будут устраиваться театральные постановки при Дворе, но какие актеры будут в них задействованы?..»^[213]

Когда Великая армия бесславно покидала разграбленный город, с ней уходили и актеры французской труппы. По всей вероятности, они боялись обвинений в коллаборационизме. Возможно, и военные принуждали актрис ехать вместе с ними, обещая защиту и пропитание. Кажется, никто из этих несчастных не достиг родины, все они погибли на русских дорогах и при переправе через Березину.

Князь Шаликов был одним из тех нескольких москвичей, кто провожал французских актеров и актрис, предчувствуя их горькую судьбу и не питая к ним никакого мстительного чувства. Петр Иванович вспоминает об этих прощаниях с искренним сочувствием к отъезжающим, что делает честь его сердцу (ведь он пишет эти строки в начале 1813 года, когда за такие откровения и его самого могли обвинить в потворстве оккупантам): «Я спросил у них, куда они едут? „Не знаем!“ отвечали все вместе чада забав таким печальным голосом и с таким жалким выражением, что в самом деле было жалко и печально смотреть на них. Мне вообразились они тогда актерами на обширной, истинно трагической сцене всеобщего бедствия, играющими роль страждущего человечества!.. А особенно трогательно для меня было их прощание на улице с русскими, у них служившими. Казалось мне, что взоры с обеих сторон говорили: навеки! навеки! Несколько раз оглянулся я на путешественников против воли, если не ошибаюсь. У нас было им так хорошо!..»^[214]

Наполеон покинул Москву 7 октября, и вот как описывает этот и последующие дни Петр Иванович:

«Около полудня мы слышали страшные удары, медленно один за другим следовавшие и долго повторявшиеся: зажигались пороховые магазины, близ

Симонова монастыря бывшие. Это не предвещало ничего доброго для несчастных жителей, под конец мучеников неизвестности!

В тот же самый день перед вечером десять или двенадцать человек казаков из подошедшего к Москве корпуса, командуемого генерал-лейтенантом бароном Винцингероде, влетело в Пресненскую заставу и прогнало стоявший на Пресне гарнизон, захватив несколько человек из онаго. Достоинно замечания, что из двадцати или тридцати пехотных солдат, гарнизон составлявших, ни один не отважился поднять ружья своего и выстрелить по казакам; так ужасен неприятелю вид наших казаков, а особливо при нечаянном нападении! Тщетно кричал комендант, при известии что казаки близ заставы: стройтесь! смыкайтесь! выступайте! гарнизон стоял — кому где случилось — неподвижно, и, наконец, бросился бежать в разные стороны. Комендант скрылся как молния.

Ночью сорок человек пехоты с офицером пришли на место сего происшествия и, постояв часа два, ушли обратно. Это был отряд от находившихся восьмидесяти человек пехоты с одною пушкою у мельницы Пресненских прудов, на которой молотась пшеница для путевого продовольствия убегающих орд.

В полночь несколько мародеров кинулось в дома, где квартировали комендант и другой начальник, и принялись за свое дело. Вино, пиво и проч. долженствовавшие оставаться после них, были для мародеров сильною приманкою.

На другой день (8 октября) происходило сражение за Тверскую заставу между польскою конницею и нашими казаками. Пехота неприятельская обратила тюремный замок, находящийся близ оной заставы, в крепость свою, весьма ее достойную; стреляла из пушек и потом бросивши их, ушла в Кремль.

Третий день (9 числа) прошел в перестрелке и сшибках за Тверскую же заставу и в нападении казаками на засевшую близ упомянутой мельницы в каменном доме пехоту с пушкою, которая действовала почти беспрестанно.

Перед вечером пришедший с корпусом своим под Москву храбрый и славный генерал-лейтенант барон Винцингероде поехал со всею доверенностью, обыкновенно свойственною истинным героям, сопровождаемый только своим адъютантом, на неприятельский пикет, внутри города стоявший, вероятно для каких-нибудь переговоров, и вопреки военным законам, которые должны быть святы не менее других, взяты оба в плен.

На четвертый день (10 числа) те же перестрелки, те же сшибки и то же нападение, которые происходили накануне. В полночь, темную, осеннюю и туманную, страшный грохот разбудил жителей и поразили ужасом светопреставления. Окна дрожали, подобно сердцам нашим; удары, несравненно сильнейшие самых близких громовых, повторялись один за другим, и эхо, продолжая во влажном воздухе заглушающие звуки, сливало их между собою. Казалось, что земля тряслась под нашими окаменевшими стопами, и готова была провалиться и поглотить нас, отчаянных, несчастных! Небо пылало багровым заревом. — Что же всё это было? Кремлевские башни и стены летели к облакам, взорванные минами, и горели Дворцы, в то же время зажженные.

С утром (11 числа) после ужасной бури воссияло солнце природы и благодати! Варвары очистили уходом — до одного человека — Москву... Жители радовались, почитали себя восставшими из мертвых и поздравляли друг друга как в Светлое Воскресение...»^[215]

Но долгожданная радость тут же была омрачена бесчинствами мародеров, которые воспользовались моментом полного безвластия в городе и принялись грабить уцелевшие дома.

Наступившая ночь, вспоминал Петр Иванович, «стоила мне чрезвычайного беспокойства, а семейству моему чрезвычайного страха, ибо один из сих домов по несчастью случился у меня в соседстве; хозяин был эмигрантом, люди его, остававшиеся в доме, бросились ко мне на двор; мародеры за ними, требуя вина и грозя пожаром. Я стал удерживать их от разбойничества просьбами, которые вскоре им наскучили, и они хотели схватить меня и потащить с собою;

я ушел и выбежал за заставу, около которой разъезжали казаки, возвратился с ними: но злодеи между тем нашли в том доме вино... и скрылись. Родственницы мои, без меня, в неизвестности, что со мною будет и где я, мучились ужасным образом; и когда я вдруг показался перед ними, то в радостных слезах излилась благодарность их к Провидению за милость, что варварам не удалось разлучить нас, и что грабители, бывши на дворе, не вошли в комнаты. Богу известно, что я тогда чувствовал!...» ^[216] .

Глава четвертая

Без дружбы, без любви — что лестного на свете?

Ужасная в душе и сердце пустота!

*Князь П. И. Шаликов. Вечернее чувство.
1796*

Возвращение друзей. — Работа над книгой Дениса Давыдова. — Нелепая схватка с поэтом-партизаном. — Запах типографской краски. — «Дамский журнал» и «Евгений Онегин». — Послание Батюшкова. — Редактор «Московских ведомостей». — Стихи на Новый год. — Отъезд в деревню

С возвращением мирной жизни возобновились и подшучивания над Шаликовым. Лишь те немногие, кто знал его близко, знал его душу, относились к нему с дружеским уважением. И первый среди них — Иван Иванович Дмитриев. Когда ему в старости по вечерам становилось особенно одиноко, он приказывал, бывало, слуге: «Вели заложить Пегаса и ехать за князем Шаликовым!» Пегую лошадь закладывали в дрожки или в сани и мчались за Петром Ивановичем, который всегда умел развлечь и утешить.

Дмитриев одарил Петра Ивановича такой «Надписью к портрету»:

Янтарная заря, румяный неба цвет;
Тень рощи; в ночь поток, сверкающий в долине;
Над печкой соловей, три грации в картине —
Вот все его добро... — и счастлив! Он Поэт!

Добрый приятелем Шаликова был Василий Львович Пушкин, добрыми знакомцами — Константин Николаевич Батюшков и Денис Васильевич Давыдов.

Шаликов по просьбе автора стал редактором и корректором заветного труда Давыдова «Опыт теории партизанского действия».

Понятно, почему поэт-партизан обратился к Петру Ивановичу — у того был многолетний редакторский опыт. Даже те, кто ставил под сомнение поэтическое дарование князя Шаликова, признавали, что «в прозе слог его был чист, правилен и гладок»^[217].

Книга Дениса Васильевича вышла в Москве в 1821 году и быстро разошлась. Вскоре появилось и второе, исправленное издание.

Давыдов, зная о финансовых затруднениях Петра Ивановича, в самых изысканных выражениях предложил Шаликову поделить побратски доход от продажи. Петр Иванович в таких же изысканных выражениях не принял жертвы, отговорившись тем, что работал над рукописью по дружбе, а не по службе.

Денис Васильевич отступить не привык и вновь пошел на приступ:

«Почтеннейший князь Петр Иванович!.. Что же касается до отказа, то вы на сие права не имеете — вы трудились, вы тратили время (не на одну корректуру, а даже на исправление слога) столь вами полезно употребляемое, следовательно со мною должны поделиться в отбитой вами добыче, вам предоставлено употребить ее куда угодно, но весьма и весьма огорчите меня, если вы весь грех на мне оставите. Боюсь очень, чтобы предложением моим я не огорчил вас. Если сие случилось, то простите меня — я партизан, думаю, что отбитую добычу по всей истине следует делить с сотрудниками и товарищами, оттого и я вам сей дележ предложил, находя оный справедливым и должным.

Верьте, почтеннейший князь, в душевной преданности и уважении покорнейшего вам слуги Дениса Давыдова».

Увы, через несколько лет, в 1826 году, столь добрые отношения были разрушены недобрыми шутниками. Князя Шаликова оклеветали в глазах Давыдова, после чего Денис Васильевич вспылil и дал Петру Ивановичу «оплеушину». Одновременно произошла перестрелка эпиграммами. Вскоре оба остыли, осталось недоумение: как же могло так произойти, что два зрелых и порядочных человека доверились слухам и нанесли друг другу горькие обиды?

След этих невеселых размышлений можно найти в «Дамском журнале» № 13 за июль 1827 года, в рубрике «Мысли, характеры и портреты», которую много лет вел Петр Иванович: «Сказывают, что сделанная нам обида забывается; но сделанная нами — никогда, то есть мы можем простить тому, кто нас обидел, но мы не сможем простить тому, кого мы обидели. Если это правда, то желаю быть обиженным, во-первых, для удовольствия простить, а во-вторых, для того, чтобы не носить в душе тягостного памятования...»

Через несколько лет после войны Петр Иванович справил новоселье на Страстном бульваре. А гулял он обычно по Тверскому бульвару, записывая на ходу удачные строки. Здесь он находил и своих почитателей (вернее, почитательниц), и своих насмешников.

Михаил Дмитриев годы спустя сетовал: «Нынче оригиналы так редки, бульвары и гулянья сделались так пошлы, что для современников князя Шаликова — его именно недостает на Тверском бульваре, как необходимой принадлежности...»^[218]

Он, так любивший книгу и запах типографской краски, был счастлив, что живет теперь в Редакторском корпусе (он был построен на месте разрушенных войной усадеб, «купленных в казну»). Князь Шаликов поселился в квартире на втором этаже, а первый занимали Университетская книжная лавка и типография, где печатался «Дамский журнал», задуманный Петром Ивановичем еще в допожарной Москве.

«Дамский журнал» был первым в России периодическим изданием, адресованным исключительно женской аудитории. Журнал служил путеводителем не только по миру моды и светских развлечений, но и знакомил с новостями мировой политики, давал юридические консультации, оперативно извещал обо всем важном, что происходило в литературе. «Дамский журнал» рассказывал о новых произведениях Александра Сергеевича Пушкина и делал это с исключительной доброжелательностью.

Издание Шаликова отличалось своим стилем — легким, подчас игривым, но всегда почтительным и галантным. Здесь невозможна была грубая полемика. Петр Иванович крепко держался счастливо найденной им интонации неглупого собеседника хорошенькой женщины.

Яркий пример тому — опубликованная в марте 1825 года рецензия на первые главы «Евгения Онегина» (цитирую в

сокращении):

«Талант автора всем известен, всеми оценен по достоинству; и между тем как мы пишем статью о новом произведении любимца муз, оно уже в руках у каждого образованного читателя, каждого светского человека и на письменном столике каждого литератора, друга и недруга музыки Пушкина, и, следовательно, все уже судят и рядят о „Евгении Онегине“; и, следовательно, ничего уже не остается сказать журналисту, которого, впрочем, мнение — не закон. Но поэт говорит:

И я, средь бури жизни шумной,
Искал вниманья красоты.
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои:
Но полно; в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет...

И мы, как издатели „Дамского журнала“, имеем долг и право вступить за красоту и обличить поэта... в неблагодарности против прелестных глаз, которые не устают, не перестают устремляться с улыбкою любви... к таланту автора, на прелестные стихи его, дышащие любовью вопреки пиитической филиппике против... волшебных уст, неумолкающих в похвалу сладким звукам очаровательного поэта!

Нет! женщинам не чуждо вдохновение, и они никогда не судят о произведениях его так смешно, как некоторые мужчины, с восхищением повторяющие о щетках тридцати родов, тогда как ни слова не скажут о стихах, читаемых и перечитываемых с восторгом женщинами, — каковы следующие:

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!

Такое познание сердца человеческого и такая верная картина любовной тактики важнее, нежели описание туалета...

Обращаясь к таланту автора, скажем смело, что мы узнаем более и более, к чему способен язык наш; это Протей под пером Пушкина: принимает все формы, все краски, все цветы; а гибкость, а легкость, а гармонии стихов удивительны...

Заметить некоторые погрешности против грамматики обыкновенной не оставят, как надеемся, другие; мы для наших читательниц занялись единственно грамматикою поэзии и чувства. Первая из сих двух, столь противоположных между собою грамматик, принадлежит мужчинам, последняя — женщинам...»^[219]

Одно из последних писем, которое написал Батюшков перед отъездом за границу, было адресовано князю Шаликову. Оно датировано 11 сентября 1818 года и начинается с благодарности Петру Ивановичу за присланную книгу:

Чем заплачу вам, милый князь,
Чем отдарю почтенного поэта?
Стихами? Но давно я с музой рушил связь
И без нее кругом летаю света...
Где ж время чувствовать и мыслить?
Но время, к счастью, есть любить
Друзей, их славу и успехи
И в дружбе находить
Неизъяснимые для черствых душ утечи...

Последние строки этого послания совершенно пронзительны:

...И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

Последним изданием, которое редактировал князь Шаликов, была газета «Московские ведомости». Ежегодно первый номер газеты открывался приветственными стихами редактора на Новый год. Современник вспоминал, как «в отдаленных губерниях были люди, которые восхищались этими стихами или ждали их на Новый год, как новинки...». Эта традиция, заведенная Петром Ивановичем, благополучно дожила до последних лет XX века. Редкая советская газета не открывала праздничный номер новогодними стихами.

Еще одной доброй приметой «Московских ведомостей» был раздел «Известия о бедных семействах». Александра Федоровна, супруга Шаликова, вспоминала: «Статьи его о бедных, печатавшиеся в „Московских ведомостях“ и в его журнале, сближали его со множеством людей разного класса... У него была рука легка. Его бедные богатели. Отрадно было для нас приближение пасхи, рождества христово или нового года. Со всех концов России посылались от неизвестных лиц деньги для вспомоществования неимущим, о которых писал он; нередко из дальних губерний писали ему незнакомые дети, что откладывали несколько месяцев деньги от лакомства и тому подобного с тем, чтоб скопить некоторую сумму и отправить на помощь такому-то семейству. Ни концерты, ни спектакли

не устраивались на эти деньги... никто не веселился, не вальсировал, костюмов себе не шил, а между тем находились люди и во множестве, которые, делая добрые дела, скрывали свои имена и от души благодарили мужа, что доставил им случай быть полезными... Это была потребность его души. Он отыскивал несчастных по чердакам и трущобам и любил, чтоб дети его видели, что такое нужда, и приучались бы отыскивать средства облегчать страдания ближних. Беспечный во всем другом, тут он был неутомимо деятелен, терпелив и практичен гораздо более чем в делах собственного своего семейства...»^[220]

Как и во всякой газете, в «Московских ведомостях» случались опечатки. Одна из них особенно запомнилась читателям: «*союзные монахи*» вместо «*союзные монархи*».

Когда Петр Иванович оставил службу, то покинул и Москву. Это было неожиданно для всех, ведь казалось, что он всегда будет спешить куда-то по Тверскому бульвару и кружиться в издательской суете. Еще удивительнее было то, что уехал он не в какое-нибудь подмосковное имение и не в Петербург, а в маленькую деревеньку Серпуховского уезда.

Здравствуй, милая, прелестная,
Жизнь, душа всего творения,
Дочь благих Небес любимая,
Гостья для земли бесценная,
Множество сердец чувствительных! —
Я тебя, Весна! приветствую —
Не в стенах высоких города,
Не на шумных его улицах,
Не из окон палат мраморных —
Нет! а в поле — вместе с птичками,
Гимн со мной тебе поющими...

Александра Федоровна Шаликова вспоминала: «Муж мой, проживший более восьмидесяти трех лет, можно сказать, не знал старости. За год до своей кончины он читал очень много, писал твердым и красивым почерком, ездил верхом... О кончине его можно

сказать, что она была проста и естественна, как и вся жизнь его. Он без
болезни уснул вечным сном как младенец, угас как лампада...»^[221]

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
ШТАБС-КАПИТАН БАТЮШКОВ
(Константин Николаевич Батюшков.
1787–1855)

Глава первая

Если первые впечатления столь сильны в сердце каждого человека, если не изглаживаются во все течение его жизни, то тем более они должны быть сильны и сохранять неувядаемую свежесть в душе писателя, одаренного глубокою чувствительностью.

*К. Н. Батюшков. Нечто о поэте и поэзии.
1815 г. ^[222]*

Портрет и автопортрет. — Петр Андреевич. — Дедова
опись

Константин Батюшков: портрет глазами современников

Образ Батюшкова неопределенно, туманно рисуется передо мною: ...небольшого роста, молодой красивый человек, с нежными чертами, мягкими волнистыми русыми волосами и со странным взглядом разбегающихся глаз...

Графиня А. Д. Блудова ^[223]

Опишу наружность Батюшкова. Он росту ниже среднего, почти малого. Когда я знал его, волосы были у него светло-русые, почти белокурые. Он был необыкновенно скромн, молчалив и расчетлив в речах; в нем было что-то робкое, хотя известно, что он не был таков в огне сражения. Говоря немного, он всегда говорил умно и точно...

М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти

Автопортрет Батюшкова

Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянно. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на

биваках был здоров, в покое — умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесною беспечностью... Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка... Он жил в аде — он был на Олимпе.

(Из статьи «Чужое: мое сокровище!». 1817)

* * *

До наших дней дошла опись имения, составленная Львом Андреевичем, дедом Батюшкова, в 1796 году (тогда будущему поэту было девять лет). Казалось бы: список вещей и ничего более, но читается он как стихи. А сколько поэзии нашел бы в этой кондовой дедовской описи Батюшков, попадись ему эта бумага! Сколько вещей, памятных с детства, явилось бы ему тут...

В 1960-х годах опись батюшковского имения обнаружил в Центральном государственном историческом архиве Колесников — выдающийся историк северной деревни, археограф, краевед и блистательный педагог. Его звали как Вяземского и пушкинского Гринева — Петр Андреевич. И судьба его в юности была сродни судьбе героя «Капитанской дочери». В Гражданскую войну казачья станица, где он рос, была захвачена лихими «пугачевцами»; мальчишка потерял всех близких и чудом спасся. Потом, уже молодым человеком, он бежал от НКВД на Север, где в лесном труднодоступном краю стал сельским учителем.

В пору нашего знакомства Петр Андреевич Колесников уже почти ослеп, но еще читал лекции в Вологодском педагогическом институте, в ста метрах от которого стоит памятник Батюшкову. А жил Колесников рядом с редакцией, где я тогда работал, и мы часто виделись. Потом я покинул Вологду, но несколько раз в год возвращался и всякий раз забегал навестить Петра Андреевича. Помню, как однажды мы целый вечер беседовали в зимних сумерках, а потом и вовсе в темноте — не было электричества. Романтики добавляло то, что мы сидели на стульях восемнадцатого века.

А опись, составленная дедом Батюшкова, — этот блистательный смотр наследственного добра! — вот она (конечно, не вся, а наиболее «вкусные» ее фрагменты):

«Опись, сочиненная 796 году в сентябре месяце,
Святых икон и прочего имущества.

В зале:

Портрет султана турецкого.

Картин разных за стеклами пять.

Зеркал малых продолговатых два...

В спальне:

Образ на полотне вечери тайныя.

Картин о сыне блудном за стеклами пять.

Родословная о роде Батюшковой...

В лакейской горнице:

<Икона> Апостола Петра, писанной на полотне.

Родословная о роде царском.

Портрет персицкого шаха и японского императора, два.

Рожа убийца короля Швецкого, малая, за стеклом на
бумаге.

Зеркало в черных рамах, одно...

В сенях:

Рожа Димитрия Самозванца.

Рожа Емельки Пугачева...

В беседке в новом саду:

Картина Птичка, за стеклом.

Налицо книг, а именно:

Лексикон российской словесной.

Книжка лекарственная от уязвления змей.

Книжка о пользе мозжовельника.

Полковничья инструкция.

Пехотной строевой устав.

Устав купеческого водоходства.

Фарфоровой посуды:

Для масла чухонского судок, один.

Чайника два, в том числе склееной один.

Старых чашек чайных, синих саксонских, семь.

Железных вещей:

Пушек железных четыре с станинами деревянными.

Удила турецкие одне, взяты в 737 году в Очакове
Андреем Ильичом (в горнице; кому из сыновей достанутся,

сохранят для памяти).

Лошка для снятия меду, когда варят, одна.

Цепь собачья с ошейником одна.

Лом один.

Форма для мороженья ягод.

Карета дорожная, белая, обита белым сукном, со всем прибором.

Одноколка без колес четырехколесная, одна.

Шпага, украденная Омеляном, с портупеей, одна...»^[224]

В дедовом имени Батюшков жил мало, но предметное окружение его детства здесь проглядывает. Все родившиеся в зените Екатерининской эпохи не просто жили среди именно таких вещей — вещи образовывали уклад, который выражал эпоху. П. А. Бартенев замечательно говорил о том, что отличало век Екатерины: «Ясность, толковость и твердость быта»^[225].

Ах, пушки железные со станинами деревянными, если бы вы замолчали навсегда!

Шпага, украденная Омеляном, — ржавей на чердаке!

Пылись, засиженный мухами, пехотный строевой устав!

Дайте, дайте вырасти нашему герою!

Глава вторая

Вспомнилось, что некоторые теплейшие письма апостолов были тоже письмами к другу.

С. И. Фудель. Воспоминания

Неостывшие письма. — Битва при Гейльсберге. — «Сто смертей». — Рига. — Любовь. — Старик Мюгель. — Шведский поход. — Итальянские каникулы русской поэзии

Если бы мы не считали заведомо архаичным того, кто появился на свет в XVIII веке, то Батюшкова читали бы сейчас в метро. Особенно его письма другу юности Николаю Гнедичу. Эти письма кажутся только распечатанными из электронной почты, еще страницы теплые от принтера.

Нырнув в эту переписку двух друзей, нынешние двадцатилетние с удивлением признали бы в Косте Батюшкове своего приятеля.

«Я готов ехать в Америку, в Стокгольм, в Испанию, куда хочешь, только туда, где могу быть полезен...»^[226]

Как узнаваема эта бравада в письмах из армии: «Не забывай, брат, меня. Я здоров, как корова. Твой Ахиллес пьяный столько вина и водки не пивал, как я походом...»^[227]

А с кем они еще могли обсуждать свои влюбленности и знакомства с барышнями? Только друг с другом.

«Не видал ли ты у Капниста-стихотворца одну девушку?.. Каковы у нее глаза?.. Я во сне ее видел...»^[228]

«Я видел твою Софью, толстую Софью!!! или ты, или она зело переменились... Не приведи Бог честному человеку воображать, что женщины богини...»^[229]

«Я работаю сердцем, то есть стараюсь влюбляться. В кого? Еще и сам не знаю. А твоя Софья...»^[230]

«В доме у меня так тихо, собака дремлет у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, думаю, старые письма...» (1 ноября 1809 года из Хантонова). Не этот ли вечер он

вспомнит в саксонском городишке во время европейской войны, когда между боями будет писать письмо другу: «Кончая мое маранье, я сижу в теплой избе и курю табак. На дворе мятьель и снегу по колено: это напоминает Россию и несколько приятных минут в моей жизни...»^[231]

Батюшков обаятельно ироничен и чужд пафоса. Так легко переходит с одного языка на другой. Европа для него не заграница, а летняя веранда. Античность — знакомый с детства чердак. Он ценит домашний уют, но может спать и на голой земле. Если надо, поскачет в атаку, но в душе — убежденный пацифист. Любовные приключения товарищей готов приветствовать, но сам ищет привязанностей глубоких, а еще лучше — вечных.

И вот тут, конечно, пропасть в двести лет дает о себе знать. Нам уже через нее не перепрыгнуть. Сколько святынь у Батюшкова и его ровесников: дружба, Отечество, сыновний долг... С этими вещами они никогда не шутили.

29 мая 1807 года Батюшков участвовал в сражении при Гейльсберге. Его вынесли чуть живого из груды убитых. Обратный путь в Россию был долог и мучителен. Как он потом напишет: «Видя сто смертей, / Боялся умереть не в родине моей...»

В Риге его поместили на излечение в дом местного негодянта Мюгеля.

«Я жив, — писал Батюшков другу, — каким образом — Богу известно. Ранен тяжело в ногу навывлет пулею в верхнюю часть ляшки и в зад... Крови, как из быка вышло...»^[232]

Ухаживала за русским офицером и поставила его на ноги дочка хозяина дома, прелестная Эмилия Мюгель.

Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса...^[233]

Ей было семнадцать, Константину — двадцать. Он прыгает на костылях, сочиняет стихи, дает уроки Эмили, поражая девушку своими познаниями во всевозможных науках. Латынью владеет не хуже любого пастора. Он смешлив и неутомим.

Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна...^[234]

Нигде ему не было так хорошо, как в эти два летних месяца 1807 года в Риге. Одно печалило: добрый Мюгель не видел в поэте завидного жениха для своей дочери и намекал, что храброму русскому офицеру пора возвращаться в строй. Старик, неважно спавший по ночам, догадывался, что свидания молодых людей становятся все более пылкими.

...восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа ее в объятиях моих,
Я не завидовал судьбе богов самих!..^[235]

Опасные последствия для юной девушки нетрудно было предсказать. Кроме того, со стороны казалось, что молодой человек совершенно поправился. Но, как потом оказалось, пуля задела спинной мозг, и от болей в спине поэт будет страдать всю оставшуюся жизнь.

После такого ранения Батюшков мог бы с чистой совестью больше никогда не служить в армии, а он примет участие еще в двух войнах. Загадочна душа человеческая: что мог находить такой нежный и чувственный поэт, как Батюшков, в военной службе? Почему он постоянно утверждал, что к гражданской службе не способен? Было бы понятно, черпай он, подобно Давыдову, свое вдохновение в славных баталиях или армейских пирушках, но ведь ничего этого нет в стихах Батюшкова — ни звона сабель, ни звона чарок.

Разгадка, быть может, в том, что для Батюшкова служение воина и призвание поэта не только не противоречили друг другу, а были неразрывны. «Все почти без исключения, все гишпанские стихотворцы были воины... — писал Батюшков в 1816 году в дневнике, — нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень естественно с шумною, мятежною, деятельною жизнью воина. Гораций бросил щит свой при Филиппах. Тибулл был воин. Парни служил адъютантом. Сервантес потерял руку при Лепанте...»^[236]

Во время войны со Швецией Батюшков служил адъютантом полковника Андрея Петровича Турчанинова, командовавшего батальоном гвардейских егерей. В марте 1809 года батальон (в составе корпуса П. И. Багратиона) предпринял дерзкий бросок по льду Ботнического залива на Аландские острова, где находилась крупная военно-морская база шведов. А впереди была еще война 1812 года.

Но все это будет потом, а пока Константин читает стихи прелестной дочери Мюгеля. Эмилия уверена, что стихи ее возлюбленному диктуют ангелы. И в этом она недалеко от истины...

Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона,
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона...
Сквозь тонки, утренни туманы.
На зеркальных водах
пустынной Троллетаны... ^[237]

Но с каких смиренных строк начинаются эти стихи, подобные неаполитанскому пению:

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глаз... ^[238]

Батюшков совершил то, что считалось невозможным: дал русскому стиху мелодику, почти итальянское благозвучие. Достиг он этого прежде всего через свою любовь к Данте и Тассо, через переводы и подражания Петрарке, Ариосто и Боккаччо. «Я весь италиянец... — писал Батюшков Гнедичу в 1809 году, — хочу учиться и делаю исполинские успехи. Стихи свои переправил так, что самому любо» ^[239].

До Батюшкова наша поэзия, за редкими исключениями, или грохотала литаврами, или дребезжала, как повозка по булыжной

мостовой.

И вот вдруг литавры смолкли, повозка уехала, но остался голос, который хотелось слушать и слушать. И не так было важно, о чем поет этот голос — об античных героях или военных походах, об утехах любви или о бессмысленности жизни. Имеющий уши слышал: русское слово наконец-то оторвалось от земли. Батюшкову ответило небо.

Русские люди, до того вздыхавшие по благозвучности итальянского языка и тонкой чувственности французского, вдруг открыли, что сердце может говорить и по-русски. Что родная речь может быть нежной, трепетной, мелодичной.

Батюшков был первым русским поэтом, получившим дар писать не только о царях, сражениях и героях, но и о «мелочах жизни», о простых движениях души. Все эти мелочи и пустяки, облеченные поэтом в совершенную музыкальную форму, говорили о жизни, о Боге, о космосе куда точнее и пронзительнее, чем многословные пафосные оды. Батюшков поднял от земли ту песчинку бытия, о которой потом напишет Блок: «Случайно на ноже карманном / Найдешь песчинку дальних стран / И мир опять предстанет странным / Закутанным в цветной туман...»

Глава третья

Сердце все просит любви: она — его пища, его блаженство; и мое блаженство — ты знаешь это — улетело на крыльях мечты^[240].

К. Н. Батюшков Н. И. Гнедичу, август 1811 г.

Предчувствия. — «Дух истории». — Ошибка Гнедича. — 26 августа в Москве. — Побег Никиты Муравьева. — Письмо вдогонку

И вот — опять война. Батюшков уже давно ее предчувствовал. И не только войну он видел на горизонте, но и то, что в XX веке один американский ученый назовет «концом истории». В августе 1811 года Константин писал Николаю Гнедичу: «Я мечтатель? О! совсем нет! Я скучаю и, подобно тебе, часто, очень часто говорю: люди все большие скоты и аз есмь человек... окончи сам фразу. Где счастье? Где наслаждение? Где покой? Где чистое сердечное сладострастие, в которое сердце мое любило погружаться? Все, все улетело, исчезло... вместе с песнями Шолио, с сладостными мечтаниями Тибулла и милого Грессета, с воздушными гуриями Анакреона. Все исчезло! И вот передо мной лежит на столе третий том „Esprit de Thistoire“ par Ferrand („Дух истории“ Феррана (фр.). — Д. Ш.), который доказывает, что люди режут друг друга затем, чтоб основывать государства, а государства сами собою разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и республики несчастнее монархий, и везде зло, а наука политики есть наука утешительная, поучительная, назидательная, и истории должно учиться размышлять... и еще Бог знает что такое! Я закрываю книгу. Пусть читают сии кровавые экстракты те, у которых нет ни сердца, ни души...»

Вот так он отметал меланхолию, дурные прогнозы и тяжелые предчувствия. У Батюшкова были огромные планы на жизнь в этом

обреченном мире.

В ноябре того же 1811 года он так отвечает Гнедичу, который ошибся в возрасте друга: «Ты, любезный Николай, пишешь не краснея, что мне скоро тридцать лет. Ошибся, ошибся, ошибся шестью годами, ибо 24 ни на каком языке не составляют 30. Где же точность? Я с моей стороны не упущу из рук эти шесть лет и, подобно Александру Македонскому, наделаю много чудес в обширном поле... нашей словесности. Я в течение этих шести лет прочитаю всего Ариоста, переведу из него несколько страниц и, в заключение, ровно в тридцать лет, скажу вместе с моим поэтом:

Se a perder s'ha la liberta, non stimo
Il piu ricco capel, ch'in Roma sia

(Если я должен потерять свободу, то меня не утешит и богатейшая корона, которая есть в Риме (*ит.*). — *Д. Ш.*), — ибо и в тридцать лет я буду тот же, что теперь, то есть лентяй, шалун, чудака, беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их; буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется...»

* * *

В канун войны Батюшков служил в Императорской публичной библиотеке помощником хранителя манускриптов (и формально оставался в этой должности до 29 марта 1813 года, когда он был принят в военную службу).

24 августа, взяв отпуск в библиотеке, Батюшков спешно отправляется в Москву. О причинах срочного отъезда он успел написать сестре в Вологду: «Здесь остаться мне невозможно. Катерина Федоровна ожидает меня в Москве больная, без защиты, без друзей: как ее оставить? Вот единственный случай ей быть полезным!»^[241]

Отпуск Батюшков в тот год неизбежно просрочил. (Николай Гнедич, работавший в той же библиотеке, извинялся перед Олениным

за долгое отсутствие друга. В октябре 1812 года, уже из Нижнего Новгорода, Батюшков отвечал: «Извинять меня перед Алексеем Николаевичем не должно: он знает лучше другого ценить людей, которые из доброй воли подвергают себя пулям, и конечно, на меня не рассердится, что я оставлю Библиотеку... не лишит меня и тогда своего покровительства...»^[242])

26 августа, в утро Бородинского сражения, Батюшков примчался из Петербурга в Москву к тетушке Екатерине Федоровне Муравьевой. В летнюю пору она с детьми Никитой, Сашей и совсем маленьким племянником, Ипполитом Муравьевым-Апостолом, жила на подмосковной даче в Филях.

Незадолго до приезда Батюшкова всю семью всполошил шестнадцатилетний Никита. Утром он не вышел к чаю, комната его оказалась пуста. До этого Никотинька, как его звали в семье, долго добивался от матери позволения вступить в военную службу. Всем было ясно, что Никита сбежал на войну. Через несколько дней он обнаружился в доме генерал-губернатора Ростопчина — туда мальчишку привезли крестьяне, принявшие его за французского шпиона. Никита вызвал подозрение, расплатившись в трактире золотой монетой, а потом у него был обнаружен план местности с французскими надписями.

Мог ли Батюшков думать, что год спустя Никита добьется своего и что они почти одновременно окажутся в армии? В июле 1813 года в армию отправится Константин Николаевич, а 27 августа в полночь из Петербурга в армию отбудет прапорщик Никита Муравьев. Батюшков будет служить у Раевского, Никита — у Беннигсена. Иногда их военные пути будут проходить совсем рядом. Они оба будут участвовать в битве под Лейпцигом.

Пока Муравьевы собирались, Батюшков обежал московских друзей и почти никого не застал. Написал письмо вдогонку Вяземскому:

«Я приехал несколько часов после твоего отъезда в армию. Представь себе мое огорчение: и ты, мой друг, мне не оставил ниже записки. Сию минуту я поскакал бы в армию и умер с тобою под знаменами отечества, если б Муравьева не имела во мне нужды. В нынешних обстоятельствах я ее

оставить не могу: поверь, мне легче спать на биваках, нежели тащиться в Володимир на протяжных. Из Володимира я прилечу в армию, если будет возможность. Дай Бог, чтоб ты был жив, мой милый друг! Дай Бог, чтоб мы еще увиделись! Теперь, когда ты под пулями, я чувствую вполне, сколько я тебя люблю. Не забывай меня. Где Жуковский?

К. Б.» ^[243].

Глава четвертая

Радуюсь, что Жуковский у вас, и надолго. Его дарование и его характер — не ходячая монета в обществе... Познакомься с ним потеснее: верь, что его ум и душа — сокровище в нашем веке. Я повторяю не то, что слышал, а то, что испытал.

Константин Батюшков — Николаю Гнедичу. Начало июня 1815 г.^[244]

Дружба с вечным мечтателем. — Сын лени, он же трудолюбивый Жук. — Досадная пародия на «Певца...» — О Жуковском в статье «Нечто о поэте и поэзии». — Нежная осторожность

Они не сразу оценили друг друга. Поначалу Батюшков называл Жуковского «сыном лени». Зато вскоре — «трудолюбивым Жуком».

В марте 1810 года проницательный Батюшков очень точно сказал о Жуковском: «У него сердце на ладони»^[245].

На протяжении многих лет кому бы из общих друзей ни писал Батюшков — в нем всегда находилось место для имени Жуковского. Бесчисленны его приветствия Василию Андреевичу.

«Когда будет в вашей стороне Жуковский добрый мой, то скажи ему, что я его люблю, как душу...»^[246]

«Дружество твое мне будет всегда драгоценно, и я могу смело надеяться, что ты, великий чудак, мог заметить в короткое время мою к тебе привязанность. Дай руку! и более ни слова...»^[247]

«Редкая душа! Редкое дарование! Душа и дарование... Мы должны гордиться Жуковским...»^[248]

«...Мой милый, добрый мечтатель! Счастливы мы, что имеем такое дарование в наше время, а мы, твои приятели, еще счастливее: это дарование *наше*, ты наш — ты любишь нас! Твое новое произведение прелестно. В нем всё благородно, и мысли и чувства. Оно исполнено жизни и поэзии, одним словом: ты наравне с

предметом, и с каким предметом! И откуда ты почерпнул столько прекрасных, новых и живописных выражений? Счастливец!.. Прими же чувства моей благодарности...»^[249]

А как Батюшков умел радоваться за друзей! Когда в декабре 1816 года Жуковскому по высочайшей милости была назначена пожизненная пенсия, Батюшков написал Гнедичу: «Не могу тебе изъяснить радости моей: Жуковского счастье, как мое собственное! Я его люблю и уважаю. Он у нас великан посреди пигмеев, прекрасная колонна среди развалин...»^[250]

Они испытывали друг к другу глубокое сердечное доверие. Когда придет тяжкая пора душевного недуга и почти все человеческие связи Батюшкова оборвутся, только имя Жуковского будет прояснять его рассудок.

Много раз они могли поссориться, но всякий раз их добрые отношения спасала мудрость Василия Андреевича — все-таки он был старше на четыре года и относился к Батюшкову как к младшему собрату. Ребячливые поступки Константина его порой удивляли, но он всегда находил их простительными.

В 1813 году, еще до ухода на войну, Батюшков успел подшутить над Жуковским, вернее, над его «Певцом во стане русских воинов». Батюшков написал пародию «Певец в Беседе Славянороссов. Эпико-лиро-комико-эпородический гимн» и оставил свое произведение Александру Ивановичу Тургеневу. Тот показал его Вяземскому. Пародия быстро разошлась среди литераторов. Наверное, и Жуковский улыбнулся, читая эту стихотворную шутку, но вряд ли она его обрадовала. Василий Андреевич и сам был горазд на розыгрыши, но ведь всему свое время. Война еще была в разгаре, и стоило ли потешаться над стихами, рожденными в те дни, когда решалась судьба Отечества?

Батюшков быстро понял, что пошутил не совсем удачно. Но слово вылетело — не поймаешь.

Вернувшись осенью 1814 года с войны, Батюшков обнаружил, что его пародия до сих пор ходит по рукам. Он уже совершенно другими глазами смотрел и на жизнь, и на литературу, и категорически не хотел, чтобы на него смотрели как на пересмешника.

10 января 1815 года он написал Вяземскому: «В отсутствие мое здесь разошлись мои стихи: „Певец“. Глупая шутка, которую я писал

для себя...»

После этого он спешит дать справедливую оценку и Жуковскому, и его «Певцу...» и в большой статье «Нечто о поэте и поэзии» воздает другу должное, называя Жуковского в ряду «стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу нашему» — вслед за Горацием, Катуллом, Овидием, Петраркой и Державиным! А о «Певце...» Батюшков пишет: «Жуковский, одаренный пламенным воображением и редкою способностью передавать другим глубокие ощущения души сильной и благородной — в стане воинов, при громе пушек, при зареве пылающей столицы писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы...»^[251]

Жуковский прочитает эту статью лишь в 1816 году, когда она будет опубликована в десятом номере «Вестника Европы», но и без этого Василий Андреевич не держал на Батюшкова обиды. Обидчивость и злопамятность никогда не были ему свойственны. Круг друзей-поэтов во многом держался на благодущии Василия Андреевича. Впрочем, иногда Вяземскому удавалось выводить из равновесия даже Жуковского, и тому приходилось напоминать князю о том, что «нежная осторожность, право, нужна в дружбе. Я не должен быть для тебя буффоном, оставим это для Арзамаса...».

Жуковский умел очень быстро и коротко сходить с близкими ему по духу людьми. Вот лишь один пример: в конце 1814 года он заочно, по переписке, знакомится с Гнедичем, называя его в письме «почтеннейшим Николаем Ивановичем», а буквально через год они уже на «ты», и Василий Андреевич по-приятельски кличет Гнедича Гекзаметром, Николаем Гомеровичем, Гнедым поэтом и другими прозвищами. Но при этом Жуковский всегда ясно чувствовал границу между откровенностью и развязностью, между доброй шуткой и едкой насмешкой.

Почему нередко бывает так, что близкие друзья, крепко дружившие много лет, вдруг разрывают отношения? Чаще всего это происходит не из-за какого-то преднамеренного предательства или подлости, а из-за неосторожного, небрежного слова. Казалось бы: ну что такого, «я же просто пошутить хотел». А происходит беда — надолго, а то и навсегда рушатся драгоценные человеческие связи.

«Нежная осторожность, право, нужна в дружбе...»

Глава пятая

17 августа 1812 года...

В одном прекрасном доме, близ дороги, написаны на стене женскою рукою простые, но для всякого трогательные слова:

«Прости, моя милая Родина!»

Ф. Н. Глинка. Письма русского офицера

Дорога на Волгу. — Владимир. — Печальные вести. — Нижний Новгород. — «Я, грешный, да шесть собак...» — Воспоминание о комете 1810 года. — Приметы Наполеона. — Пепел Москвы. — Псалтирь и послание «К Дашкову». — Встреча с генералом Бахметевым

Вернемся в осень 1812 года, когда Батюшков еще прозябает на осенних дорогах, пробираясь вместе с Муравьевыми и другими московскими беженцами на Волгу.

А в его родную Вологду тем временем прибывает обоз с сокровищами Кремля (среди них и «Троица» Рублева!). Бесценное достояние размещают в Свято-Димитриевском Прилуцком монастыре, который через сорок два года станет местом упокоения Константина Николаевича Батюшкова.

Во Владимире он узнает о Бородинском сражении и пишет родным в Вологду: «Сколько слез! — два мои благотворителя, Оленин и Татищев, лишились вдруг детей своих. Оленина старший сын убит одним ядром вместе с Татищевым. Меньшой Оленин так ранен, что мы отчаиваемся до сих пор! Бедные родители!.. Бог с вами со всеми! — рука не поднимается описывать вам то, что я видел и слышал...» ^[252]

Меньшого Оленина, Петра, контузило в голову и вскоре его привезли на лечение в Нижний Новгород. Батюшков ухаживал за ним. Когда Петру стало лучше, хлопотал о его отправке к родителям в Петербург. Провожая молодого Оленина, он дал ему письмо для Гнедича, где писал: «Оленин тебя обрадует; ему гораздо лучше; память его слаба, но от слабости телесной, то есть всего тела, а не от мозгу,

хотя удар и был в голову. Но и это со временем пройдет, без всякого сомнения. Приласкай его и за меня. Он весьма добрый малый и может быть утешением своих родителей. Теперь, когда опасность миновалась, можно сказать, что Петр приехал издалече, то есть из царства мертвых...»^[253]

Батюшков не только остро переживал происходящее как поэт, но и анализировал ход военных действий как человек, имеющий боевой опыт. Бородинское сражение он представлял настолько хорошо, что год спустя, участвуя в Заграничном походе, он писал Гнедичу по поводу Битвы народов под Лейпцигом: «Иные минуты напоминали Бородино».

Добравшись до Нижнего, Батюшков пишет Николаю Гнедичу: «Мы живем теперь в трех комнатах, мы — то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич, П. М. Дружинин, англичанин Евенс, которого мы спасли от французов, две иностранки, я, грешный, да шесть собак. Нет угла, где бы можно было поворотиться... Я насилу могу собраться с мыслями и часто спрашиваю себя: где я? что я?...»^[254]

Долгими осенними вечерами за скромной трапезой перечитывали письма от родных и знакомых, вспоминали мирное время. Иван Матвеевич Муравьев-Апостол рассказывал в который раз о знамени, явленном в 1811 году, о том, как «третьего года явилась звезда» на небе странная. «Когда я в первый раз увидел комету, знаешь ли, какое странное чувство — не скажу: тревожило меня — а как-то шевелило мое сердце? Мысль о возможном разрушении вселенной казалась мне страшною потому, что я бы мог пережить, хотя на минуту, понятие мое о бесконечности мира и быть свидетелем начинающегося беспорядка на небе, где я привык видеть существенный порядок и почитать его вечным...»^[255]

Наполеона не столько проклинали, сколько пытались разобраться: «Зачем полмиллиона разноплеменных воинов хлынули с запада на восток и пришли в Россию жечь, грабить и опустошать ее? Зачем древняя столица, Москва, стала жертвою пламени?...» Неужели только «потому, что в 1769 году родился в Корсике некто Наполеон, у которого на черепе следующие приметы: желвак, как рог, на самой середине лба — знак неслыханной дерзости; на темени глубокая

впадина — знак презрения и ненависти ко всему роду человеческому; у левого виска шишка — страсть видеть текущую человеческую кровь; между бровями два возвышения — знаки вероломства...»^[256].

Иван Матвеевич называл Наполеона «фабрикантом мертвых тел», уродливым сыном европейской промышленной революции, чья задача — «сделать мануфактурный опыт и из одного узнать, сколько именно русских трупов и во сколько времени он произвести может посредством полумиллионной машины своей».

* * *

Московские беженцы продолжали прибывать в Нижний до самой зимы, ведь и после ухода французов возвращаться им было некуда — Москва лежала в руинах.

В декабре, по просьбе тетушки, Батюшков поехал в оставленную французами Москву, чтобы узнать, уцелел ли дом в Филях и можно ли в нем зимовать. Потом добрался до Вологды, чтобы повидаться с родными и с Вяземскими.

В Москве застал

Лишь угли, прах и камней горы.
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..

Как потом скрупулезно подсчитали: из 9151 дома было стерто с лица земли 6496! Среди прочих был сожжен университет с пансионом, погибли крупнейшие книжные, архивные и художественные собрания.

Батюшков вернулся в Нижний, но картины увиденного еще долго преследовали его. Он был не в состоянии говорить ни о чем другом, как только о погибшей Москве. «Всякий день сожалею... о Москве, о прелестной Москве: да прилипнет язык мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду...»^[257]

Батюшков цитирует здесь Псалтирь, псалом 136-й, в котором пророк Давид повествует о том, как в вавилонском пленении иудеи

ностальгически вспоминали о родине. Дословно псалом звучит так:

«На реках Вавилонских тамо седохом и плакахом, всегда памянути нам Сиона. На вербиих посреди его обесихом органы наша. Яко тама воспросиша ны пленшии нас о словесех песней и ведший нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Како воспоем песнь Господню на земли чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя. Прильпни язык мой гортани моему аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима яко в начале веселия моего...»^[258]

Псалтирь была в каждом русском доме, сопровождала от рождения до смерти, утешала в страдании, укрепляла в брани. Редкий русский солдат не повторял про себя накануне боя хоть несколько строк из девяностого псалома: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна... Не убоишися от страха ночнаго, от стрелы летящая во дни, от вещи во тме преходящая, от сряща и беса полуденного. Падет от страны твоя тысяща, и тма одесную тебе; к тебе же не приблизится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище Твое. Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохрани тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да некогда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия...»

Псалтирь постоянно звучит в письмах отца Батюшкова, Николая Львовича. Как пишет замечательный биограф поэта Римма Михайловна Лазарчук: «Письма Николая Львовича могут показаться архаичными. Коварство окружающих его врагов он рисует красками библейского царя и пророка Давида...»^[259]

Возможно, Псалтирь была одной из немногих книг, которая сопровождала Батюшкова в его странствиях. Еще в мае 1809 года, из Шведского похода, он писал Гнедичу: «Ты дурачишься, принимая на сердце людские глупости. Стоит ли это? Вспомни псалом: „Не надейтесь на сыны человеческия“... Утешься, мой друг, ради Бога: все пройдет...»^[260]

С цитаты из Псалтири начал архиепископ Августин свое «Пастырское наставление во время начавшейся войны 1812 года»:

«Близ Господь всем призывающим Его во истине (Псал. 144, 18)».

Не случаен вспыхнувший в то время литературный и научный интерес к Псалтири. Многие поэты пытаются переложить псалмы на современный поэтический язык. В 1812 году Матвей Гаврилович Гаврилов, первый профессор славянских языков Московского университета, писал: «Надеяться можно, что со временем отечественная Словесность наша украсится полным собранием священных Од, в коих выражена будет вся сила выпренность и красота Псалмов Давидовых; тогда сделаются они живейшим языком сердца...»^[261] (Такое собрание выйдет в России только через шестьдесят лет, в 1872 году^[262].)

После горькой поездки в Москву Батюшков пишет послание «К Дашкову», и в нем, кажется, слышен голос самого царя Давида:

Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах изданных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!

Послание «К Дашкову» отозвалось в нашей поэзии в 1941 году. Из воспоминаний Павла Антокольского: «Мы брали с полки наугад старых русских поэтов, искали у них отклика на то, чем были полны наши сердца. Так было найдено „Послание к Дашкову“ Батюшкова, написанное после пожара Москвы 1812 года...»^[263]

Нельзя здесь не вспомнить человека, к которому обращено послание Батюшкова. Пожалуй, лучше всего о Дмитрие Васильевиче Дашкове написал его младший современник Михаил Александрович Дмитриев: «В самой молодости между товарищами Дашков пользовался уже преимущественным уважением и к своему лицу, и к своим мнениям. Он и тогда имел над ними какую-то моральную власть, которой они покорялись, признавая его превосходство перед собою... Имея важную наружность от природы, он никогда не важничал, был разговорчив и охотно сообщал замечания светлого ума своего о предметах и важных и легких; но был тверд в своих мнениях: ибо мнения его были плодом зрелого убеждения. Он следил за всеми отраслями наук и литературы; он читал беспрестанно и проникал

глубоко в историю народов и в политические происшествия своего времени. Русскую литературу знал во всех подробностях и ни одного произведения ее не оставлял без внимания даже и тогда, когда впоследствии занимал важные должности... Дашков служил в департаменте министерства юстиции. Иван Иванович Дмитриев, бывший тогда министром, по преимуществу любил Дашкова и высоко ценил прямоту его характера и необыкновенные его способности... В департаменте министерства юстиции поручаемы были Дашкову от министра все бумаги, требовавшие особенно обдуманного изложения, строгой точности и ясного, хорошего слога, качеств, из которых особенно два последние Дмитриев первый начал вводить в деловые бумаги...»

* * *

Переполненный беженцами Нижний Новгород продолжал принимать раненых. Среди них был генерал Алексей Николаевич Бахметев, потерявший правую ногу в Бородинском сражении. Батюшков попросил генерала помочь ему с местом в армии, и Бахметьев пообещал поэту, что как только вернется в строй, то возьмет его в адъютанты.

Настойчивость, с которой поэт добивался своего права защищать Отечество, кажется нам сегодня самоубийственной. Ведь прежнее ранение часто давало о себе знать, любая простуда заканчивалась для Константина Николаевича лихорадкой. Письма Батюшкова 1811–1812 годов полны жалоб на хандру. «Болен, скучен и так хил, так хил, что не переживу и моих стихов»^[264], — писал он Жуковскому в июне 1812 года. Батюшков догадывался, что не только его физическое, но и душевное здоровье крайне хрупко, а впечатлительность чрезвычайно обострена.

И все-таки его решимость сражаться с Наполеоном не угасает. Пепел Москвы бьется у него в груди. «Сионе, граде святой! Алтари твои раскопаны, храмы обнажены лепоты своей, святыня поругана...»^[265]

Глава шестая

*Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.*

*В. А. Жуковский. Певец во стане русских
воинов*

Переход через Неман. — Адъютант Раевского. —
Беседы с генералом. — Первое письмо домой. — Прага. —
Встреча с Федором Глинкой и Андреем Раевским

Но шло время, а долгожданного назначения в армию Батюшков не получал. Вот уже наши войска перешли Неман, вглубь страны везли раненных в Заграничном походе. По их рассказам Батюшков написал большое эпическое стихотворение «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года». Эти стихи можно назвать эпическим репортажем — так много в них документальных подробностей, которые могли поведать автору лишь участники события. Сохранился только отрывок из этого стихотворения.

Снегами погребен, угрюмый Неман спал.
Равнину льдистых вод и берег опустелый
И на берегу покинутые села
Туманный месяц озарял.
Всё пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся тлеет,
И хладный, как мертвец,
Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец
Недвижим, смутный взор вперив на мертвы ноги... [\[266\]](#)

29 марта 1813 года Батюшков получает приказ о том, что он наконец-то принят в военную службу штабс-капитаном. Правда, только в июле он отправляется вдогонку за войной, надеясь на невозможное: найти среди сражающихся своего старого армейского друга Ивана Петина.

Задержка была вызвана тем, что здоровье не позволило израненному Алексею Николаевичу Бахметеву вернуться в строй. Генерал, стремясь сдержать слово, данное Батюшкову, пишет письмо своему другу Раевскому и просит взять поэта в адъютанты.

Батюшков прибывает к генералу и служит при нем до самого Парижа.

Генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский уже тогда, в 1813 году, — легенда русской армии. Не только армии, но и всему русскому обществу известны его подвиги, совершенные в сражениях при Смоленске и Бородине, Малоярославце и Красном.

Его слава признана противником. О нем Наполеон сказал: «Этот генерал сделан из материала, из которого делают маршалов».

Трудно не испытывать трепет, поступая в адъютанты к такому полководцу. Но Батюшков справляется с волнением — все-таки это уже третья его военная кампания, повидал он и генералов. Вскоре у них устанавливаются если не совсем короткие и товарищеские (такое и невозможно между генералом и адъютантом в условиях войны), то добрые отношения. Батюшков и в грохоте сражения с полуслова понимает своего начальника. Раевский называет Батюшкова «господином поэтом» и отличает его от других своих адъютантов тем, что делится с ним соображениями далеко не служебного характера.

Об одном из таких разговоров с генералом Батюшков вспоминал после войны: «Мы были в Эльзасе. Раевский командовал тогда гренадерами. Призывает меня вечером кой о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии, и время, как свинец, лежало у генерала на сердце. Он курил, очень много по обыкновению, читал журналы, гладил свою американскую собачку — животное самое гнусное, не тем бы вспомнить его! — и которое мы, адъютанты, исподтишка били и ласкали в присутствии генерала: что очень не похвально, скажете вы, — но что же делать? Пример подавали свыше, другие генералы, находившиеся под начальством Раевского».

Мало-помалу все разошлись, и я остался один. „Садись!“ Сел. „Хочешь курить?“ — „Очень благодарен“. Я — из гордости — не позволял себе никакой вольности при его Высокопревосходительстве. „Ну так давай говорить!“ — „Извольте“. Слово за слово — разговор сделался любопытен. Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. Он же меня любил (в это время), и слова лились рекою... Он вовсе не учен, но что знает, то знает. Ум его ленив, но в минуты деятельности ясен, остер. Он засыпает и просыпается. Но дело теперь о том, что он мне говорил. Кампания 1812 года была предметом нашего болтанья.

„Из меня сделали римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне. — Из Милорадовича великого человека, из Витгенштейна — спасителя Отечества, из Кутузова — Фабия. Я не римлянин — но зато и эти господа — не великие птицы. Обстоятельства ими управляли, теперь всем движет Государь. Провидение спасало Отечество. Европу спасает Государь или провидение его внушает. Приехал царь: все великие люди исчезли. Он был в Петербурге, и карлы выросли. Сколько небылиц напечатали эти карлы! Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих“. — „Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до небес превозносили“. — „За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава! вот плоды трудов!“ — „Но помилуйте, Ваше Высокопревосходительство! Не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: „Вперед, ребята. Я и дети мои откроем вам путь ко славе — или что-то тому подобное““. Раевский засмеялся. „Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля ему прострелила панталоны: вот и все тут. Весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я — пожалован Римлянином...“

Вот что мне говорил Раевский...» ^[267]

В письмах с войны поэта не узнать — это совершенно новый Батюшков, свежий, неутомимый, полный сил и вдохновенных стремлений. В сентябре 1813 года он пишет из Теплица первое письмо Николаю Гнедичу: «Надобно иметь железную голову и всевозможную добрую волю, чтоб писать теперь в моем положении к тебе, милый друг. После путешествия самого беспокойного и скучного на Вильну, Варшаву, потом Силезию, Бриг и Глац, прибыл я в прекрасный город Прагу... Наконец явился я к главнокомандующему и был от него отправлен к генералу Раевскому. Он меня принял ласково и велел остаться при себе; я нахожусь теперь при его особе и в сражениях отправляю должность адъютанта. Успел быть в двух делах: в авангардном сражении под Доной, в виду Дрездена, где чуть не попал в плен, наскочив нечаянно на французскую кавалерию, но Бог помиловал! — потом близ Теплица в сильной перепалке. Говорят, что я представлен к Владимиру, но об этом еще ни слова не говори, пока не получу. Не знаю, заслужил ли я этот крест, но знаю, что заслужить награждение при храбром Раевском лестно и приятно.

Отгадай, кого я здесь нашел? Старых приятелей: Бориса Княжнина, Писарева и доброго, честного и храброго Дамаса. Они все в 3-м гренадерском корпусе, которым командует генерал Раевский, и я их всякий день вижу. Писарев не переменялся. Все весел по-старому и храбр по-старому. Генерал меня посылал к нему с приказанием во время сражения, и я любовался, глядя на него. Скажу тебе вдобавок, что мы в беспрестанном движении, но теперь остановились лагерем в виду Теплица, на поле славы и победы, усеянном трупами жалких французов, жалких потому, что на них только кожа да кости. Какая разница наш лагерь! Нельзя равнодушно смотреть на три сильные народа, которые соединились в первый раз для славного дела, в виду своих государей, и каких государей! Наш император и король прусский нередко бывают под пулями и ядрами. Я сам имел счастье видеть великого князя под ружейными выстрелами. Таковые примеры могут одушевить мертвое войско, а наша армия дышит славою... Одним словом, ни труды, ни грязь, ни дороговизна, ни малое здоровье не заставляют меня жалеть о Петербурге, и я вечно буду благодарен

Бахметеву за то, что он мне доставил случай быть здесь. Обними за меня Дашкова и попроси его меня не забывать...»^[268]

В Праге Батюшков встретил Федора Глинку. Очевидно, тогда наблюдательный Батюшков заметил, что Федор Николаевич время от времени достает тетрадку и что-то записывает в нее. Когда после войны выйдут «Письма русского офицера», Батюшков одним из первых выразит автору свою признательность. В 1819 году, в письме Гнедичу из Неаполя, Батюшков отметит главное достоинство «Писем...» — их документальность: «Часто путешественники пишут воротясь, дома. Один Глинка писывал на походе...»^[269] А далее он в том же письме просит Гнедича: «Обними его за меня очень крепко и скажи, что его люблю и вечно помнить буду. Здесь с Кушелевым, который жил о стену со мною, мы часто говорили о нашем милом русском офицере...»

Общение Батюшкова и Глинки вряд ли было тогда продолжительным, но их успел увидеть вместе Андрей Раевский (однофамилец генерала). Возможно, что восемнадцатилетний офицер специально разыскал почитаемых им литераторов, обнаружив их имена в реестре русских офицеров, находящихся в Праге. Раевский с отрочества пробовал себя в поэзии. В 1809 году Жуковский опубликовал его стихотворение «Невинность» в «Вестнике Европы».

Знакомство в Праге с Батюшковым и Глинкой произвело на молодого поэта большое впечатление. «Никогда не забуду, — вспоминал Андрей Раевский, — я также встречи с известными и столь много любимыми писателями нашими Батюшковым и Глинкой. Я провел с ними несколько минут, которые никогда не изгладятся из моей памяти. Человек с дарованиями достоин уважения, но получает еще большее право на оное, если собственным примером научает добродетелям, которые прославляет в своих песнях... Чувства и истина суть первые достоинства писателей. И Глинка, и Батюшков одарены ими. Оттого-то так занимательна проза первого, по той же причине нравятся нам стихи другого...»^[270]

Неожиданно для многих Батюшков и Федор Глинка сблизились после войны. И сблизила их не столько словесность, сколько пережитое в 1812–1814 годах. В обширном литературном сообществе Петербурга они были, пожалуй, единственными «фронтовиками».

Когда Батюшков уезжал на лечение в Одессу, самую проникновенную прощальную записку он оставил Глинке: «Крайне сожалею, почтеннейший и любезнейший Федор Николаевич, что не застал Вас дома. Был вчера часу в 8 вечера. Пожелайте мне счастливого пути: желания искренней дружбы доходят к Небу. А я желаю Вам возможного благополучия, которого Вы достойны, любезный друг. Вы внушили к себе уважение и любовь. Расставаясь с Питером, жалею о людях, не о камнях, и в числе людей, любезнейших душе моей, Вы, без сомнения, занимаете первое место. Счастливым почту себя, если хотя немного заслужил Вашу приязнь и местечко в памяти Вашего сердца. Простите, будьте благополучны и любите Вашего преданнейшего Батюшкова...»^[271]

* * *

В Праге Константина Николаевича мог бы нагнать Никита Муравьев, но не успел — к тому времени (15 сентября) Батюшков вместе с войсками пошел на Теплиц, а потом к Лейпцигу. 10 ноября Константин Николаевич напишет сестре из Веймара в Вологду: «Говорят, что Никита здесь в армии, но я его не видал к моему огорчению. Дай Бог, чтоб он был жив и здоров, и утешал мать свою, и сделался достойным сыном достойнейшего из людей...»^[272]

Только после войны наладилась их переписка. 7 августа 1814 года Никита Муравьев отвечал Батюшкову из Гамбурга: «Любезный братец Константин Николаевич! Ты не можешь вообразить, как ты обрадовал меня письмом своим. Сделав приятное путешествие, возвратился в Петербург. Вошел в Париж при любезных восклицаниях, был в Лондоне! А я не имел счастья... видел Дрезден и не входил в него, был на Рейне и не входил во Францию. Был в скучных блокадах и в глупых перестрелках... Я с нетерпением ожидаю то время, когда удобно мне будет изъяснять свои мысли и чувства иначе, чем чрез письма... Я здесь напитался немецкими расчетами и рассуждениями и нетерпелив тебе их сообщить.

Твой друг и брат Никита»^[273] .

Глава седьмая

*...Своей судьбы единый властелин,
Летит теперь, отмиценьем вдохновенный,
Под знамена карающих дружин!
Счастлив, кто меч, отчизне посвященный,
Подъял за прах родных, за дом царей,
За смерть в боях утраченных друзей...*

*П. А. Вяземский — В. А. Жуковскому о
Батюшкове. 1813 г.*

Чудесное спасение. — Водка — лекарство от страха. — В Камбурге и Веймаре с раненым Раевским. — «Дон Карлос». — Встреча с Гёте в театре. — Увлечение немецким языком. — Мечта о домашнем халате. — Прибытие в Веймар великих княгинь Марии Павловны и Екатерины Павловны. — Кофе с молоком. — Париж. — Спасение Вандомской колонны

30 октября, во время пребывания в Веймаре, Батюшков дал подробный отчет о своей боевой жизни в письме Гнедичу. Описав битву под Лейпцигом, он вспоминает не первый (и не последний!) случай своего чудесного спасения: «В эту поездку со мной был странный случай. Я ехал с казаком, как обыкновенно. Миновав нашу армию и примкнув к Бениксоновой, я пустился далее — к принцу. Вот подъезжаю к деревне (Бениксонова армия уже кончилась); проезжаю деревню, лес и вижу несколько батальонов пехоты; ружья сомкнуты в козлы, кругом огни. Мне показалось, что это пруссаки; я — к ним. „Где проехать в шведскую армию?“ — „Не знаю, — отвечал мне офицер во французском мундире, — здесь вы не проедете“. „Но какое это войско?“ — спросил я, показав на окружающих меня солдат, которые вокруг меня толпились и пожирали глазами незнакомца. „Мы — саксонцы“. — „Саксонцы! Боже мой! Саксонцы, — подумал я, бледнея, как некто над святцами, — так я заехал сам в плен!“ И, не

говоря ни слова, поворотил коня назад, размышляя: если поскачу, то они дадут по мне залп, и тогда прощай, Гнедич! „И птички для меня в последнее пропели“. Нет, лучше шагом, — авось они меня примут за баварца, за италиянца, хуже — за француза, если хотят, только не за русского. Сказано — сделано. „Что с вашим благородием сделалось — как плат побледнели, — сказал мне мой казак, — ужли это неприятель?“ „Молчи, урод!“ — отвечал я ему на ухо. Отъехал несколько шагов и встретил австрийского офицера. „Ради всех моравских, семигорских, богемских, венгерских и кроатских чудотворцев, скажите мне, что это за войско, какие саксонцы, где я, и куда вы едете?“... „Бассамтарата тара-ра! — вскричал мой венгр. — Это саксы, что вчера передались с пушками и с конями“.

Я отдохнул. Как гора с плеч! Воротился назад, пожелал новым товарищам доброе утро и хохотал с ними во все горло, рассказывая мою ошибку и запивая их водкою мой страх и отчаяние...»^[274]

О раненом Раевском Батюшков пишет: «Подъезжая к Наумбургу, ему сделалось хуже, на другой день еще хуже — к ране присоединилась горячка. Боль усилилась, и он остановился в деревне, неподалеку маленького городка Камбурга, где лежал 7 дней. Я был в отчаянии и умирал со скуки в скучной деревне. Наконец мы перенесли генерала в Веймар, и ему стало легче, хотя рана и не думает заживать. Кости беспрестанно отделяются, но лекарь говорит, что он будет здоров. Дай Бог! Этот человек нужен для отечества...»

Батюшков так соскучился по книгам, театру, просто по безмятежным прогулкам в аллеях парка, что с удовольствием описывает те мирные радости, которые предлагал русским офицерам легендарный гётевский Веймар: «Немцы любят русских, только не мой хозяин, который меня отравляет ежедневно дурным супом и вареными яблоками. Этому помочь невозможно; ни у меня, ни у товарищей нет ни копейки денег, в ожидании жалованья. В отчизне Гёте, Виланда и других ученых я скитаюсь, как скиф. Бываю в театре изредка. Зала недурна, но бедно освещена, в ней играют комедии, драмы, оперы и трагедии, последние — очень недурно, к моему удивлению. „Дон Карлос“ мне очень понравился, и я примирился с Шиллером. Характер Дон Карлоса и королевы прекрасны. О комедии и опере ни слова. Драмы играют редко, по причине дороговизны кофея и съестных

припасов; ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтраком в первом действии и кончается ужином.

Здесь лучше всего мне нравится дворец герцога и английский сад, в котором я часто гуляю, несмотря на дурную погоду. Здесь Гёте мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план „Оберона“ и летал мыслию в области воображения; под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих; под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками. Всему есть время. Гёте я видел мельком в театре. Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе. Я схожу с ума на Фоссовой Луизе; надобно читать ее в оригинале и здесь, в Германии...»^[275]

Об увлечении немецкой литературой он пишет и сестре: «Знаешь ли мою новую страсть? — Немецкий язык. Я ныне, живучи в Германии, выучился говорить по-немецки и читаю все немецкие книги; не удивляйся тому. Веймар есть отчизна Гёте, сочинителя Вертера, славного Шиллера и Виланда; здесь прекрасная библиотека, театр и английский сад, в котором часто гуляю, ибо снегу здесь почти нет во всю зиму, а на Рейне еще менее. Жаль, что у меня мало денег...»

Бедность и на войне досаждала. Батюшкову не на что купить не то что книги, но и белье. Он пишет сестре, что «весь обносился бельем» и признается, что мечтает о домашнем халате: «Приготовь мне дюжину рубашек домашнего тонкого полотна с батистом, 12 пар платков, поболее простынь, чулок и проч., и если можно, щегольской халат на вате, в котором я буду отдыхать от трудов военных...»^[276]

В письме Гнедичу Батюшков подробно рассказывает и о светской жизни русского Веймара: «Третьего дня приехала в Веймар великая княгиня Марья Павловна^[277]. Я был ей представлен с малым числом русских офицеров, здесь находящихся. Она со всеми говорила и очаровала нас своею приветливостию, и к общему удивлению — на русском языке, на котором она изъясняется лучше, нежели наши великолепные петербургские дамы.

Вчера прибыла сюда великая княгиня Екатерина Павловна^[278]. Мы были ей представлены. Мое имя, не знаю почему, известно Ее Высочеству, и я имел счастье говорить с нею о егерском полку, в котором она всех офицеров помнит. Князь Гагарин нас представлял. Я ему обрадовался как знакомому и провел с ним утро у Раевского. В

свободное ему время постараюсь с ним увидаться и поговорить о тебе и о петербургских знакомых...»

Батюшкову хочется рассказывать и рассказывать, но не на одной лишь бумаге, а глаза в глаза. «Когда придет желанный мир и мы снова засядем с тобою у камина, раскурим наши трубки, нальем по чашке чаю (а он теперь нам в диковину) и станем рассказывать о том о сем и не без шума?.. Я... и не пропущу ни одного приключения, ни одного обеда, ни одного дурного ночлега — я все перескажу!

В ожидании сего счастливого времени, для отдыха, ездим мы в Эрфурт любоваться бомбардированием города пруссаками, храбрыми пруссаками, — пьем жидкий кофе с жидким молоком, обедаем в трактире по праздникам, перевязываем генерала ежедневно, ходим зевать один к другому, бранимся и спорим о фураже...»^[279]

Это все, конечно, проза. А стихи пришли, когда все-таки выпал снег.

Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне,
И в дебрях, и в снегах.

Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,

Покрытый в зиму ярким снегом!
Ах! дайте мне коня;
Туда помчит он быстрым бегом
И день, и ночь меня!..

2 января 1814 года русские войска переправились через Рейн и вошли на территорию Франции.

Из письма Батюшкова Гнедичу, написанного 16 января из деревни *Fontaine* в департаменте Верхний Рейн: «Итак, мой милый друг, мы перешли за Рейн, мы во Франции. Вот как это случилось: в виду

Базеля и гор, его окружающих, в виду крепости Гюнинга мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер, закричали „ура!“ и перешли за Рейн. Я несколько раз оборачивался назад и дружественно прощался с Германией, которую мы оставляли, может быть, и надолго, с жадностью смотрел на предметы, меня окружающие, и несколько раз повторял с товарищами: наконец, мы во Франции! Эти слова: мы во Франции — возбуждают в моей голове тысячу мыслей, которых результат есть тот, что я горжусь моей родиной в земле ее безрассудных врагов. В этой стороне Альзаса жители говорят по-французски. Вообрази себе их удивление. Они думали, по невежеству, разумеется, что русские их будут жечь, грабить, резать, а русские, напротив того, соблюдают строгий порядок и обращаются с ними ласково и дружелюбно. За то и они угощают нас как можно лучше. Мои хозяин, жена его, дети потчивают вином, салатом, яблоками и часто говорят, трепля по плечу: „Vous etes des braves gens messieurs!“ [Вы хорошие люди, господа! (*фр.*)] Хозяйка, старуха лет шестидесяти, спрашивала меня в день моего прибытия: „Mais les Russes, monsieur, sont-ils Chretiens comme nous autres?“ [Но русские, месье, христиане ли они, как мы? (*фр.*)] Этот вопрос можно сделать им, но я промолчал. Впрочем, я не могу надивиться их живости, скорым и умным ответам, скажу более, их учтивости и добродушию. Надобно видеть, с каким любопытством они смотрят на наших гренадер, а особливо на казаков, как замечают их малейшие движения, их разговоры. Все так, любезный друг! но сердце не лежит у меня к этой стороне — революция, всемирная война, пожар Москвы и опустошения России — меня навсегда поссорили с отчизной Генриха IV, великого Расина и Монтаня...» ^[280]

* * *

Первыми в наших войсках увидели на горизонте Париж в колонне командовавшего авангардом Главной армии генерала Раевского.

19 марта 1814 года русская армия вошла в Париж.

Из близких Батюшкову людей до столицы Франции дошел юный Петр Оленин. Возможно, они увиделись в Париже. 19 марта отмечалось потом в семье Олениных долгие годы. «Поздравляю тебя,

мой друг Петр, — писал в десятилетнюю годовщину этого события Алексей Николаевич сыну, — со днем знаменитого входа русского воинства под начальством личным царя русского — в город Париж! — Торжество, в котором и ты участвовал, мой друг! — Как мало уже людей осталось, которые были свидетели или действующие лица — исполинских усилий России! В блестящие для нее времена!!!»

Точно известно, что виделся Батюшков в Париже с Денисом Давыдовым. Позднее Батюшков вспоминал их горячие философские споры. О чем именно спорили — сказать трудно, но можно догадаться, что каждый остался при своем мнении. В одном из писем 1815 года, вспоминая встречи с Денисом Васильевичем в Париже, Батюшков отмечает, что глубокий ум «нашего милого рыцаря... затмевается иногда, когда он вздумает говорить о метафизике» ^[281].

Через день-два после взятия Парижа Батюшков оказался рядом с Вандомской колонной в тот момент, когда ревностные французские монархисты взялись за ее снос, считая, что русские не сделали этого лишь за недосугом. Для них было полной неожиданностью, что русские офицеры воспрепятствовали сносу, а Александр I распорядился выставить для охраны колонны караул. Одним из тех, кто пытался объяснить французам ценность памятников для истории народа, был русский поэт. Когда он восседал на лошади, от него было не оторвать глаз: мягкие черты лица, белокурые длинные волосы, спадающие на эполеты, изящество жестов.

Через тридцать лет у Вандомской колонны будет стоять другой русский поэт — двадцатилетний Аполлон Майков. Он обнаружил то же почтение к памятнику французской истории, которое проявил Батюшков. «Колонна Вандомская — самая высочайшая из парижских колонн. Прекрасная мысль: поставить наверху этой колонны маленького капрала...» — записал Майков в дневнике. Затем он сравнивает Вандомскую колонну с петербургской Александровской колонной: «Как по мысли, так и по выполнению эта статуя лучше Ангела в длинной, глупой рясе, поставленного на Александровской колонне...» ^[282]

Молодые люди во все времена судят о делах предков с безапелляционностью. Вот и юный Майков, написавший годы спустя «Светлый Ангел упования / Пролетает над толпой...», глубокомысленно заключает, что на Александровскую колонну

«надобно было поставить не Ангела, а статую Александра: пусть бы два соперника имели бы на двух концах Европы одинакие монументы, ибо славы отнять ни у того, ни у другого нельзя; пусть бы переглядывались между собою...»^[283].

Эта идея, должно быть, понравилась бы Льву Николаевичу Толстому в период работы над «Войной и миром», но в 1814 году никому из русских людей не пришло бы в голову ставить на одну доску Наполеона и Александра.

* * *

17 мая 1814 года Батюшков пишет из Парижа Вяземскому: «При всяком отдыхе я думал о тебе и о России... Я с удовольствием воображаю минуту нашего соединения: мы выпишем Жуковского, Северина, возобновим старинный круг знакомых и на пепле Москвы, в объятиях дружбы, найдем еще сладостную минуту, будем рассказывать друг другу наши подвиги, наши горести и, притаясь где-нибудь в углу, мы будем чашу ликovou передавать из рук в руки...»^[284]

Глава восьмая

*Минутны странники, мы ходим по гробам;
Все дни утратами считаем;
На крыльях радости летим к своим
друзьям, —
И что ж? их урны обнимаем.*

К. Н. Батюшков. К другу. 1815

Другой Батюшков. — Вездесущая ложь. — «Когда прошло время ужаса...» — Карета превращается в тыкву. — Жуковский и доктор Фор. — История с Алешей Шипиловым

Михаил Дмитриев, которого война застала подростком, вспоминал: «Надобно и то сказать, что после 1815 года вся Россия ожила новою жизнью! Всем было легко и свободно, и все веселилось»^[285]. Но это было не совсем так.

Константин Батюшков вернулся с войны растерянным и грустным. На долгом возвратном пути он будто потерял всю радость от взятого Парижа и долгожданной победы. Даже сознание исполненного долга не утешало его. Кажется, что совершенно не впечатлил его и праздник в честь Александра I в Петербурге, где исполнялось песнопение Бортнянского на стихи Батюшкова. Государыня прислала Батюшкову бриллиантовый перстень, который он ни разу публично не надел, а вскоре отослал в Хантоново сестре Вареньке.

Затянувшееся ликование в петербургских гостиных казалось ему почти кощунственным: столько жертв, столько горя, столько руин — чему тут можно радоваться? Милитаризм отсидевшихся в тылу стихотворцев вызывал у него раздражение. Война давно стала для него абсолютным злом, и всякое украшение этого зла бантиками было ему отвратительно.

Героем Батюшков себя не чувствовал. С недоумением читал он в столичных газетах и журналах бравурные репортажи и патриотические статьи. Когда он еще из армии писал: «Не могу простить нашим

журналистам их вранья, от которого я болен сделался...» (в письме Гнедичу из Веймара 30 октября 1813 года), то имел в виду прежде всего не искажение фактов, а *тон* русской периодики (петербургской по преимуществу), который легко сочетал в себе мальчишеское бахвальство, старческое многословие и откровенное верноподданничество. Полвека спустя об этой особенности русской журналистики (в связи с совсем другими событиями) Вяземский скажет наотмашь: «Как мы ни радуемся, а все похожи мы на дворню, которая в лакейской поет и поздравляет барина с именинами...»

В дневниковых заметках 1817 года «Чужое: мое сокровище!» Батюшков пишет: «Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812, 13 и 14, видел и читал газеты и современные истории. СКОЛЬКО ЛЖИ!»^[286] Последние два слова он выделил прописными буквами.

То, что пресса и официальные сообщения пропитаны чрезмерным пафосом и непомерными преувеличениями, чувствовали не только вернувшиеся генералы и офицеры, но и простые обыватели. Мария Волкова, как все светские девушки, весьма, казалось бы, далекая от общественно-политической реальности, 9 сентября 1813 года пишет подруге: «С некоторых пор приняли метод пускать пыль в глаза и обманывать честной люд реляциями, но дело-то в том, что никто не верит печатным известиям, которые совершенно противоречат частным письмам...»^[287]

5 апреля 1815 года Мария высказывает в письме мысли и чувства, которые, думается, не раз посещали в ту пору и Батюшкова: «Верно, нам следует искупить много грехов, что мы не сумели воспользоваться испытанием, посланным нам Провидением два года тому назад. Иногда мне кажется, что мы нисколько не исправились, а стали еще хуже. Когда прошло время ужаса, все зажили по-прежнему. Сердца наши очерствели...»^[288]

Через несколько дней Мария пишет: «Подчас я чувствую такое отвращение ко всем и ко всему, что мне хочется убежать за тридевять земель. Мы занимаемся такими пустяками и так мало заботимся о достижении цели, для которой мы созданы, что ужас охватывает, когда подумаешь о том, что нас ожидает по смерти...»^[289]

Батюшков не мог жить по-прежнему, даже если бы и захотел. В слишком глубокую пропасть он заглянул. Европейская цивилизация, которую он так ценил, и европейская культура, которую он так хорошо знал и любил, — все это потеряло для него и блеск и привлекательность. Как в сказке про Золушку: пробил час, и роскошная карета превратилась в тыкву.

«Как мы переменились с одного счастливого времени, — сетует Батюшков Жуковскому 3 ноября 1814 года, — когда у Девичьего монастыря ты жил с музами в сладкой беседе! Не знаю, был ли тогда счастлив, но я думаю, что это время моей жизни было счастливейшее: ни забот, ни попечений, ни предвидения! Всегда с удовольствием живейшим вспоминаю и тебя, и Вяземского, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы...»^[290]

На время военного похода поэт хотя бы отчасти забывал о своей бедности и неустроенности, а дома его вновь обступили долги, заботы о том, чем жить. Имение было заложено, и невозможно было его бесконечно перезакладывать. Поэтому Батюшков вынужден был вновь попроситься в библиотеку к Оленину, хотя неоднократно давал себе зарок нигде более не служить и отдаться исключительно литературным трудам.

Оленин молчал, а Батюшков страдал от неизвестности. Заботливый Гнедич обратился за помощью к Старушке (арзамасское прозвище Сергея Семеновича Уварова), чтобы тот устроил Батюшкова по своему ведомству. На это Батюшков возмущенно взрывается: «Человеку, который три войны подставлял лоб под пули, сидеть над нумерами из-за двух тысяч и пить по капле все неприятности канцелярской службы?.. Из-за двух тысяч!!! Но скажу решительно: если обстоятельства занесут меня в Петербург, то место, если может быть такое, немного свойственное, приличное моим занятиям и охоте к словесности, было бы приятно. Но это все буки. А я просил записать меня куда-нибудь, чтобы я мог избежать дворянских выборов и хлопот, сопряженных с ними: вот о чем я просил, и ты меня не понял или не хотел понять. Впрочем — воля Божия! — ничего не хочу, и мне все надоело. Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты: я живу у сестер в гостях, и домашние дела меня замучили...»^[291]

Теперь из всех древних поэтов ему ближе всего Данте и он собирается переводить «Ад» прозой. Каждый день читает Библию и думает о том, что будь он моложе и здоровее, то непременно взялся бы за ее перевод на современный литературный язык. В письме Гнедичу восклицает: «Когда переведут Священное писание на язык человеческий? Дай Боже! Желаю этого!»^[292]

Ему всего двадцать восемь лет, а он чувствует себя стариком. Два года войны Батюшков приравнивает к двум векам (тем самым он будто переносит себя в 2014 год!). В том же письме Жуковскому он пишет: «Два века мы прожили с того благополучного времени. Я сам крутился в вихре военном и, как слабое насекомое, как бабочка, утратил мои крылья...»^[293]

Батюшков вдруг обнаруживает, что и после огромных жертв, после гибели Москвы, после надругательств над верой — самым святым, что есть у народа — Наполеон по-прежнему остается кумиром у большей части дворянской молодежи. Тиран, принесший столько горя Отечеству, вовсе не отвержен в русских умах.

Батюшков будто чувствовал, что за очередным поворотом истории уже притаился не видимый пока никому Смердяков: «В Двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Какой-то горький парадокс был в том, что одно русское поколение за другим попадало в психологический плен к Наполеону, в зависимость от мифа о нем. Наполеон был их тайным мучителем. Когда Батюшков заболел, он часто говорил о французском императоре, с каждым годом все более превознося и чуть ли не обожествляя его.

Василий Андреевич Жуковский одно из лучших своих стихотворений, «Ночной смотр», посвятил памяти Наполеона:

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом

Он медленно едет по фронту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками...

Константин Леонтьев, родившийся через двадцать лет после войны, вспоминал: «Я слышал от матери моей... столько рассказов о 12-м годе, так много с ранних лет читал о нашествии французов; я так любил и чтил самого Наполеона и вместе с тем *так гордился его поражением* в России...»^[294]

Но это все будет потом, а пока Батюшков с болью пишет Вяземскому: «Мы ходим по развалинам и между гробов... А Наполеон живет, и этот ИЗВЕРГ, ПОДЛЕЦ дышит воздухом. Удивляюсь иногда неисповедимому Провидению. Дай Бог, чтоб ему свернули шею скорее или разгромили это подлое гнездо, которое называется Парижем. Ни одно благородное сердце не может любить теперь этого города и этого народа... Бог наделил его всем: и умом, и острою, и храбростию, и после отступился от него...»^[295]

То, что обаяние всего французского не сильно померкло и после войны, удручает Батюшкова. Нет, поэт уже не пылает мезтью и готов смириться с тем, что некоторые взятые в плен французы не спешат к себе домой, а устраиваются в России дворниками и швейцарами, гувернерами и парикмахерами, врачами и садовниками. (К концу 1814 года в российское подданство официально перешли 17 офицеров и 2221 рядовой наполеоновской армии.)

Но повидавшему столько крови и страданий Батюшкову было бы трудно понять благодущие Жуковского, узнай он, что Василий Андреевич посвятил стихи бывшему врачу наполеоновской армии.

Сын Эскулапа, Фебов внук,
По платью враг, по сердцу друг...

Мсье Фор попал в плен под Малоярославцем и оказался в имении Чернь, принадлежавшем Плещеевым, близким друзьям Жуковского. В 1813 году французский доктор успешно лечил Машу Протасову, за что поэт был ему, конечно, признателен. Фор придавал особое значение режиму дня своих пациентов, и это было понятно Жуковскому, который всегда стремился к четкой организации своей жизни и работы, с юности составлял планы на каждый день и старался им следовать.

У Олениных поселился перешедший в русское подданство пленный француз Матье Пикар. Он воевал в 1-м корпусе маршала Даву, участвовал в Бородинском сражении, в котором погиб сын Олениных Николай. Сохранилась расписка Алексея Николаевича: «1814 года февраля 1-го дня военнопленный француз Матвей Пикар (по объявлению его уроженец города Лиона, служивший рядовым в 33-м линейном французском полку) мною принят для отправления его немедленно в Шлюссельбургский уезд на мызу Приютино, где он жить будет, с дозволения правительства». Пикар женился на русской девушке и мирно окончил свои дни в стране, которую пришел завоевывать мечом.

Из тех французов, кто навсегда остался после войны в России, наиболее известна судьба Жана Батиста Савена, бывшего лейтенанта 2-го гусарского полка 3-го армейского корпуса маршала Нея, участника Египетских походов и Аустерлица, ставшего у нас Николаем Андреевичем Савиным. Более шестидесяти лет он преподавал в Саратовской гимназии, умер в 1894 году в возрасте 126 лет в окружении детей, внуков и правнуков...

В первой трети XIX века «французская проблема» оставалась для русского дворянства самым острым культурным вызовом. В марте 1816 года дискуссия о воспитании и образовании детей возникла между Константином Батюшковым и родственной ему семьей Шипиловых. Все началось с того, что сестра Елизавета Николаевна и ее муж Павел Алексеевич попросили Батюшкова помочь им найти гувернера-иностранца для девятилетнего сына Алеши.

Константин Николаевич очень любил племянника, и эта привязанность была взаимной. «С каким бы удовольствием я обнял моего Олешу, истинно моего, ибо я его всегда любил, и готов бы был избаловать»^[296], — пишет Батюшков в одном из писем.

Десятилетний Алеша Шипилов первое в жизни письмо посылает любимому дяде: «Милой дядинька! Вы меня оставили — я еще не умел пера взять в руки, а теперь могу уже написать, что я люблю и помню вас. Когда приедете, то скажу вам басеньку наизусть. Приезжайте, дядюшка, маминька и папинька вас ждут, и я побегу вам навстречу...»^[297]

Свои взгляды на образование Батюшков изложил во взволнованном (и с точки зрения педагогики — по сей день актуальном) письме: «Ты, любезный брат, и сестра Лизавета Николаевна, требуете от меня советов и пособий насчет гувернера для Алешеньки. Долгом поставляю говорить с Вами откровенно... Первое, по справкам моим оказалось, что здесь иностранцев, достойных уважения, мало, особенно французов... Беспокойство ваше насчет сына кажется мне излишне: он по-французски болтает резво: этого довольно. Язык у него изломан, на первый случай более не надобно... Вижу по всему, что не человека из него хотите сделать, а редкого ребенка. Суетное желание! Пагубное! Послушайте моего совета. Учите его болтать по-французски сами (в разговоре более научится этому ремеслу, нежели в книгах), продержите лето в деревне, на воздухе, два часа в день за книгами, за русскою грамматикою, а с осени, если рассудите, или зимою отдайте мне, или я с братом вместе отправлюсь в Москву и здесь вручим его Алтонскому, директору Благородного пансиона при Университете... Я ручаюсь (зная его способности, и воспитание, и образ учения здешнего), что из него выйдет человек, годный на службу царскую, человек грамотный и светский. Вот мой совет. Если вы отбросите и суетность, и предубеждения деревенские, то увидите ясно, что говорю истину. Достать вам иностранца, посадить в кибитку и отправить мне нетрудно: но какая польза из того?..

По зиме Алеше будет около десяти или одиннадцати лет. Пора с ним расстаться... Лучше расстаться ранее, нежели взять в дом урода морального, каковы по большей части все выходцы из земли Вольтеровой, или невежду, ибо они — я, право, не лгу — едва ли и читать умеют: так переродилась вся Нация!.. По совести, я ни одного не знаю француза, которому бы поручил моего сына...»^[298]

Шипиловы, и особенно Елизавета Николаевна, ни за что не хотели посылать Алешу учиться в Москву и настаивали на том, чтобы

Батюшков нашел им столичного учителя и желательно — француза. Может возникнуть вопрос: почему Шипиловы не могли пригласить в учителя кого-либо из вологодских «французов», ведь в Вологодской губернии находились более тысячи пленных солдат и офицеров? Но дело в том, что к 1816 году почти все пленные отбыли с сурового Севера к себе на родину, а немногие оставшиеся были мастеровыми (именно пленным с рабочими специальностями русское правительство предложило ряд льгот в том случае, если они остаются жить в России), и хотя бы поэтому на роль гувернеров не годились.

Батюшков, понимая материнские чувства сестры, обращался к трезвому разумению Павла Алексеевича: «Что касается до учителя, милый друг, то я настою на том, что писал к тебе недавно (получил ли мое письмо?)... Нет учителей, и не сыщешь в скором времени. Надобно на это по крайней мере год, чтобы напасть счастливо. Притом же, клянусь моей честью (какая мне нужда вас обманывать?), что Алеша может учиться и дома: тише едешь, дале будешь. Болтать по-французски он умеет и может еще более научиться дома, писать по-русски, по-немецки, по-французски, немного географии, истории, арифметики первые правила: вот что нужно, необходимо. Если бы вы взяли на часы учителя латинского из Семинарии, в грубом хитоне, что нужды! то это увенчало бы совершенно его домашнее воспитание. Что касается до француза, то редкий может учить сим наукам. За тысячу будет пирожник, за две — отставной капрал, за три — школьный учитель из провинции, за пять, за шесть — аббат. А я за них за всех на выбор гроша не дам для Алеши, и знаю, что говорю... До зимы, Бога ради, ничего не делайте: верьте мне, что летний деревенский воздух, общество родителей, благие примеры и счастье полезнее французов, французского языка и модных слов. Последнее даром или легко дается, а первое редко, очень редко, даже и детям...»^[299]

Павел Алексеевич соглашался: «Ум без сердца пагубен будет несчастному юноше. Он изроет могилу бедным его родителям»^[300].

После долгих обсуждений порешили на том, чтобы отдать Алешу в пансион при Петербургском педагогическом институте, куда его и отвез «милый дядинька» Батюшков. Педагогический институт считался не менее элитным учебным заведением, чем Царскосельский лицей или Благородный пансион. В нем, к примеру, в те же годы учился

Борис Юсупов — единственный сын богатейшего вельможи князя Николая Борисовича Юсупова.

Говоря о дальнейшей судьбе Алексея Шипилова, приходится признать, что материнские предчувствия не были напрасными. Не зря Елизавета Николаевна всеми силами пыталась удержать сына при себе. Светский Петербург захватил душу провинциального отрока. После окончания института и вступления на военную службу Алексей отличился в каких-то гусарских шалостях, попал в немилость к начальству и вскоре скончался при неясных обстоятельствах...

Глава девятая, прощальная

*Провидение! будь ко мне помилостивее!
Друзья, не переставайте любить меня!*

*К. Н. Батюшков — П. А. Вяземскому, 23
июня 1817 г.*

Завещание. — Две обители. — Дорога в Прилуки. —
«Здесь лежит Батюшков...» — История про синюю коляску

Наконец-то Оленин соглашается вновь принять Батюшкова на службу. Но Константин Николаевич чувствует себя все хуже и хуже. В марте 1818 года он вынужден просить отпуск, из которого в библиотеку он уже более не вернется: «Милостивый государь Алексей Николаевич, Вашему превосходительству известно, что я утратил мое здоровье на службе: три войны и тяжелая рана расстроили его совершенно. Медики советуют мне лечиться купанием в морской воде и воздухом Тавриды. Осмеливаюсь прибегнуть к Вам, милостивый государь, с моею усерднейшею просьбою об увольнении меня из Императорской библиотеки в отпуск на пять месяцев. Но, желая употребить в пользу оной и самое путешествие, покорнейше прошу дать мне какое-нибудь поручение для отыскания древностей или рукописей на берегах Черного моря, в местах, исполненных воспоминаний исторических. Поручения Вашего превосходительства выполню с ревностью и точностию, сколько позволит мое здоровье и обстоятельства. Надеюсь, что Вы, милостивый государь, не отринете усерднейшей просьбы человека, который пламенно желает быть полезным по мере сил своих и способностей...»^[301]

Какая все-таки горькая (и потому очень русская) судьба у Батюшкова: все пули и ядра войны с Наполеоном пролетели мимо него, а наследственная болезнь сразила в самом цветущем возрасте. Нет, недаром Батюшков так опасался вязкой рутины будней — он словно чувствовал спрятавшуюся там беду.

Сколько драгоценных лет было вырвано из его жизни душевным недугом! Какая зияющая пустота осталась в русской литературе там, где Константин Николаевич должен был жить и творить...

Батюшков умер в Вологде летом 1855 года. Похоронили его в Спасо-Прилуцком монастыре. Поэт завещал похоронить себя рядом с могилой Модеста Гревеница, сына своего племянника. Батюшков любил играть с маленьким мальчиком и горько оплакивал его раннюю смерть.

Свято-Прилуцкий монастырь находится близ Вологды, хотя и не на возвышенности, но в красивой излучине реки. Основан он был Димитрием Прилуцким, учеником преподобного Сергия Радонежского. Уединенность спасла монастырь в XX веке, и он, к счастью, не разделил судьбы вологодского Свято-Духова монастыря, где в 1853 году была похоронена сестра поэта Елизавета Николаевна.

Свято-Духов монастырь возник во второй половине XVII века на месте иноческих подвигов преподобного Галактиона, основателя Вологды. В 1950-е годы он был разрушен вместе с монастырским некрополем. На месте древней обители построили стадион «Динамо», куда я в детстве бегал вместе с мальчишками на футбол.

Только лет в двенадцать от старушки-соседки Клавдии Павловны Степановой я узнал о том, что стадион построен на костях славных предков. Помню, меня так поразило это известие, что название разрушенного монастыря — Духов — надолго стало синонимом чего-то трагического и скорбного.

А в Спасо-Прилуцкий монастырь, в село Прилуки, мы часто ездили с бабушкой. Садись на автобус у вокзала и ехали до конечной остановки. Потом шли по крутым валам к реке или бродили вокруг монастыря. Иногда мы приплывали сюда из города на лодке, которую брали на лодочной станции. Монастырь появлялся из-за поворота реки как сказочный Китеж.

Прилуки и притягивали меня, и пугали. Опустевшая заброшенная обитель (здесь уже не было военного склада, но не было еще и музея) жила какой-то невидимой жизнью, и прикосновения этой жизни я остро ощущал.

Время в Прилуках текло не так, как в городе. Оно, казалось, вовсе никуда не текло. Оно затаилось. Огромные монастырские башни подпирали низкое небо. Им помогали такие же древние и неохватные

тополя. Кляксы вороньих гнезд чернели в кронах. От карканья ворон холодок бежал по спине.

И всегда тут было как-то безлюдно, сиротливо. От монастырского некрополя в советские годы уцелела лишь могила Батюшкова. Кажется, это была первая могила, которую я видел в своей жизни. Помню несколько покосившееся маленькое белое надгробие. Летом оно чуть выглядывало из заросшей травы, а зимой — чуть виднелось из-под снега.

Я еще не умел читать, и дедушка говорил: «Здесь лежит Батюшков...» И слово «Батюшков» звучало как вздох о чем-то милом и родном.

Это милое и родное я бы назвал сейчас детством русской поэзии. Как всякое детство, оно невосвратно. Как всякое первое счастье, оно незабвенно...

* * *

Странные сближения, о которых писал Пушкин, бывают не только в литературе и в «большой» истории, но и в нашей жизни.

Именно к Прилуцкому монастырю я приехал, когда у меня родилась первая дочка и я нигде не мог купить детскую коляску. И вот вдруг услышал мимоходом: в Прилуки, в местный магазин, завезли прибалтийские коляски.

Я примчался, зашел в тесное сельпо, где среди всякой всячины, в темном закутке нашел коляску. Это была восхитительная коляска, сделанная в городе Лиепая. Снаружи синяя, а внутри белая с небесно-голубыми цветочками. Других вариантов не было, да мне и не нужны были другие. Я уже смотрел на эту коляску, как на родную. Будто чувствовал, что рядом с ней я проведу лучшие минуты жизни.

Лихорадочно подсчитал деньги: как раз хватит. Мне пробили чек. Я выкатил коляску на пыльную площадь. Вскоре показался обшарпанный автобус. Не успел я подхватить коляску, как автобус набился под завязку. Пришлось его пропустить. К штурму второго я приготовился, но коляска не лезла в автобус — мешали поручни. Пассажиры, видя мои мучения, вызвались помочь и стали тянуть

коляску на себя. Коляска стонала и скрипела от натуги, но пропихиваться в душный салон не хотела.

Вдруг какая-то старушка потянула меня сзади за рубашку: «Милок, не ломай добрую вещь. Ты покати ее просто, у нее же колеса...»

Я вдруг как очнулся, вернулся с коляской на землю. Автобус, грузно раскачиваясь, скрылся в клубах пыли.

Тут пошел дождь. Я подставил ему разгоряченное лицо и стоял так посреди площади совершенно счастливый: у коляски есть колеса, и их целых четыре! Два-три километра до дома я буду своими руками катить эту единственную в мире коляску — еще без ребенка, но уже полную блаженной радости.

Поднимая у коляски крышу, я обнаружил внутри большой кусок полиэтилена. Благоразумно было бы накинуть его на себя, но я укрыл полиэтиленом драгоценную коляску. Тротуара за городом не было, я продвигался по краю разбитой дороги, вдоль которой щедрой рукой были расставлены плакаты, славящие перестройку и ускорение. Мокрая джинсовка липла к спине, и я чувствовал, как у меня растут крылья.

Пересекая с коляской центр города, я заметил пеструю толпу людей на Соборной горке. В микрофон говорили речи, играла музыка. В иной час я бы непременно полюбопытствовал, что там происходит. А тут я только подумал: и что они там празднуют? Лучше бы посмотрели, какую красивую коляску я купил.

Потом оказалось, что в тот день, 29 мая 1987 года, исполнялось двести лет со дня рождения Константина Батюшкова, и на берегу реки ему открывали памятник.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК ПЕТИН
(Иван Александрович Петин. 1788–
1813)

Глава первая

Не видишь ли Петина? Вот добрый друг!

*К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу, декабрь
1810 г.*

Первое впечатление. — Родители. — Пансион. — Знакомство с Батюшковым. — Первое ранение. — Поход в Швецию. — Битва у Индесальми. — Незабудки. — Опять война

Константин Батюшков вспоминал о первом впечатлении от Петина: «Счастливое лицо, зеркало доброты и откровенности, улыбка беспечности, которая исчезает с годами и с печальным познанием людей, все пленительные качества наружности и внутреннего человека достались в удел моему другу. Ум его был украшен познаниями и способен к науке и рассуждению, ум зрелого человека и сердце счастливого ребенка...»^[302]

Сохранился рисунок Батюшкова, на нем изображен молодой офицер — сильный, красивый, с чеканным профилем римского полководца. Считается, что таким Батюшков изобразил Петина. Сравнить не с чем — других портретов Ивана Петина до нас не дошло.

Он принадлежал к старинному дворянскому роду. Отец — Александр Борисович Петин, ротмистр в отставке. Учился Иван Петин в Московском Благородном пансионе вместе с Жуковским, Кайсаровым, братьями Тургеневыми. При выпуске был награжден золотой медалью, о чем 23 декабря 1803 года сообщила газета «Московские ведомости».

Басня «Солнечные часы», написанная двенадцатилетним мальчиком во время пребывания в Благородном пансионе, — одно из немногих сохранившихся произведений Ивана Александровича Петина. Очевидно, по просьбе Батюшкова эти стихи в 1811 году вошли в антологию Жуковского «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших русских стихотворцев»:

На улице большой, широкой,
На башне не весьма высокой,
Для пользы, или для красы,
Стояли Солнечны часы.
Пока был день, и свет блистал,
Пока он башню освещал:
Кто мимо тех часов ни шел,
Всяк, подходя, на них смотрел —
Сокрылся день, и солнца нет:
Никто к часам не подойдет.
Счастливыцы мира! Не гордитесь,
И на того вы не сердитесь,
Кто скажет вам,
Что вы — подобны сим часам.

Юноша продолжил образование в Пажеском корпусе, где учился столь же блестяще, а потому по окончании корпуса Иван был определен в гвардию.

Бравый гвардеец, толковый и требовательный командир, знавший все тонкости армейской науки, в мирной жизни он производил впечатление застенчивого ребенка, часто краснел, стеснялся своих стихов.

Батюшков, вспоминая друга и размышляя о таинстве дружбы, писал: «Души наши были сродны. Одни пристрастия, одни склонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия теснили наш союз. Часто и кошелек, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие...»^[303]

Батюшков и Петин познакомились во время похода нашей армии в Германию в марте 1807 года. У них оказались общие знакомые и приятели, а главное — они вдруг, по первому разговору, почувствовали согласие и дум своих, и сердец. То счастливое и глубокое согласие, которое позволяет друзьям обходиться потом и без слов, и даже без частых встреч.

Что они вспоминали в том шалаше, на биваке, когда сильные весенние ливни не давали войскам двинуться вперед? Иван и Константин были еще совсем юные, по нынешним временам — мальчишки. Должно быть, молодые офицеры вспоминали детство, матушкины кушанья и отцовские книги, обстановку родительского дома (по достатку и укладу жизни семьи друзей были схожи).

Первые ранения они получили почти одновременно: Батюшков — 29 мая, под Гейльсбергом, а Петин — 2 июня, под Фридландом. Молодые офицеры крепко сдружились.

«Мы были ранены в 1807 году, я — сперва, он — после, и увиделись в Юрбурге. Не стану описывать моей радости. Меня поймут только те, которые бились под одним знаменем, в одном ряду и испытали все случайности военные. В тесной лачуге на берегах Немана, без денег, без помощи, без хлеба (это не вымысел), в жестоких мучениях, я лежал на соломе и глядел на Петина, которому перевязывали рану. Кругом хижины толпились раненые солдаты, пришедшие с полей несчастного Фридланда, и с ними множество пленных...»^[304]

Поручик Батюшков за отличие в боях был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, поручик Петин — орденом Святого Владимира 4-й степени, а также золотым оружием с надписью «За храбрость».

Через год — новая война, новый поход. На этот раз в Швецию. 15 октября друзья участвуют в битве у Индесальми, селения в Финляндии. Правда, Иван Петин был со своими егерями в гуще сражения, а подразделение Константина Батюшкова находилось в резерве.

Батюшков так вспоминал об этом бое: «Под Иденсальми шведы напали в полночь на наши биваки, и Петин с ротой егерей очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славою. Его вынесли на плаще, жестоко раненного в ногу. Генерал Тучков осыпал его похвалами, и молодой человек забыл и болезнь, и опасность. Радость блистала в глазах его, и надежда увидеться с матерью придавала силы. Мы расстались и только через год увиделись в Москве.

С каким удовольствием я обнял моего друга! С каким удовольствием просиживали мы целые вечера и не видели, как улетало время!...»^[305]

Уже в Москве Батюшков, чтобы поддержать друга, написал шуточные «мемуары» в стихах. В них он вспоминает, как собирал незабудки в лесу и готовил ужин, в то время как Иван сражался на поле брани.

Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал...
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготавливал... ^[306]

Когда Петин разболелся в Петербурге, Батюшков просит Гнедича: «Бога ради, съезди к нему и скажи: каков он? Это я назову истинным ^[307] одолжением».

Лето 1812 года. Весть о начале войны с Наполеоном застала Ивана Петина и его лейб-гвардии Егерский полк в Вильно. «Лишь только стало известно о вторжении французов, гвардейским полкам приказано было собираться к Свенцянам; сюда прибыл и лейб-гвардии Егерский полк и расположился лагерным порядком на биваке... Хотя перед выступлением из Петербурга Государь приказал выдавать на каждого нижнего чина по четыре чарки водки и полтора фунта мяса или рыбы в неделю, стоянка в Свенцянах была так дурна и затруднения относительно продовольствия так велики, что было приказано провиант собирать реквизицией...» ^[308]

Глава вторая

*От родительского крова
Я опять на море бед.*

К. Н. Батюшков. К Петину. 1810

Марш-бросок гвардейских егерей: Свенцяны. — Витебск. — Смоленск. — Письмо, написанное на барабане. — Утро сражения. — Ранение в ногу. — Подвиг капитана Петина. — Материнский лазарет

Среди тех, кто отступал от Свенцяны в 1812 году, был и 24-летний капитан лейб-гвардии Егерского полка Иван Петин.

15 июля егеря были в Витебске. 19-го уже обороняли Смоленск, преодолев по жаре 75 верст за 38 часов.

Накануне Бородинского сражения Петин успел написать другу письмо. Переписки друзей не сохранилось, но в воспоминаниях Батюшкова есть пересказ письма Петина из села Бородина.

«...Я получил от него письмо из армии, с поля Бородинского, накануне битвы. Мы находились в неизъяснимом страхе в Москве, и я удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту. В нем описаны были все движения войска, позиция неприятеля и проч. со всею возможною точностию: о самых важнейших делах Петин, свидетель их, говорил хладнокровно, как о делах обыкновенных. Так должен писать истинно военный человек, созданный для сего звания природою и образованный размышлением; все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души. На конце письма я заметил несколько строк, из которых видно было его нетерпение сразиться с врагом, впрочем, ни одного выражения ненависти...»^[309]

На Бородинском поле Иван Петин оказался среди тех русских воинов, кто первым принял на себя удар французов. В 5.30 утра более ста французских орудий начали артиллерийский обстрел позиций

левого фланга русской армии. Под прикрытием утреннего тумана на село Бородино, которое занимали наши гвардейские егеря, обрушилась дивизия генерала Дельзона.

Командир полка полковник К. И. Бистром приказал капитану Петину взять 3-ю гренадерскую и 9-ю егерскую роты и контратаковать противника, что «было выполнено капитаном Петиным с замечательным мужеством; при этом он был ранен... Сбитый несравненно сильнейшим противником капитан Петин, не взирая на полученную им выше колена рану, собрал и привел роты в боевой порядок под сильным неприятельским огнем и затем ударил вторично на неприятеля в штыки...»^[310]. За Бородино Иван Петин был награжден орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами.

Оставшиеся в живых участники сражения рассказывали, что «в этом бою даже писари хватали ружья убитых товарищей и бросались на врага». Полк потерял 27 офицеров (из них восемь были убиты или умерли от ран) и 693 нижних чина.

После ранения Петин лечился в родном имении близ Владимира. Доктора признавали рану опасной. А Батюшков — по своему военному опыту тогда уже вовсе не новобранец — по-мальчишески завидовал Петину: «Счастливый друг, ты пролил кровь свою на поле Бородинском, на поле славы и в виду Москвы, тебе любезной, а я не разделил с тобой этой чести. В первый раз я позавидовал тебе, милый товарищ, в первый раз с чувством глубокого прискорбия и зависти смотрел я на почтенную рану твою!...»^[311]

Батюшков восхищался самоотверженностью мамы Ивана Петина, Александры Павловны. Она, не надеясь на усердие врачей, сама выходила сына, и он скоро вернулся в строй.

Глава третья

*На предпоследнюю войну
Бок о бок с новыми друзьями
Пойдем в чужую сторону.
Да будет память близких с нами!*

Арсений Тарковский

Встреча с Батюшковым в Богемии. — Разговоры в шалаше. — «Прогулки по Москве»

Друзья вновь встретились в Заграничном походе, в Богемии. Батюшков служил адъютантом у генерала Николая Николаевича Раевского, командовавшего Гренадерским корпусом. Петин командовал 1-м батальоном лейб-гвардии Егерского полка.

Несколько лет спустя Батюшков перебирал в памяти драгоценные подробности той счастливой встречи. «...Я сижу в шалаше моего Петина, у подошвы высокой горы, увенчанной развалинами рыцарского замка. Мы одни. Разговоры наши откровенны; сердца на устах; глаза не могут насмотреться друг на друга после долгой разлуки. Опасность, из которой мы исторглись невредимы, шум, движение и деятельность военной жизни, вид войска и снарядов военных, простое угощение и гостеприимство в ставке приятеля, товарища моей юности, бутылка богемского вина на барабане, несколько плодов и кусок черствого хлеба, *parca mensa*^[312], умеренная трапеза, но приправленная ласкою, — все это вместе веселило нас как детей. Мы говорили о Москве, о наших надеждах, о путешествии на Кавказ и мало ли о чем еще! Время пролетало в разговорах, и месяц, выходя из-за гор, отделяющих Богемию от долины дрезденской, заставал нас, беспечных и счастливых, посреди сердечных излиятий откровеннейшей дружбы, дружбы, которой одно воспоминание мне драгоценнее и честей, и славы...»^[313]

«Мы говорили о Москве» — это значит, что вспоминали утраченную навсегда допожарную Москву, ту Москву, где «все влюблены или стараются влюбляться». Константин и Иван перебирали в разговоре любимые уголки милого сердцу города, ставшего вдруг одним лишь воспоминанием.

О чем именно вспоминали друзья, можно представить по очерку «Прогулки по Москве», написанному Батюшковым перед самой войной.

«...Теперь, на досуге, не хочешь ли со мною прогуляться в Кремль? Дорогою я невольно восклицать буду на каждом шагу... Когда вечернее солнце во всем великолепии склоняется за Воробьевы горы, то войди в Кремль и сядь на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за рекою! Направо Каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих; далее — Голицынская больница, прекрасное здание дома графини Орловой с тенистыми садами...»^[314]

Конечно, они вспоминали и Тверской бульвар, где в юности они провели столько беспечных часов, где царит «совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится», где «страсти засыпают; люди становятся людьми» и «все кажутся счастливыми»^[315].

Как много промыслительного было в этом очерке, опубликованном только через полвека после написания. Панорама Москвы дается в нем не только с топографической точностью, но и с любовью, обостренной смутным предчувствием утраты всей этой первопрестольной красоты. И даже случайное, вроде бы лишь для красного словца вырвавшееся упоминание о Германии, оказывается моментом непостижимой прозорливости: «Тот, кто, стоя в Кремле... не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо все великое, ибо он жалостно ограблен природою при самом его рождении; тот поезжай в Германию и живи и умирай в маленьком городке, под тенью приходской колокольни...»^[316]

И вот через два года после написания этих строк друзья сидели на окраине маленького немецкого городка, под тенью старого замка, но вовсе не собирались умирать.

Глава четвертая

Чего бояться, господин Поэт?..

*Генерал Раевский — К. Батюшкову в битве
под Лейпцигом, 4 октября 1813 г.*

Битва народов. — Роковой день 4 октября. — Ранение генерала Раевского. — Гибель Петина

3 октября началось одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории — Битва народов под Лейпцигом. Она продолжалась три дня.

Восемнадцатилетний Никита Муравьев, только прибывший в Польскую армию Беннигсена, писал матери: «После четырех переходов услышали мы страшную канонаду и получили повеление ускорить маршем, потому что Большая действующая наша армия, соединенная с австрийцами, атаковала уже французов под городом Лейпцигом. Мы пришли 5 октября, примкнули к австрийцам и 6-го числа все вместе атаковали неприятеля, дрались до самой ночи и совершенно его разбили...»^[317]

Но критическим днем было 4 октября.

Батюшков был, как обычно, рядом с Раевским, а значит — в гуще боя, на самых опасных участках. Поистине Бог особо хранил Константина Николаевича. Позднее он вспоминал: «Под Лейпцигом мы бились (4-го числа) у красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо... Французы усиливались. Мы слабели: но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: „Видно, дело идет дурно“. Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так, что я едва услышал: „Батюшков! посмотри, что у меня“. Взял меня за руку (мы были верхами), и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку освобождая от поводов, положил за пазуху, вынял ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал

мне довольно сухо: „Молчи!“ Еще минута — еще другая — пули летели беспрестанно, — наконец Раевский, наклонясь ко мне, прошептал: „Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко!“ Отъехали. „Скачи за лекарем!“ Поскакал. Нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала там, где его оставил. Казак указал мне на деревню пикою, проговоря: „Он там ожидает вас“. Мы прилетели. Раевский сходил с лошади, окруженный двумя или тремя офицерами. Помнится, Давыдовым и Медемом, храбрейшими и лучшими из товарищей. На лице его видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, о гренадерах. Он все поглядывал за ворота на огни неприятельские и наши. Мы раздели его. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку — пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно: я сказал это на ухо хирургу. „Ничего, ничего“, — отвечал Раевский (который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш) и потом, оборотясь ко мне: „Чего бояться, господин Поэт“ (он так называл меня в шутку, когда был весел):

Je n'ai plus rien du sang qui m'a donne la vie.
Ce sang c'est épuisé verse pour la patrie^[318].

И это он сказал с необыкновенною живостью... Я был свидетелем, Давыдов, Медем и лекарь Витгенштейновой главной квартиры...»^[319]

Ранение Раевского, возможно, спасло Батюшкова от гибели — поэт сопровождал генерала в тыл, на эти хлопоты ушло часа два, а на поле боя каждая секунда грозит смертью...

4 октября (16-го по новому стилю) 1813 года полковник Иван Петин погиб, возглавляя одну из атак егерей в Битве народов под Лейпцигом. Ему было всего 25 лет. Он был на год младше Батюшкова, в молодости это ощутимая разница. Иван порой обращался к Константину за советом, особенно если дело касалось литературы. Батюшкову нравилась роль старшего брата. И вот получалось: не уберег...

В письме Николаю Гнедичу Батюшков так сообщал о гибели Петина: «Ужасный и незабвенный для меня день! Первый гвардейский егерь сказал мне, что Петин убит. Петин, добрый, милый товарищ трех походов, истинный друг, прекрасный молодой человек — скажу более: редкий юноша. Эта весть меня расстроила совершенно и надолго. На левой руке от батареи, вдали была кирка. Там погребен Петин, там поклонился я свежей могиле и просил со слезами пастора, чтоб он поберег прах моего товарища. Мать его умрет с тоски...»

Иван был у своих родителей единственным сыном.

В битве под Лейпцигом полегло 22 тысячи русских воинов.

10 декабря 1813 года император Александр I подписал указ о награждении Ивана Александровича Петина орденом Святого Георгия 4-й степени. Понятия «посмертного награждения» тогда еще не было — однако по какой-то неведомой нам причине оно было произведено... Весьма сомнительно, чтобы государь не знал о смерти гвардейского полковника.

Глава пятая

*Как я люблю, товарищ мой.
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой
Веселых жаворонков пенье.
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые биваки
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки.*

К. Н. Батюшков. К Никите

Батюшков: три истории о Петине. — Пакетбот «Альбион». — Тень друга. — Последний портрет

Дружба Петина и Батюшкова, возникшая в эпоху трагических событий европейской истории, осталась в русской культуре как эталон поэтического дружества и воинского братства. Иван Петин, не успевший создать литературных шедевров, благодаря другу вошел в отечественную словесность.

В «Воспоминаниях о Петине» Батюшков рассказал три истории о своем друге — как лучшие свидетельства о высоте и благородстве его души. Первая относится к 1807 году, когда после ранения они оказались в одном лазарете.

«...Под вечер двери хижины отворились, и к нам вошло несколько французов, с страшными усами, в медвежьих шапках и с гордым видом победителей.

Петин был в отсутствии, и мы пригласили пленных разделить с нами кусок гнилого хлеба и несколько капель водки; один из моих товарищей поделился с ними деньгами и из двух червонцев отдал один (истинное сокровище в таком положении). Французы осыпали нас ласками и фразами — по обыкновению, и Петин вошел в комнату в ту самую минуту, когда наши болтливые пленные изливали свое красноречие. Посудите о нашем удивлении, когда вместо

приветствия, опираясь на один костыль, другим указал он двери нашим гостям. „Извольте идти вон, — продолжал он, — здесь нет места и русским: вы это видите сами“. Они вышли не прекословя, но я и товарищи мои приступили к Петину с упреками за нарушение гостеприимства. „Гостеприимства! — повторял он, краснея от досады, — гостеприимства!“ — „Как! — вскричал я, приподнимаясь с моего одра, — ты еще смеешь издеваться над нами?“ — „Имею право смеяться над вашею безрассудною жестокостию“. — „Жестокостию? Но не ты ли был жесток в эту минуту?“ — „Увидим. Но сперва отвечайте на мои вопросы! Были ли вы на Немане у переправы?“ — „Нет“. — „Итак, вы не могли видеть того, что там происходит?“ — „Нет! Но что имеет Неман общего с твоим поступком?“ — „Много, очень много. Весь берег покрыт ранеными; множество русских валяется на сыром песку, на дожде, многие товарищи умирают без помощи, ибо все дома наполнены; итак, не лучше ли призвать сюда воинов, которые изувечены с нами в одних рядах? Не лучше ли накормить русского, который умирает с голоду, нежели угощать этих ненавистных самохвалов? спрашиваю вас. Что же вы молчите?..“» ^[320]

Вторая история произошла в Москве в 1810 году.

«...Петин лечился от жестоких ран и свободное время посвящал удовольствиям общества, которого прелесть военные люди чувствуют живее других. Не один вечер мы просидели у камина в сих сладких разговорах, которым откровенность и веселость дают чудесную прелесть. К ночи мы вздумали ехать на бал и ужинать в собрании. Проезжая мимо Кузнецкого моста, пристяжная оторвалась, и между тем как ямщик заботился около упряжки, к нам подошел нищий, ужасный плод войны, в лохмотьях, на костылях. „Приятель, — сказал мне Петин, — мы намеревались ужинать в собрании; но лучше отдадим серебро наше этому бедняку и возвратимся домой, где найдем простой ужин и камин“. Сказано — сделано...» ^[321]

Третья история относится уже к войне 1812 года.

«...Другие ротные командиры получили георгиевские кресты, а Петин был обойден. Все офицеры единодушно сожалели и обвиняли судьбу, часто несправедливую, но молодой Петин, более чувствительный к лестному уважению товарищей, нежели к неудаче своей, говорил им с редким своим добродушием: „Друзья, этот крест не уйдет от офицера, который имеет счастье служить с вами: я его

завоюю; но заслужить ваше уважение и приязнь — вот чего желает мое сердце, и оно радуется, видя ваши ласки и сожаления“»^[322].

Кроме «Воспоминаний о Петине», Батюшков посвятил ему элегию «Тень друга». Она родилась в июне 1814 года, когда поэт возвращался с войны на родину морем на пакетботе «Альбион». На седьмой день плавания утомленный морской болезнью Батюшков стоял на палубе и вдруг увидел рядом Петина — живого и здорового. Но не успел Батюшков обрадоваться, как видение исчезло.

...Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,
Но сладостный покой бежал моих очей,
И всё душа за призраком летела,
Всё гостя горнего остановить хотела —
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!^[323]

Это стихотворение-реквием тронуло и тех, кто был далек от поэзии, и искушенных друзей-литераторов. (Элегия «Тень друга» считается первым байроническим произведением в русской поэзии, хотя неизвестно, был ли Батюшков в эту пору знаком с поэмой «Паломничество Чайльд Гарольда».) Строки огромной эмоциональной силы и небесного совершенства были посвящены не великому полководцу, а простому русскому офицеру, каких пало на полях сражений тысячи и тысячи.

Появление в «Вестнике Европы» в 1816 году «Тени друга» стало особым моментом для наиболее восприимчивой и совестливой части русского дворянства. Поэтическое осмысление Батюшковым гибели друга и читательский резонанс от этого осмысления помогли утверждению в обществе нового понимания ценности человеческой жизни. Для читателя Батюшкова смерть человека уже не может быть исчезновением «всего лишь одного человека» — это утрата целой вселенной, это потрясение всего мироздания.

Отсюда, с Батюшкова, открывается прямой путь к фронтовой поэзии Великой Отечественной, к поэмам «Сын» Павла Антокольского и «Зинка» Юлии Друниной, к стихам Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом...» и Сергея Орлова «Его зарыли в шар земной», к

песням о «Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой» и о «Лённке Королеве»...

Батюшков беспрестанно возвращается к памяти друга. В очерке «Воспоминание мест, сражений и путешествий» он описывает последние встречи с Иваном Петиным, и кажется, что каждое слово здесь написано сквозь слезы.

«...Приятель мой уснул геройским сном на кровавых полях Лейпцига... Дружество и благодарность запечатлели его образ в душе моей... Он будет путеводителем к добру; с ним неразлучный, я не стану бледнеть под ядрами, не изменю чести... Мы увидимся в лучшем мире...»^[324]

Возможно, еще один портрет друга, последний поклон ему, Батюшков оставил в большом стихотворении «Переход через Рейн. 1814», опубликованном в 1817 году:

... Там всадник, опершись на светлу сталь копья,
Задумчив и один, на берегу высоком
Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.
Быть может, он воспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольню к сердцу прижимает...^[325]

Даже когда тяжелый душевный недуг охватил Батюшкова, и окружающим казалось, что все бывшее для поэта перестало существовать, об Иване Петине он и тогда помнил.

Глава шестая

*День тихо догорал... и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали.*

К. Н. Батюшков. Умиравший Тасс

Батюшков пишет письмо матери Ивана Петина. —
Эпилог

Константин не сразу нашел силы, чтобы написать письмо матери друга. Только 13 ноября 1814 года, на сороковой день после гибели Ивана Петина, он с деликатной обстоятельностью пишет Александре Павловне:

«Милостивая государыня! Простите мне великодушно, если моим письмом я растравлю глубокую и неисцелимую рану вашего сердца; но я знаю, что слезы матери, горестные и вечные, имеют некоторую сладость для сердца, исполненного веры и надежд на Бога, единственного утешителя в печалях.

Я имел счастье быть известен вам при жизни незабвенного вашего сына, с которым я провел, в бытность вашу в Москве, несколько месяцев, счастливейших в моей жизни. Незабвенный ваш Иван Александрович был мой товарищ на войне и друг мой. Время не изгладит его из моей памяти. Все товарищи, все офицеры, все те, которые знали его, жалеют о преждевременной его кончине. Мы уважали в нем редкие его качества: неустрашимость в опасности, постоянную храбрость, любовь к товарищам, снисхождение к подчиненным, добродушие и откровенность в обществе, редкий ум и прекрасную душу. Как ни горестна потеря такого друга для меня, но она ничего в сравнении с вашей. Один Всевышний в силах ее измерить в сердце матери; один Всевышний, повторю вам, в силах подать вам утешение и твердость.

Я был в Лейпцигской битве и на могиле Ивана Александровича, к которой меня привел его камердинер. Отдав последний долг моему другу и храброму полковнику, я потребовал пастора и просил его

убедительно сохранить священные останки Русского воина. „Здесь, — сказал я, — будет воздвигнут памятник его родственниками и неутешною матерью“. Он дал мне слово сохранить в целости драгоценную могилу. Теперь, милостивая государыня, возвращаясь в мое отечество, я поставляю себе священным долгом сделать вам следующее предложение: воздвигнуть памятник над прахом вашего сына... Я беру на себя сделать приличную надпись и заказать рисунок. Конечно, ни один художник не откажется от столь прекрасного занятия.

Сладостно и приятно помыслить, что на поле славы и чести, на том поле, где русские искупили целый Мир от рабства и оков, на поле, запечатленном нашею кровию, русский путешественник найдет прекрасный памятник, который возвестит ему имя храброго воина, его соотечественника, и почтит его память, драгоценную для потомства! Я исполню то, что обещался на могиле храброго Петина, и счастливым назову себя, если вы не отринете мое предложение, усердием и дружбою внушенное. Удостоите меня ответом, Милостивая государыня, и верьте, что я пребуду навсегда с чувством глубочайшего почитания к матери моего друга и товарища. Ваш покорнейший слуга Константин Батюшков.

Имя пастора той деревни, где погребено тело Ивана Александровича, у меня записано, но имя села потеряно. Камердинер его знает, конечно. Впрочем, и по одному имени пастора можно будет отыскать могилу, тем более что тот, кому будет от нас сделано поручение, ничего не упустит для исполнения его со всею возможностью и точностию.

Мой адрес: Константину Николаевичу Батюшкову, в жительстве Александра Ивановича Тургенева, в департаменте его сиятельства князя А. Н. Голицына»^[326].

Батюшков ставил поэзию на первое место среди сокровищ мира, но свои стихи (а тем более — прозу) оценивал с ученической скромностью. Он не очень верил в то, что его слово донесет память о друге для будущих поколений. В «Воспоминаниях о Петине» он с печалью сетовал: «Имя молодого Петина изгладится из памяти людей...»^[327]

Миновало двести лет, многое и многие изгладились из памяти народа, но произнеси имя Батюшкова — и тут же вспомнится: «А еще

он о друге своем писал... простая такая фамилия... кажется, Петин...»

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!

Имя гвардии полковника Петина было занесено на одну из черных мраморных досок Пажеского корпуса, где значились фамилии пажей, павших в боях за Отечество. Кстати, на той же самой доске значится и имя известного нам поручика лейб-гвардии Семеновского полка Александра Чичерина, погибшего в сражении при Лейпциге...

Эти доски до сих пор сохраняются в Санкт-Петербургском суворовском военном училище, расположенном в здании бывшего Пажеского корпуса.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
ПРОКУРОР ОСТОЛОПОВ
(Николай Федорович Остолопов. 1783–
1833)

Глава первая

Цель поэзии — нравиться, возбуждая страсти.

*Словарь древней и новой поэзии,
составленный Николаем Остолоповым.
СПб., 1821 г.*

Вологодский муравейник. — Державин и карьера молодого прокурора. — Хлопоты Батюшкова. — Павел Шипилов. — Отъезд

Вологодский прокурор Николай Федорович Остолопов умел нравиться. Иногда он даже возбуждал страсти.

25 августа 1812 года его срочный отъезд в Петербург разворошил чиновный муравейник провинциального городка. Стали гадать: что стоит за этим вызовом, связан он с войной или с новым назначением и кого могут прислать взамен Николая Федоровича, к странностям и слабостям которого уже привыкли.

Говорили, что сын уездного судьи в двадцать шесть лет стал губернским прокурором благодаря покровительству Державина, успешно сочетавшего в свое время занятия словесностью с государственной службой. Годы спустя, в 1822 году, Николай Федорович Остолопов выпустит книгу «Ключ к сочинениям Державина по изданию 1808 года. С кратким описанием жизни сего знаменитого поэта». В предисловии автор напишет: «Имея счастье пользоваться благосклонностью Гавриила Романовича, я успел под его руководством собрать самые достоверные объяснения на большую и лучшую часть его сочинений...»

До назначения в Вологду Николай Остолопов окончил Горный кадетский корпус, служил в Коллегии иностранных дел, издавал в Петербурге журнал «Любитель словесности», где в 1806 году напечатал первое стихотворение девятнадцатилетнего Батюшкова «Мечта». Остолопов и Батюшков близкими друзьями не стали, но сохранили приятельские отношения, время от времени встречаясь в

Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств, где оба состояли.

В начале апреля 1812 года Константин Батюшков сообщал из Петербурга своей сестре Александре: «Остолопов здесь; он может быть (если верить его собственным словам) оставит место прокурора; хорошо б было постараться для Павла Алексеевича (Павел Алексеевич Шипилов — муж Елизаветы Николаевны, сестры К. Н. Батюшкова. — *Д. Ш.*); я готов попросить сам Ивана Ивановича Дмитриева, если только правда, что Остолопов покидает место...»^[328]

Дмитриев был в ту пору министром юстиции, и Остолопов находился в его непосредственном подчинении.

Батюшков надеялся, что назначение Павла Алексеевича на прокурорское место избавит семью сестры от постоянной бедности. Но в этой заботе была и общественная сторона. Поэт был убежден, что Отечество остро нуждается в таких неподкупных, хорошо образованных и порядочных людях, каким был Павел Алексеевич Шипилов. Батюшков не сомневался, что будет понят Иваном Ивановичем Дмитриевым, в котором видел не столько министра юстиции, сколько старшего собрата по поэзии.

Кстати, Константин Николаевич с детства хорошо представлял себе особенности прокурорской службы, ведь его отец еще в царствование Екатерины II был губернским прокурором в Вологде, а потом в Вятке. Тогда Николай Львович Батюшков проявил себя защитником бедных, притесняемых и оклеветанных. За свою принципиальность он был обойден чинами и в конце концов оказался уволен от должности^[329].

Павел Алексеевич Шипилов в юности служил переводчиком в Коллегии иностранных дел и немало помог еще более юному тогда Батюшкову в знакомстве с новинками зарубежной литературы. Шипилов и сам писал стихи, переводил поэзию, изредка печатался. В Вологду его привела любовь к Елизавете Батюшковой. Павлу Шипилову было всего восемнадцать лет, когда он оставил престижную петербургскую службу и посвятил себя семье.

Забота шурина тронула Павла Алексеевича, но перспектива стать видным чиновником совершенно не обрадовала его. Шипилов понимал, что, обретя достаток и положение, он почти неизбежно потеряет нравственный покой, поскольку окажется среди множества

искушений и соблазнов. Человек глубоко верующий, Павел Алексеевич готов был и дальше терпеть нужду и воспитывать детей в самых скромных условиях, но не подвергать испытаниям свою совесть. 11 апреля 1812 года он прямо написал Батюшкову: «Любезный брат, для этого места нужен или умной и в законах сведущий человек, или, попросту сказать, алтынник^[330]. Последним быть не могу, а первым и хотел бы, но не знаю, достанет ли на то моих способностей... Впрочем, здесь слышно, что на место Остолопова определяется какой-то Зиновьев; тем лучше — у желающих и достойных перебивать шпагу не хочу...» Помня, что Батюшков сам испытывает затруднения с определением на государственную службу, Шипилов с житейской мудростью прибавляет: «Благосклонность Ивана Ивановича Дмитриева тебе и самому пригодится. Итак, не спеши просить его для других: не всякий вельможа любит, чтоб его много просили...»

Батюшков же к тому времени решил, что если и служить, то по ведомству иностранных дел, но никак не юстиции. Отец, Николай Львович, вдоволь насмотревшийся на российское правосудие, поддержал его в этом. «Припряженному быть к приказному столу, — писал Николай Львович сыну, — есть дело для тебя невозможное. Я знаю всю цену достоинства твоего, знаю, сколь несносно читать, а иногда и подписывать: высечь кнутом, вырвать ноздри, послать на каторгу — а за что и почто Бог ведает^[331]».

Прошли апрель, май, июнь, началась война. В Вологде о вторжении Наполеона узнали 15 июля, когда прискакал нарочный из Петербурга. Перед лицом грозных событий все слухи о передвижениях начальства стыдливо затихли. Павел Алексеевич Шипилов, бывший некоторое время пятисотенным начальником в Вологодском земском войске, собрался вступать в ополчение.

И тут вдруг в конце августа Остолопов получает предписание явиться в Петербург.

Глава вторая

Дорожные размышления мои были не очень приятны.

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

Разбойники с большой дороги. — Схватка с неизвестными. — Две картечи в висок. — Секретная миссия? — Прозаическое назначение

Итак, простившись с женой и детьми и в тревожном предчувствии самых резких перемен в своей судьбе, Николай Остолопов отправляется в путь. За несколько верст до Череповца карету прокурора остановили неизвестные.

Дорога на Петербург пролежала здесь через леса, но эти места не были какими-то особенно глухими и дикими. Народ окрестный жил законопослушно и мирно, ни о каких шайках и набегах здесь не слышали со Смутного времени. Поэтому скорее тут можно было ожидать французов, решивших внезапным маневром захватить стратегически важный путь на север, чем доморощенных робингутов. О французах, скорее всего, и подумал Остолопов в первую минуту. Заслышав же русскую речь, он мог вполне успокоиться. В сумерках нападавших легко было принять за казаков, чьи разъезды в связи с суровым военным временем регулярно встречались на пути к столице.

Подробностей того, что произошло дальше, мы не знаем. Известно лишь, что 26 августа, в самый день Бородинского сражения, тридцатилетний вологодский прокурор вступил в схватку с некими разбойниками, получив при этом касательное ранение в голову картечью. Бросив истекающего кровью человека, злоумышленники, очевидно, полагали, что он убит. Ранение было столь серьезным, что и полтора месяца спустя Остолопов не мог появиться на людях, а потом еще долго ходил с перевязанной головой.

Вряд ли Остолопов, отец большого семейства, рисковал бы жизнью, отстаивая свое скромное дорожное имущество. Его товарищ, петербургский литератор Александр Измайлов, свидетельствует:

«Остолопов в самый день кровопролитного Бородинского сражения 26 августа, едуци из Вологды, ранен был в дороге близ Череповца весьма опасно разбойниками, которые ограбили его почти на семь тысяч рублей. Удивительно, как он остался жив, ибо по одному направлению попадали ему в висок две картечи, но теперь опасность миновала...»

Сомнительно, чтобы в беспокойное военное время столь опытный человек без всякой охраны перевозил с собой личные накопления в столицу, которая вот-вот могла оказаться в неприятельской осаде. Тогда, возможно, это были казенные деньги? Семь тысяч — сумма серьезная. Прекрасная кирасирская лошадь стоила 171 рубль. За семь тысяч можно было приобрести, к примеру, небольшой дом в Петербурге, не говоря уже о Вологде.

Что же это были за деньги? Вполне возможно — пожертвования от вологодских чиновников и купцов на ополчение. Как раз тогда был объявлен сбор пожертвований по всем губерниям.

Но, может, денег и вовсе не было, а были важные бумаги, вверенные Остолопову губернатором? В них могла идти речь, к примеру, о людских и продовольственных резервах, которыми располагала обширная губерния.

Понятно, что о захваченных секретных документах рассказывать никому не следовало, вот тогда, возможно, и возникла версия для публики об украденных семи тысячах.

Думается, что секретные бумаги и являлись целью нападавших, а следовательно, лихие люди представляли собой не совсем обычную разбойничью шайку.

Легко представить, в каком плачевном состоянии Остолопов прибыл в столицу. Он страдал не только от физической боли, но и был совершенно подавлен морально. Ведь ладно бы подвергнуться нападению галлов — война есть война, — но пострадать от своих, русских, да еще на территории родной губернии! Вот что было не просто обидно, а унижительно.

В мирное время дерзкое нападение на чиновника такого уровня вызвало бы немедленные действия со стороны полиции и многочисленные толки. Но в разгар войны случившееся выглядело незначительным эпизодом; сведений о нем не осталось ни в периодике, ни в письмах, ни в воспоминаниях того времени. Думается, и сам Остолопов рад был не вспоминать случившееся, ведь если

грабители действительно забрали у него ценные документы или казенные деньги, то он не мог не чувствовать своей вины.

Было ли произведено в Петербурге какое-либо дознание, пытались ли искать злодеев — мы не знаем, но о многом говорит тот факт, что Николай Федорович остался в тот год без повышения по служебной лестнице. Только весной 1813 года его перевели в Министерство финансов, в департамент разных податей. В названии его новой должности — главный правитель казенных надзоров над питейными сборами по Вологодской губернии — можно почувствовать если не насмешку, то начальственный укор.

Новым же вологодским прокурором был назначен тот самый Мирон Зиновьев, назначение которого еще в апреле предрекал Павел Алексеевич Шипилов, о чем и писал в своем письме Батюшкову.

Глава третья

С некоторого времени все почти наши авторы пишут жалостное, печальное.

Н. Ф. Остолопов. Предисловие к повести «Евгения, или Нынешнее воспитание»

Вологодский поезд. — Туман. — Старинные книги. — «Педагогическая поэма» Остолопова

Происшествие с Остолоповым отчего-то не давало мне покоя, и, чтобы выяснить хоть какие-то подробности, я поехал в Вологду. Были первые числа августа.

Поезд пришел на вологодский вокзал рано утром. Я вышел на пустую привокзальную площадь. Город спал в зябких сумерках.

Я устроился в маленькой гостинице у реки и вышел на берег встречать рассвет. Густой туман окутал заречье. Как молочная река он плыл меж берегов, растекаясь по улочкам. Совершенно исчезли из вида пятиэтажки, трубы котельных и другие приметы советских лет. Лишь слабые и тонкие очертания храмов и старинных особняков угадывались на том берегу.

Вот такой — тихой, сонной, закутанной в сырой туман, — очевидно, и была Вологда осенью 1812 года, когда из Петербурга возвращался домой похудевший и взволнованный Николай Федорович Остолопов, а по Московскому тракту в город один за другим въезжали обозы с беженцами из Первопрестольной.

Никаких деталей злополучной истории с нападением на губернского прокурора я в Вологде не нашел. Зато мне удалось познакомиться с книгами Николая Остолопова, которые не переиздавались почти двести лет. В отделе редкой книги областной библиотеки меня встретила Наталия Николаевна Фарутина.

Когда я был в этой библиотеке в свои школьные годы и заказывал по каталогу дореволюционные книги, мне представлялось, что их поднимают откуда-то из таинственных подвалов, из «глубины веков».

А теперь увидел, что отдел редких книг находится под самой крышей, почти на чердаке.

Имя Остолопова оказалось хорошо известно Наталии Николаевне, и вскоре она принесла мне его книги. Выяснилось, что Николай Остолопов начинал как переводчик и прозаик. В 1802 году он перевел «Опыт Вольтера на поэзию эпическую с описанием жизни и творений Гомера, Вергилия, Лукана, Триссина, Камознса, Тасса, Дон Алонза Дерсиллы и Мильтона», а через год выпустил в свет повесть «Евгения, или Нынешнее воспитание».

И вот я держу в руках маленькую, размером со стихотворный сборник, книжку. Ее открывает пышное посвящение Гавриилу Романовичу Державину. В предисловии двадцатилетний автор вступает в полемику с сентиментализмом и намечает свой путь: «Во всем бывает мода — даже в сочинениях. С некоторого времени все почти наши авторы пишут жалостное, печальное; все проливают чувствительные слезы и заставляют других плакать, как будто и без них мало у нас горестей. Но я не хочу им последовать, не буду водить читателя по кладбищам и пустым избушкам, а поведу его туда, где живут люди. Ибо мне кажется, что такие плачевные сочинения хотя и трогают сердце, но не подают никакого нравоучения, не подают того, что всякий писатель должен иметь главнейшим своим предметом.

Повесть сия есть первое произведение моего пера. Хороша она, худа ли — предоставляю судить о том всякому просвещенному читателю. Я доволен буду и тем, если он похвалит и мое намерение...»^[332]

Предисловие удивляет зрелостью рассуждений, но сама повесть явно подражательна. Причем подражательна одновременно и Николаю Михайловичу Карамзину, с «плачевным» направлением которого автор не согласен, и Александру Измайлову, чья грубоватая проза была явным вызовом изящному сентиментализму.

Измайлов и Остолопов вместе учились в Горном кадетском корпусе, и очевидно, что Николай находился под сильным влиянием своего товарища. Даже названия их первых произведений почти повторяют друг друга: роман Измайлова (оказавшийся небольшой повестью) вышел в 1799 году и назывался «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и общества», а в 1803 году Остолопов

печатает свою повесть (кстати, тоже сгоряча названную «романом») «Евгения, или Нынешнее воспитание».

Очевидно, что «Евгений...» Измайлова имел некоторый успех, если Остолопов поспешил выйти к читающей публике со своей «Евгенией...». Слово «воспитание» в названии было ключевым и определяло проблематику: как воспитывать детей в дворянских семьях? На русский или на французский манер?

В повести Остолопова некая дама с говорящим именем Ветрана выбирает шляпку в модной лавке и мимоходом интересуется: «У меня есть дочь, уже лет осми, мне хочется дать ей хорошее воспитание, не знаете ли вы какой-нибудь француженки, которая бы хорошо говорила по-французски и ни слова по-русски?»^[333]

Такую француженку найти в Петербурге тогда было несложно, и вскоре за воспитание девочки Евгении берется бывшая парижская куртизанка. В результате «тринадцати лет Евгения говорила по-французски как природная француженка». Она умела ценить лишь внешние проявления высоких чувств, чем не замедлил воспользоваться пустомеля и ловкач Полиссон — бывший парикмахер, осужденный на родине за воровство и бежавший в Россию. Полиссон увлекает Евгению из дома и, лишив ее невинности, бросает. Евгения скитается по дорогам, прося милостыню, пока ее, одетую в лохмотья, не узнает проезжавшая мимо родная мама.

Иногда автор от волнения или неопытности срывается на публицистику, но это вовсе не мешает повествованию.

«Любезные читательницы! Если каким-нибудь нечаянным случаем повесть сия попадетя в ваши руки, и если из любопытства вы ее прочитаете, то рассудите, сколь опасно отдаваться с такою стремительностью любовной страсти... По крайней мере постарайтесь узнать того, к кому вы ее почувствовали, и не пленяйтесь сшитыми по последней моде платьем, не пленяйтесь остроносыми башмаками, даже и самим французским языком, когда на нем говорят вам одну только глупость; но если вам понравится скромное обхождение, тихий нрав, основательный разум, тогда — вы можете, можете любить!»^[334]

Наивная, но искренняя повесть Николая Остолопова, надо надеяться, нашла своих читательниц. Только вот вразумила ли она кого — Бог знает.

Глава четвертая

*В сем мире всё превратно, тленно
И всё к ничтожеству идет;
Лишь имя добрых незабвенно:
Оно из века в век пройдет!*

Н. Ф. Остолопов

Уединение. — Прокурорский диван. — Словарь поэзии. — Конец эпохи

В 1808 году Николай Остолопов из Министерства иностранных дел перешел в Министерство юстиции и был назначен прокурором в Вологду. Здесь Николай Федорович получил ту возможность счастливого уединения, о которой петербургский чиновник и мечтать не мог.

В послании «К приятелю в столицу» (по всей видимости, этим приятелем был Александр Измайлов) Остолопов заманчиво рассказывает о своем образе жизни. На дворе был еще 1810 год; можно было и благодушествовать, и острить:

...А я в моей укромной хате
Приятно, хорошо живу,
Как в царской будто бы палате,
И счастья больше не зову:
Женой и сыном я люблюсь,
То с ним, то с нею поцелуюсь,
И порезвюся, пошалою,
Как водится в подлунном свете;
То запираюсь в кабинете,
И там я — на диване сплю... [\[335\]](#)

Про сон в кабинете — шутка. До дивана Николай Федорович добирался глубокой ночью. Прокурор был завален бумагами, требовавшими его каждодневного внимания. А занятия словесностью!

Стихотворные послания друзьям были всего лишь разминкой пера. Заветный труд, над которым Остолопов проводил все свободное время в годы вологодского прокурорства, — «Словарь древней и новой поэзии». Конечно, это не «История государства Российского», но для развития русской словесности — сочинение в высшей степени полезное.

Написание «Словаря...» заняло у Остолопова четырнадцать лет. Получилось три больших тома, содержащих четыреста статей. «Не мог я вообразить, — писал Остолопов в предисловии, — что наполнение одного будет столь многотрудно... Все свободное от занимаемых мною должностей время употреблено было для составления и приведения в возможное и по силам моим совершенство сего словаря...»

К 1821 году, когда «Словарь...» вышел в свет, Николай Федорович уже несколько лет как служил в Петербурге (занимая, как и прежде, совершенно неромантические должности: председатель Шоссейного комитета, управляющий конторой Коммерческого банка...), но о Вологде не забывал. В отделе редких книг вологодской областной библиотеки сохранился уникальный экземпляр «Словаря древней и новой поэзии» с дарственной надписью автора:

Вологодской губернской гимназии
приносит в дар
сочинитель
статский советник и кавалер
Николай Федорович Остолопов,
уроженец и дворянин
Вологодской губернии.
18 декабря 1821 года
С. Петербург.

Современный исследователь так характеризует труд Остолопова: «В „Словаре...“ рассматриваются 424 „риторические тропы и фигуры,

принадлежащие равно и прозе, и поэзии“. Их краткая история подкрепляется цитатами не только из античной и западной литературы, но и из произведений Ломоносова, Державина, Востокова, Мерзлякова, Крылова, Гнедича, Батюшкова, Жуковского, — а в двух случаях — Пушкина, тогда еще только начинавшего свой творческий путь. Для сравнения укажем, что в современном „Поэтическом словаре“ А. Квятковского (1966), капитальном справочнике по теории литературы, объясняется около 670 терминов. А ведь Остолопов опирался на неизмеримо меньший материал, и „Словарь...“ его был первым опытом подобного рода. Поэтому, несмотря на „архаичность“ и „схоластику“, он все же сослужил немалую службу и почти на столетие остался единственным источником поэтической терминологии...»

Казалось бы, столь ревностное и бескорыстное служение поэзии должно было принести автору заслуженное признание коллег-литераторов и уважение всех почитателей русской словесности. Так бы и было, очевидно, появись «Словарь...» лет на десять раньше. Но кропотливый труд Остолопова по духу и стилю своему принадлежал эпохе классицизма, как сам он принадлежал эпохе Александра I, а обе эти эпохи заканчивались.

Михаил Дмитриев (племянник Ивана Ивановича Дмитриева) вспоминал потом, что именно в 1820-е годы стало возможно «все осмеять, из всего сделать карикатуру... талант не защищал уже человека и оскорблял завистливую посредственность»^[336].

Да, талант Остолопова был скромн, но те, кто нападал на Николая Федоровича, и не вчитывались в его труды. Им казалось, что это смешно: фамилия — Остолопов, и при этом человек с идеалами. Остолопов, а занимается теорией литературы! Ату его!

Последний прижизненный печатный отзыв о Николае Федоровиче был откровенно карикатурным: «В России есть некто, плохой стихотворец, Николай (по батюшке не знаем как) Остолопов...» («Московский телеграф», 1829 г.).

Отчество Остолопова легко было уточнить по петербургскому адрес-календарю — несомненно, стоявшему на полке в редакции, но, видно, кому-то хотелось ударить побольнее.

В том же 1829 году Николай Федорович получил назначение в Астрахань, где и скончался через четыре года.

**ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ВЯЗЕМСКОМУ
(Князь Петр Андреевич Вяземский.
1792–1878)**

Глава первая

В нашем вологодском захолустье...

Князь Петр Вяземский

Багратион ранен. — Приказ к отступлению. — Давка на дороге. — Можайск. — Обаяние Милорадовича. — Вологда осенью 1812 года. — Доктор Рихтер

Теперь, когда мы немного представляем себе личность Николая Остолопова, вернемся к князю Петру Вяземскому, оставленному нами в день Бородинской битвы у носилок с раненым генералом Бахметевым.

«Уже поздним вечером, — вспоминал Петр Андреевич, — попал я в избу, где лежал тяжело раненный князь Багратион. Шуриин мой, князь Ф. Гагарин, был при нем адъютантом. Он меня, голодного и усталого, накормил, напоил и уложил спать. Не только мое частное, неопытное впечатление, но и общее между военными, тут находившимися, мнение было, что Бородинское дело нами не проиграно. Все еще были в таком восторженном настроении духа, все были такими живыми свидетелями отчаянной храбрости наших войск, что мысль о неудаче или даже полуудаче не могла никому приходить в голову. К утру эта приятная самоуверенность несколько ослабела и остыла. Мы узнали, что дано было приказание к отступлению. Помню, какая была тут давка; кажется, даже и не обошлось без некоторого беспорядка. Артиллерия, пехота, кавалерия, обозы — все это стеснилось на узкой дороге. Начальники кричали и распоряжались; кажется, действовали и нагайки. Между рядовыми и офицерами отступление никому не было по вкусу.

Когда мы пришли в Можайск, город казался уже опустевшим. Некоторые дома были разорены; выбиты и вынесены были окна и двери. Милорадович увидел солдата, выходящего из одного дома с разными пожитками. Он его остановил и дал приказание его расстрелять. Но, кажется, это было более для острастки, и казнь не была совершена. Мы расположились в каком-то доме, оказавшемся

несколько более удобным. Генерал продиктовал мне приказы по отделению войск, находившихся под его начальством и остававшихся еще в Подольске. Тут же пригласил он меня с ним отобедать, извиняясь, что худо меня накормит... Он был весьма приятного и пленительного обхождения, внимателен и приветлив к своим подчиненным.

Многим уже известно было на другой день, что я лишился двух лошадей, и меня поздравляли с этим почином. Дело в том, что Милорадович сам рассказывал об этом в главной квартире Кутузова. После этого минутного знакомства мы всегда с ним оставались в хороших отношениях...»^[337]

Добрый Милорадович, узнав, что беременная жена Вяземского эвакуирована в Ярославль и жестоко страдает там от разлуки с мужем, великодушно отпускает своего адъютанта на все четыре стороны.

1 сентября Вяземский покидает Москву и через два дня добирается до Ярославля. Вскоре супруги решаются ехать дальше на север.

Почему они отправились в Вологду, а не в Нижний Новгород, куда эвакуировались многие знакомые и друзья Вяземских? Этого не мог понять и Батюшков, который знал, как трудна дорога до его родного города. 3 октября он писал Вяземскому: «От Карамзиных узнал, что ты поехал в Вологду, и не мог тому надивиться. Зачем не в Нижний?.. Я жалею о тебе от всей души; жалею о княгине, принужденной тащиться из Москвы до Ярославля, до Вологды, чтобы родить в какой-нибудь лачуге...»^[338]

В конце сентября супруги Вяземские приезжают в Вологду, где снимают дом у Соборной горки.

Что Петр Андреевич знал прежде об этом городе? Пожалуй, в пути он мог вспомнить лишь забавные строки Михаила Никитича Муравьева, его сонет «Описание Вологды», написанный еще в юности и опубликованный в посмертном издании 1810 года:

Хороших и худых собрание домов,
Дворян, купцов и слуг смешенье несообразно,
Велико множество церквей, попов, дьячков,
Строенья разного, расположенья разно.
Подьячих и солдат, терем колодников,

Ребят и стариков собрание лишь праздно
И целовальников, и пьяниц, кабаков.
Хаос порядочный, смешенье многообразно
Старух и девочек, и женщин, и девиц,
И разных множество, и непохожих лиц,
Птиц, кошек и зверей, собак, что носят ворот... [\[339\]](#)

Осенью 1812 года Вологда действительно представляла собой «хаос порядочный, смешенье многообразно». Дмитрий Завалишин, восьмилетним мальчиком отправленный отцом в эвакуацию, вспоминал потом: «Вологду мы нашли набитую уже битком приезжими, удалившимися из губерний, ближайших к Москве и Петербургу и из находившихся по пути движения неприятеля» [\[340\]](#).

А оказались Вяземские в Вологде по одной важной причине: сюда эвакуировался из Москвы доктор, наблюдавший Веру Федоровну. Его имя с почтением произносилось во всех московских дворянских семьях, да и не только в дворянских.

Вильгельм Рихтер был самым авторитетным врачом-акушером в Москве. В 1806 году он основал Повивальный институт при Императорском Воспитательном доме и родильный госпиталь при Московском университете. После войны Рихтер стал главным акушером Москвы.

Глава вторая

*В нем собралось обилие необыкновенное всех
качеств: ум, остроумие, наглядка,
наблюдательность, неожиданность выводов,
чувство, веселость и даже грусть...*

Н. В. Гоголь о Вяземском. 1846 г.

Вологодские досуги. — Послание друзьям. — Письмо Батюшкову. — Его ответ. — Вьюга. — Послание Остолопову

Длинными осенними вечерами Вяземский с юмором рассказывал жене о своих приключениях.

По утрам, если не было дождя, Вяземский уходил бродить по городу, который из-за своей малости выглядел игрушечным. Молодой князь обходил его за полчаса, а потом долго стоял на Соборной горке и смотрел на Софийский собор, напоминавший ему Москву, Кремль. В утреннем тумане могучий собор казался бесплотным видением.

23 сентября он пишет Батюшкову: «Я в Вологде, любезнейший друг, а судьба не дает мне и удовольствие найти тебя здесь. Мы свиделись с тобою в горестное время, но в сравнении с настоящим оно было еще сносно. Теперешнее ужасно, и надежда, столь много нас обманувшая, не имеет уже права на сердца наши. Я привез сюда жену и каждый день ожидаю ее разрешения. Да благословит ее Бог. Все чувства, кроме чувства дружбы и привязанности к ближним и к вам, любезнейшие друзья мои, умерли в душе моей. О происшествиях, о ужасных происшествиях, поразивших нас столь быстро, столь неожиданно, не имею силы думать. Все способности разума теряются, сердце замирает, вспоминая о Москве.

Где ты, любезнейший? Говорят, во Владимире. Не думаешь ли переехать сюда? Не знаешь ли чего о Жуковском? Он перед отъездом моим из Москвы был у меня и сказывал, что он из полка перешел в дежурство Кутузова. Признаюсь, не поздравляю его с этим. Имя его для меня ужаснее имени врага нашего. Прости, мой милый. Пиши, а если можно, приезжай к другу твоему Вяземскому...» ^[341]

Батюшков вскоре отозвался из Нижнего Новгорода большим и, как всегда, горячим письмом: «Ты меня зовешь в Вологду, и я, конечно, приехал бы, не замедля минутой, если б была возможность... Увидеться с тобою и с родными для меня будет приятно, если судьбы на это согласятся; в противном случае я решился, — и твердо решился, — отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени. Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти...

Здесь я нашел всю Москву. Карамзина, которая тебя любит и любит и уважает княгиню, жалеет, что ты не здесь. Муж ее поехал на время в Арзамас. Алексей М<ихайлович> Пушкин плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга... Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: *point de paix!* (Ни слова о мире (*фр.*). — Д. Ш.) Истинно много, слишком много зла под луною; я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание: человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла: ибо с потерю Москвы можно бы потерять жизнь; потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду. Как бы то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно Провидению!

Тебе же, как супругу и отцу семейства, потребна решительность и великодушие. Ты не все потерял, а научился многому. Одиссея твоя почти кончилась. Ум был, а рассудок пришел. Не унывай, любезный друг, время все уносит и самые горести; со временем будем еще наслаждаться дарами фортуны и роскоши, а пока дружбою людей добрых, в числе которых и я: ибо любить умею моих друзей, и в горе они мне дороже.

Кстати о друзьях: Жуковский, иные говорят — в армии, другие — в Туле. Дай Бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи, милый друг, надеюсь, что не все потеряно в нашем отечестве, и дай Бог умереть с этой надеждою. Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочинения, делай с ними что хочешь; вот все, что могу оставить тебе. Может быть, мы никогда не увидимся! Может быть, штык или пуля лишит тебя товарища веселых дней юности... Но я пишу письмо,

а не элегию; надеюсь на Бога и вручаю себя Провидению. Не забывай меня и люби, как прежде. Княгине усердно кланяюсь и желаю ей счастливо родить сына, а не дочь...»^[342]

Пришла зима. Страшно было подумать о тех, кого она застала без крыши над головой, на пепелищах Москвы или на биваках в полях. В стихотворном послании друзьям, написанном в октябре, Вяземский пишет: «...в сей самый час, / Как ночи сон тревожит вьюга...»

Финал этого стихотворения — короткое описание зимнего утра. Затеплившаяся вологодская заря так же робка, как надежды автора:

... Но вот уж мрак сошел с полей
И вьюга с ночью удалилась,
А вас душа не допросилась;
Зарей окрестность озлатилась...
Прийти ль когда заре моей?

По вечерам Вяземский листал местный Адрес-календарь. Князь досадовал, что кроме Шипиловых — людей совсем не светских, вечно занятых детьми, — он не находит в календаре ни одной фамилии, которая была бы ему хоть отдаленно знакома. Но ведь невозможно сидеть всю зиму в четырех стенах! Вяземский чувствовал, что без острого разговора с симпатичным и толковым собеседником, без этой разминки ума, он становится все более раздражительным.

Но вот одна фамилия — *Остолопов, губернский прокурор* — остановила внимание князя. Он вспомнил, что однажды Батюшков говорил ему об этом человеке что-то доброе (впрочем, о ком Батюшков когда-нибудь говорил плохо?). Константин рассказывал, что этому почтенному стихотворцу со строгим вкусом он обязан своей первой публикацией. А потом подсовывал журнал с какой-то статьей и стихами Остолопова: мол, погляди. Но что за статья и что за стихи, хороши они были или нет — разве сейчас вспомнишь. Впрочем, главное, что Остолопов — стихотворец, ученик Державина и Дмитриева. И пусть этот тридцатилетний губернский чиновник, верно, напыщен и тщеславен, как все птенцы державинского гнезда, но по литературе-то — свой брат, будет с кем поговорить не только о войне, но и о поэзии.

Вяземский мог бы послать свою визитку, но счел это слишком банальным способом представиться Остолопову. Он садится за послание. Пишет играючи, намеренно не шлифует строку до совершенства, желая блеснуть легкостью импровизации.

Ты, коего стихи прелестны
Я знаю с именем давно —
Мои тебе хотя безвестны,
Как имя, так стихи равно...

Начало выглядело бы чересчур лестным, если бы эта лесть не уничтожалась короткостью обращения на «ты».

Прими ты от меня почтенье
И всенижайшее прошение,
А в чем? дай труд себе прочесть.
Я в Вологду попал, Бог-весть
Какой печальною судьбою...

Впрочем, в подробности вдаваться не стоило, тема деликатная, семейная. Да и у кого нынче судьба не печальная? Пора воздать должное случайному пристанищу — Вологде.

Московский житель с ранних пор,
Как солнце мой увидел взор,
О Вологда, перед тобою
Я признаюсь — не помышлял,
Ни в явь, ни между сновидений
О ней не думал, не гадал;
Но, жертва бури и волнений,
Мой тихий, мой смиренный челн,
Закинутый враждою волн
На брег от родины далекой,
Томится в скуке одинокой;
В студеной севера стране,
Все чуждо, неизвестно мне,

Все чуждо сердцу, чуждо взгляду...

Воспеть Вологду не получалось. Сердцу не прикажешь. Батюшков — тот родился в Вологде и то ничего путного об этом городишке не сложил. И что за тоскливая в здешних местах натура — леса да болота. Интересно; тут солнце вообще бывает?

Вяземский посмотрел за окно. Шел дождь, и тучи так низко ползли над городом, что кресты на куполах скрывались в этих тучах. Да, стоило повторить три раза: *чуждо, чуждо, чуждо...*

На подоконнике одиноко лежал затасканный Адрес-календарь, который князь открывал здесь чаще, чем княгиня открывала молитвослов. Что ж, остается воспеть эту полезную книжицу.

И взявши Адрес-календарь,
Увидел я, что Государь,
Как бы мне на смех и досаду,
Все незнакомых мне людей
В места советников, судий
Прислать изволил в город сей.
В сердцах листы перебираю,
Твое вдруг имя я встречаю;
Светлеет пасмурный мой взор —
Здесь муз любимец прокурор!

Петр Андреевич кисло улыбнулся: да, рифма *взор — прокурор* его не прославит, но звучит забавно.

Вяземский не знал, что сведения о «любимце муз» в вологодском Адрес-календаре к октябрю 1812 года устарели и Николай Федорович более не прокурор. (Впрочем, думается, что Остолопову было приятно остаться в старой должности хотя бы в стихах Вяземского.)

Под занавес Петр Андреевич решил еще раз подчеркнуть «вес» Остолопова в литературе. И тут к месту пришли армейские ассоциации:

Не откажи ты мне во дружбе,
В одной считаемся мы службе,

Хотя и не в одних чинах —
Ты офицер уж заслуженный
И Аполлоном награжденный,
За вкус разборчивый в стихах:
А я, я рекрут новобранный
И на Парнасе безымянный,
И не заслуги никакой,
Как разве то, что муз служитель,
Прямых талантов я почтитель,
И потому поклонник твой!

Глава третья

*Пусть гордый свет меня купает в Лете,
Лишь был бы я у дружбы на примете,
И жив у вас на памятном листке...*

П. А. Вяземский. Альбом. 1825 г.

Ответ Остолопова. — Встреча. — Эпитафия Наполеону. — Письмо Александра Тургенева. — Рождение сына. — На разведку в Москву. — Послание Жуковскому

Остолопов, получив послание, ответил не сразу. Вяземский, ожидавший его в гости, не мог понять, в чем дело, и уже досадовал на всех губернских прокуроров вместе взятых. Но вскоре ему стало не до гостей: у Веры Федоровны Вяземской начались трудные роды. К счастью, рядом был Вильгельм Рихтер и все закончилось благополучно. На свет появился мальчик. Окрестили Андреем.

16 октября Вяземский писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Я давно не писал к тебе... Теперь, богатый и временем, и чувствами, пишу к тебе... Я был в армии и в чудесном деле 26-го августа, казавшемся нам всем столь выгодным, но которого последствия обременили имя русского вечным стыдом — сдачею Москвы; мог узнать, что потерял в нем двух лошадей, и больной отправился после того в Москву, из нее в Ярославль к жене, а с нею из Ярославля в Вологду, откуда и пишу к тебе, любезный Александр Иванович.

Давно ли беседовали мы с тобою на Кисловке, глазели на красоту, богатство и пышность в стенах Благороднаго Собрания... Давно ли мечтали мы о славе, об успехах? Давно ли? И где это все, и когда это возвратится? Ночь ужасная окружает нас; мы бредем, и сами не знаем куда...

Мы живем здесь в Вологде совершенными изгнанниками, ни от кого не получаем известий. Вот уж с месяц, как мы расстались с Карамзиными, поехавшими в нижегородскую свою деревню, и ни строки еще от них не получали; о Жуковском также ничего не знаю,

кроме того, что 1-го сентября, в тот день, как мы с ним расстались, он перешел в дежурство светлейшаго и хотел отпроситься в отпуск. Дай Бог, чтобы он исполнил свое намерение! Не завидна судьба тех, которые теперь в армии: я немного по опыту узнал об этом. Ты не можешь вообразить, как мне грустно было смотреть на несколько десятки тысяч наших соотечественников, жертв прусской тактики и проклятых позиций.

А ты что делаешь, любезный? Заклинаю тебя написать мне хотя две строки, хотя два слова и доставлять мне иногда известия, который вы получаете из армии... Здесь, кроме нелепых сказок, никаких нет известий. Вообрази же, как должна быть мучительна сия безвестность о том, что делается. Наконец, жена, за которую я столько боялся и трепетал будущего, для которой решил я приехать в Вологду, родила сына Андрея, которого вручаю твоей любви...»^[343]

После рождения сына Вяземский написал и письмо генералу Милорадовичу, благодаря за великодушие и изъявляя свою готовность вновь встать в строй. Это письмо Петр Андреевич не доверил почте, а послал его со своим верным слугой. 7 ноября слуга еще не вернулся и князь писал Тургеневу: «До сих пор не знаю еще, что будет со мною. Ожидаю на днях посланного мною в армию, который скажет мне, возвратиться ли под пули, или еще на несколько времени остаться ли при жене и при малютке...»^[344]

Наконец-то принесли ответное послание от Остолопова. Оказалось, что Николай Федорович просто не мог показаться людям — он еще не успел оправиться от ранения. Картечные выстрелы разбойников (Измайлов утверждал, что выстрелов было два), будучи произведенными с близкого расстояния, сильно обожгли лицо.

Могу ль явиться я с повязкой,
С ужасной, черной головой,
Как с обгорелой булавой?
Злодеи на меня напали,
Ограбили и пощелкали
Так сильно, крепко, что чуть-чуть
Не привелось мне махнуть
Туда...
Но дело, право, не о том:

По чести, в незнакомый дом
Предстать уродом очень стыдно.
И так уж поневоле видно,
Я должен неучтивым быть,
Сперва тебя к себе просить.
Приди — прошу и ожидаю...

В начале ноября Вяземский навестил Остолопова. Скорее всего, их встреча выглядела примерно так. После ужина и чтения вслух взаимных посланий поэты обратились к карте России. На ней Николай Федорович красным карандашом отмечал ход военного противостояния. После обстоятельного рассказа о своем видении кампании Остолопов доверительно сообщил:

— А ведь я написал эпитафию для Наполеона.

— Не поторопились ли вы, Николай Федорович? — изумился Вяземский.

— Да, возможно, я первый, — задумчиво сказал Остолопов, — кто дерзнул на то, чтобы написать о Наполеоне в погребальном жанре.

— Сделайте милость, прочитайте.

— Извольте. Итак, «Эпитафия Наполеону»:

Прохожий, обо мне ты не жалея нимало!

Когда бы жив я был — тогда б тебя не стало.

Вяземский вздохнул:

— Вот и меня чуть было не стало. При Бородине две лошади подо мной убило.

— Расскажите что-нибудь о сражении.

— Пока — увольте. Память сокрыла Бородино и не возвращает. Но когда-нибудь вернет сей долг непременно. Тогда и пущусь в воспоминания.

Чтобы развлечь нового приятеля, князь захватил с собой последние полученные им письма с новостями. Среди них было и письмо Александра Ивановича Тургенева, в котором были такие обнадеживающие слова: «Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщенья найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления,

нравственного и политического, а зарево Москвы и Смоленска рано или поздно осветит нам путь к Парижу».

Николай Федорович так воспламенился тургеневской мыслью, что через несколько дней прочитал Вяземскому стихи, которые заканчивались почти победно: «Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу»^[345].

Осенью 1812 года трудно было верить, что наша армия опрокинет Наполеона, а тем более дойдет до Парижа. Вяземский, похвалив стихи Николая Федоровича, в отношении войны остался осторожным скептиком. А быть может, и подумал об Остолопове: «А не вызван ли столь безоглядный патриотизм ранением в голову? Не последствия ли это разбойничьей картечи? Бедняга...»

Прошло совсем немного времени, и оказалось, что Тургенев, а за ним и Остолопов исход войны и участь Наполеона предрекли с удивительной точностью. Вяземский признал это в своих воспоминаниях, не удержавшись, впрочем, от легкой иронии: «Таким образом, в нашем вологодском захолустье выведен был ясно и непогрешительно вопрос, который в то время мог казаться еще сомнительным и в глазах отважнейших полководцев, и в глазах дальновидных политиков. Недаром говорят, что поэт есть вещий. Мог ли Наполеон вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вещего и что отречение, подписанное им в Фонтенебло в 1814 году, было еще в 1812 году дело уже порешенное губернским прокурором в Вологде?»^[346]

Расположение и доверие Вяземского к Остолопову было столь высоко, что, уезжая с семьей из Вологды в Ярославль, он оставляет Николаю Остолопову на хранение свои рукописи. Но это будет в феврале 1813 года.

А на дворе был еще тревожный декабрь. Из Остафьева пришли утешительные сообщения о том, что усадьба не пострадала. «Благое Провидение, — писал Вяземский Тургеневу 12 декабря, — не захотело лишить меня места, к которому я по многому привязан душою. И исполнителем воли его была швейцарка, девица Voehr, жившая у Карамзиных при детях и отправившаяся в Остафьево во время приближения французов к Москве; она храбростью своею и благоразумием защищала от врагов, более месяца беспрестанно

набегающих, мою деревню и заслужила от крестьян прозвание храброй мамзели, а от меня — беспредельную благодарность...»^[347]

Но все-таки надо было самому проведать дом в Остафьеве и выяснить, можно ли везти обратно семью. После Рождества Вяземский выехал в Москву.

В середине января он вернулся в Вологду и тут же написал Тургеневу; «Я ездил в подмосковную свою и плакал над развалинами Москвы. Зрелище ужасное и непостижимое! Надобно самому видеть, чтобы познать всю силу сего несчастья. Я скоро обниму тебя: поеду в армию через Петербург... Бедный и почтенный наш друг Жуковский лежит или, по крайней мере, лежал, в декабре, больной в Вильне, один, без денег, без услуги. Человек его пропал со всем имуществом. Мне бы очень хотелось помочь ему в его несчастий, но, к сожалению, не имею ни малейшей возможности, и это меня терзает. Зная участие, которое ты принимаешь во мне, скажу тебе, что я удостоился получить за Бородинское дело 4-го Владимира с бантом...»^[348]

Еще не зная, где Жуковский и жив ли он вообще, Петр Андреевич пишет послание к Василию Андреевичу. Главная тема, конечно же, судьба Москвы:

...Но что теперь твой встретит мрачный взгляд
В столице сей и мира и отрад? —
Ряды могил, развалин обгорелых
И цепь полей пустых, осиротелых —
Следы врагов, злодейства гнусных чад!
Наук, забав и роскоши столица,
Издrevле край любви и красоты
Есть ныне край страданий, нищеты.
Здесь бедная скитается вдовица,
Там слышен вопль младенца-сироты...

В 1812 году младенческий плач можно было услышать и в Москве, и на беженских дорогах, и ночью за стеной. Плач маленького ребенка сотрясает душу сильнее, чем свист пуль и грохот взрывов, но вот написали тогда об этом только два поэта — Вяземский в послании к Жуковскому и Батюшков в послании к Дашкову.

Андрюша, первенец Вяземского, умер летом 1814 года. А ведь незадолго до этого Мария Волкова писала подруге в Петербург: «У Вяземских прелестный сынок, я не видала ребенка здоровее; он похож на отца, как две капли воды...»^[349]

Пораженный известием, Батюшков 27 августа написал Петру Андреевичу из Петербурга: «Я получил твое письмо, любезный князь, и с горестию читал его несколько раз. Что могу сказать тебе в утешение? Мы не для радостей в этом мире, я это испытал по себе. Потеря твоя и княгини невозвратна! Что ж делать? Покориться судьбе! Я жалею от всего сердца, что не могу видеть тебя в минуты печали и сказать тебе, мой милый друг, сколько я тебя люблю. Сердце мое имеет нужду в твоём дружестве, поверишь ли, я час от часу более и более сиротею... Дай же мне руку, мой милый друг! и возьми себе все, что я могу еще чувствовать благородного, прекрасного. Оно твое... У тебя редкая подруга, — есть состояние, будут дети, и мир для тебя не пуст...»^[350]

Глава четвертая

В произведении руки человеческой... всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание... в тончайших вплетениях жилок листа.

Отец Павел Флоренский

Батюшков и Вяземский: письма, октябрь 1812 г. — март 1813 г. — После войны. — Разномыслие и разночувствие

Петр Вяземский — Константину Батюшкову

19–20 октября

Из Вологды в Нижний Новгород

Я вчера познакомился с твоими сестрами, и благодаря дружбе твоей ко мне, был ими очень обласкан. Они беспокоятся о тебе и просили меня употребить свое красноречие, чтобы переманить тебя к нам... Московские ваши собрания нимало меня не соблазняют, здесь тихо и смирно, и будь с нами Карамзины, ты и Жуковский, — я никогда не помыслил бы выехать. Москвы нет, и мне везде хорошо, потому что нигде не может быть приятно. Я здесь познакомился на стихах с Остолоповым, он человек любезный и умный... Обнимаю тебя от всей души. Я так глуп, что едва-едва передвигаю мыслями. Приди, освети мрак моей души и разгони туман, облегший ее.

Хотя ты и крепко кажешься решившимся не бывать в Вологде, я все еще не расстаюсь с очаровательною сею надеждою и сердце мое говорит мне вопреки письму твоему, что я обниму тебя здесь, что ты пожелаешь увидеть друга, может быть, в последний раз и посвятить несколько часов той дружбе, которая должна была утешать нас в самом начале, и на заре жизни нашей. Желание твое ехать в армию растревожило очень сестер твоих и меня, делай с собою как советуешь Жуковскому: побереги себя для счастливейших дней. Теперь и умереть не славно, таково гнусно и бедственно наше положение... ^[351]

Константин Батюшков — Петру Вяземскому

7 декабря 1812

Из Нижнего Новгорода в Вологду

Я уверен по собственному сердцу, мой добрый и любезный друг, что ты желаешь меня видеть; и не худо было бы увидеться, хотя еще раз на этом свете. И ты и я улетим Бог весть куда. Меня принимает к себе в адъютанты А. Н. Бахметев и обещал отправить в армию: судьба жестокая! Зачем мы не вместе будем делить и печали и нужду! Как бы то ни было, я желаю с тобою увидеться в армии. Оставить тебе княгиню я не могу советовать, но если ты принужденным находишь остаться в военной службе, то, конечно, предпочтешь армию и деятельную жизнь при своем генерале гарнизонной службы в Мамоновом полку, который мне вовсе не нравится. В таком случае, может быть, мы увидимся при пушечных выстрелах, я желаю этого от всего сердца. Теперь, любезный друг, если будет возможность, я приеду хоть на сутки в Вологду, истинно за тем, чтобы с тобой увидеться. Мы много видели, много жили в течение четырех месяцев, и конечно, не устанем говорить, и не наговоримся. Я тебя всегда любил, и может быть, более нежели ты меня: ты делишь свою душу с женой, с редкой женщиной, которой и женщины любят отдавать справедливость; я живу весь для друзей. Теперь прости! если я не смогу приехать в Вологду, что легко может быть, ибо я теперь завишу от обстоятельств, то к тебе писать буду, и напишу длинное письмо. Отвечай мне на это; да пришли твои стихи, послание, о котором мне сказывал мой зять.

Ты ко мне слова не писал о твоём житье-бытье. Как ты время провел в Вологде, которую я очень не люблю. Впрочем, и в Нижнем не очень весело: если Бог приведет нам увидеться, то я расскажу очень много забавного о наших старых знакомых, которые тебя все помнят. Тебе известны стихи В. Л. Пушкина:

О, волжских жители брегов,
Примите нас под свой покров...

Но ты, конечно, не знаешь, как А. М. Пушкин их пародировал. Тебе много неизвестно! И у нас было чудес! чудес! Где Жуковский? ему дали Владимира? правда ли это?.. ^[352]

* * *

В середине декабря 1812 года Батюшков добрался до Вологды. Пробыл буквально дня три. В Нижний он возвращался через сожженную Москву.

Петр Вяземский — Константину Батюшкову

3 февраля 1813

Из Вологды в Нижний Новгород

По несчастью, письмо твое застало меня еще в Вологде, и теперь из Вологды же пишу к тебе... Скоро, скоро думаю оставить здешние болоты, но однакож все еще для меня грядущее незримо. Прости, любезнейший, пиши ко мне в дом Кожена к Грибоедову в Ярославль, а люби везде, как я тебя, везде и всегда ^[353].

* * *

Константин Батюшков — Петру Вяземскому

21 марта 1813

Из Петербурга в Ярославль

Мое письмо будет коротко, любезный друг, но я имею нужду к тебе писать. Ты жалуешься на скуку; легко поверю: мне и здесь невесело, каково же тебе в болоте? Желая от всей души, чтоб ты поскорее поехал в деревню и прожил там наедине, если это возможно? хотя год, хотя полгода. Я вовсе не знаю, что со мной будет; ожидаю Бахметева, у него буду проситься в армию, а пока езжу по обедам и вечера провожу с трубкой и с книгами, а более всего с воспоминаниями, ибо я весь в прошедшем. Я долго, долго жил! Тургенев хорошо сделал, что помог Жуковскому, а Жуковский еще лучше сделал, что уехал в Белев... Часто просиживаю вечера с Дашковым, которого начинаю любить от всей души за добрые его качества; этот человек выигрывает в коротком знакомстве... Дай себя

обнять, любезный друг, будь счастлив, будь веселее и выше круга людей, в котором ты осужден жить мимоходом. Сегодня, завтра обстоятельства могут перемениться, а мы остаемся все те же, если имеем ум и характер. Я желаю их иметь, чтоб быть полезным для людей, близких моему сердцу... Вот тебе моя рука. Прости. Конст. Б.

Как я глуп! Я все думал, что ты в Вологде, и теперь только прочитал: «Ярославль, 12 марта». Это меня порадовало... ^[354]

* * *

Кажется, никогда они не были так близки, как той осенью-зимой. Но чем дальше отходили в историю переживания 1812 года, тем менее они понимали друг друга. Они оба изменились, но как бы в разные стороны. Вяземский при всем его уме еще только созревал. Он был слишком волнуем страстями, чтобы углубляться в духовный смысл событий. Жизнь виделась ему как большая азартная игра, и он пытался силой ума, возможностями логики исчислить и понять ее законы. О вере отцов Вяземский отзывался с пренебрежением и скепсисом.

Батюшков пытался ласковым вразумлением (как это делают старшие братья в больших семьях) умерить юношеское богоборчество Вяземского: «Ты бранишь Библию... и зачем? Неужели ты меня хочешь привести в свою веру...» ^[355]

Петр Андреевич по молодости своей рассчитывал (и справедливо, как потом оказалось) на долгую жизнь и потому не опасался совершать ошибки. Батюшков предчувствовал, что у него такого времени нет, и он очень спешил во всех своих добрых устремлениях. Константин Николаевич уже не видел в призвании поэта ничего такого, что превозносило бы его над другими людьми. На игру со словом, на все арзамасские забавы он смотрел уже как на недостойное ребячество. Да, Батюшков отзывался на шутки друзей, пытался по-прежнему быть остроумным, но ничего смешного в жизни он давно уже не видел.

Литературная слава, которой он жаждал с детства, к которой так стремился, — она совершенно померкла для него. Литературная борьба, которой он так увлекался до войны, — она уже казалась ему недостойным соперничеством самолюбий.

Война будто выбила какие-то двери во внутреннем мире поэта. Из открывшегося пространства нахлынули вопросы громадной сложности. 27 августа 1814 года он писал Вяземскому: «Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя...» ^[356]

Вот и друзья не узнали послевоенного Батюшкова, которого помнили шутником и эпикурейцем. Поначалу они приписывали его меланхолию одиночеству, советовали жениться, потом все стали списывать на болезнь, не понимая, отчего он так переменялся.

Глава пятая

*Он любил пустить салазки дружбы по склону
красного словца.*

*Князь Сергей Волконский об одном из своих
друзей^[357].*

Князь Петр в глазах света. — Площадные шутки. —
Последствия. — Предложение Батюшкова Вяземскому стать
сказочником

До войны Батюшков подробно разбирал стихи Вяземского, указывал на неудачные строки, предлагал варианты совершенствования. Вяземский с благодарностью принимал эти тщательные разборы и не считал зазорным прислушаться к советам.

Но когда внешнее совершенство стиха потеряло для Батюшкова прежнюю ценность и он с отеческой заботой взялся за нравственное совершенствование друга, Петр Андреевич счел это посягательством на свою свободу. Он вообще не понимал, зачем художнику в чем-то ограничивать себя.

Каким был тогда Петр Андреевич в глазах тех, кого он умел очаровывать, можно представить по письмам 1814 года Марии Волковой Варваре Ланской.

«4 января. Вяземский не пропускает ни одного маскарада... Везде бывает, всех знает, почтителен к старушкам, любезен с молодыми, на все у него хватает времени...»^[358]

«9 февраля

Вообрази, что Вяземский стал поэтом в душе и пишет очень мило...»^[359]

«29 августа 1814 г.

Он очень честолюбивый молодой человек. Я тогда подумала, что ему хорошо было бы служить где-нибудь при посольстве за границей, он же охотник до путешествий... Как ни говори, а кн. Петру следует

вступить на службу, ему 22 года, нельзя же ему всю жизнь сидеть без дела. На него будут смотреть как на недоросля»^[360].

«5 сентября 1814 г.

...Я пишу тебе так подробно о Вяземских потому, что знаю, что ты разделяешь мою слабость к кн. Петру. Он прекрасно одарен природой, и не будь он с детства окружен людьми довольно сомнительными, из него вышел бы отличный человек. О многом внушили ему ложные понятия; но его природные качества пересилили пагубное влияние. В обществе он очень мил и приятен...»^[361]

3 ноября 1814 года Батюшков с горьким недоумением пишет Жуковскому, что Вяземский прислал ему «кучу площадных шуток», причем в ответ на очень серьезное и сокровенное письмо. Среди площадных шуток были и насмешки над самыми близкими Батюшкову людьми — семьей Муравьевых.

Такая развязность для Батюшкова была тем более оскорбительна, что он был обязан своему молодому богатому другу: после возвращения Батюшкова с войны Вяземский вызвался оплатить некоторые его старые долги. Причем князь не впервые предлагал Константину Николаевичу свою помощь. Еще в Рождество 1810 года Батюшков писал Гнедичу, сетовавшему, очевидно, на очередную вызывающую остроту Петра Андреевича: «Напрасно сердисься на князя Вяземского, который меня истинно любит, а много ли таких людей! Кроме его ума (а он очень умен), он весьма добрый малый. Не знаю, как узнал, что я не еду, потому что ожидаю оброку с деревень, и что же? Предложил свой кошелек, но с таким добродушием, что письмо его меня тронуло. Деньги его мне не надобны: я отказал их, но я ему не менее за то обязан. Это не безделка, такой поступок! Согласись сам! Ибо ты довольно знаешь свет и жителей земноводного шара!...»^[362]

На этот раз он вынужден был принять помощь Вяземского. И тем горше было терпеть его молодецкие выпады. В конце января 1815 года, немного остыв от гнева и обиды, Константин Николаевич пишет Петру Андреевичу, печалась о нем как о сыне: «Благодарю тебя за то, что ты платишь мои долги... Но праведное мое негодование на тебя ничто облегчить не может... Я сердит на тебя, за тебя. Со временем я тебе открою мою душу, и ты меня оправдаешь перед собой...»^[363]

Батюшков — Вяземскому, февраль 1815 года: «Дружба моя к тебе не утратилась и могла ли утратиться? Что есть у меня в мире дороже друзей! и таких Друзей, как ты и Жуковский. Вас желал бы видеть счастливыми: тебя благоразумнее, а Жуковского рассудительнее. Я горжусь вашими успехами, они мои; это моя собственность, я был бы счастлив вашим счастьем...»^[364]

Соединяя в письмах Жуковского и Вяземского, обнимая их вместе своей мыслью и любовью, Батюшков пытается дать верное направление колючему дарованию Петра Андреевича. Он надеется, что пример Жуковского увлечет их юного друга от насмешничества и скептицизма.

«Один хороший стих Жуковского больше приносит пользы словесности, нежели все возможные сатиры»^[365], — пишет Батюшков Вяземскому в январе 1815 года. А вот из мартовского письма: «От Жуковского я получил письмо. Я называю его — угадай как? Рыцарем на поле нравственности и словесности...»^[366]

И чем больше Батюшков нахваливал Жуковского, тем раздраженнее становился самолюбивый Вяземский.

Не оставляя надежды направить дарование друга в благодатное русло, Батюшков предлагает Петру Андреевичу стать... сказочником. В письме от 25 марта 1815 года Константин Николаевич пишет: «Пришли мне все, что ты написал нового, дай Бог, чтобы это было важное. Зачем ты не испытываешь род сказки? Зачем Дмитриеву оставлять одному это поле, поле веселое и пространное, созданное, как нарочно, для твоего остроумия, ума и сердца. Дай Бог, чтобы мой опыт тебя воспалил. Принимайся! Я тебя благословляю, а себя и публику поздравляю с прекрасным и оригинальным произведением. Оригинальным, разумеется, ибо ты должен что-нибудь написать свое. Выдумай, изобрети и басню, и рассказ, и подробности. Ты можешь. Сперва обдумай все. Это тебя займет приятным образом, а там и за перо... Напиши не одну сказку, три, четыре, более, если можешь. Но не пиши мелочей: обдумай один род. У нас множество баснописцев. Пусть будут и сказочники. Этот род не низкий. Требуется ума и большой разборчивости... Сделай одолжение: пиши в этом роде...»^[367]

Вяземскому кажется, что совет писать сказки означает лишь то, что его еще держат за мальчишку, и он с еще большим упорством

продолжает растрачивать свой дар на эпиграммы. (Жуковский позднее говорил, что Вяземский съел на эпиграммах целую свору собак.) Только много лет спустя Петр Андреевич понял, что стояло за советом Батюшкова стать сказочником: не о сказках то была речь, а о том, как важно не повредить душе своей. В предисловии к своему собранию сочинений Вяземский писал: «Было кем-то сказано, что человек зрелых лет должен быть сам врачом своим, то есть знать сложение свое, темперамент свой, знать, в гигиеническом отношении, что может быть ему полезно, что вредно. То же можно применить и к нравственному распознаванию себя...»^[368]

Конечно, Вяземский и в молодости пытался распознать себя, но это было отвлеченное мудрствование, какое-то блуждание по темному лесу. В этом лесу Петр Андреевич терял не только себя, но и своих друзей (однажды он так и писал Жуковскому: «Нельзя ли как-нибудь встретиться? Мы до сей поры виделись только впотьмах; посмотреть бы друг на друга при свете Божьем»).

Вот что Вяземский писал Александру Тургеневу о своем опыте самопознания (письмо от 3 октября 1819 года): «Все наши связи не что иное, как привычки, более или менее вкорененные. Какие мои наличные наслаждения от товарищества с тобою, Жуковским и Батюшковым? Вы более существуете для меня в душевной привычке моей, чем в себе самих. Я вас ищу не в вас, а в себе. Без сомнения, привычку эту питает не надежда на свидание; потому что я никаким свиданиям, ни здешним, ни тамошним, не верю или, лучше и правильнее, ни в какие не верую. Не отвергаю их, но и не ожидаю; не сомневаюсь в них, но и не убежден. Вся моя жизнь, все мое бытие пишется на летучих листках... Хорошо, если случайный ветер соберет несколько листков вместе и нечаянно составит полную главу. Но честь подобает случаю, а не мне или нравственной силе, во мне действующей; все мои способности дуют в одиначку. Будем говорить искренно: я держусь одним капиталом, а умей я пустить в ход этот капитал, то, верно, стоял бы я не на этом месте. Я — маленькая Россия: нельзя отрицать ее наличные богатства, физические и нравственные, но что в них, или, по крайней мере, то ли было бы из них при другом хозяйственном управлении. Впрочем, мой недостаток — отличительная черта русского характера, много поэзии в себе имеющего: что-то такое темное, нерешительное, беспечное; какая-то

неопределенность и бескорыстность; мы переходим жизнь, не
оглядываясь назад, не всматриваясь в даль...»^[369]

Глава шестая

Я думал о тебе и о России.

*К. Н. Батюшков — П. А. Вяземскому, 17
мая 1814 г., Париж*

*Я хочу наездничать; хочу, как Бонапарт...
попрать все, что кидается мне под ноги...*

*П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу 3 июля
1822 г., Остафьево*

Паломничество Батюшкова к Тихвинской иконе. —
Исповедальное письмо. — «Нечто о поэте и поэзии». —
Чистота жизни как залог чистоты слога. — Асмодей. —
«Заземление» Жуковского. — Послание Батюшкову. — «...
немедленно удалиться в монастырь...» — Крест

Важнейший документ для понимания послевоенных отношений двух поэтов — исповедальное письмо Батюшкова, написанное во второй половине марта 1815 года, на Страстной неделе, после паломничества к Тихвинской иконе Божьей Матери. Тихвинская Богоматерь особо почиталась в доме Батюшковых. Ее древний образ в серебряной ризе сначала был в дедовом доме в Даниловском, а после замужества сестры поэта Елизаветы Николаевны перешел в ее вологодский дом.

Кажется, в дни паломничества в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь Батюшков ясно почувствовал, где та спасительная пристань, которую он так долго искал. Ах, если бы ему потом дали продолжить этот путь! Тогда и душевная болезнь, возможно, не охватила бы его такими железными тисками. Во всяком случае, она, быть может, не стала бы катастрофой.

Итак, Батюшков — Вяземскому, за несколько дней до Пасхи:

«...Ни одно из твоих писем меня так сильно не радовало, как последнее; я вижу в нем явное свидетельство твоего дружества и

твоего редкого сердца, которое для нас, друзей твоих, есть сокровище неоценимое. Я замедлил отвечать тебе, потому что был на несколько дней в отсутствии; я ездил с моею теткою в Тихвин — на богомолье. Но все твои упреки несправедливы, горесть моего сердца не мечтательная... С пылкостью лет, у меня, по крайней мере, исчезло и пристрастие ко всему блестящему, и я желал бы полезным быть и обществу и самому себе, и я еще повторю: стихи ни к чему не ведут. Далее: испытав многое, узнав цену и вещам и людям, виноват ли я, мой друг, если многие вещи утратили для меня цену свою? Но ты говоришь: не писать — не жить поэту. Справедливо! Но что писать? Безделки. Нет! Писать что-нибудь важное, не для минутного успеха, а для себя. Ничего не печатать для приобретения известности. Иметь свыше цель. Славу. Обмануться. Так и быть! Но и обмануться славно. Писать для себя, pour soulager son coeur (для облегчения своего сердца (*фр.*). — *Д. Ш.*). Успехов просит ум, а сердце счастья просит. Сии-то маленькие успехи не ведут к счастью. Они преграды к нему, напротив того. Мы это знаем, милый друг, знаем по опыту. Меня все мучит; даже самая известность... Вооружаться против тех, которые оскорбляют вкус, не есть большая вина, но горе тому, кто занимается единственно теми, которые оскорбляют вкус и наше суетное самолюбие. Если бы мне предложил какой-нибудь Гений все остроумие и всю славу Вольтера — отказ. Выслушай свое сердце в молчании страстей, и ты со мною согласишься, в противном случае я тебя не уважаю. Так, надобно переменить род жизни. Благодаря Бога я уже во многом успел: стараться укротить маленькие страсти, успокоить ум и устремить его на предметы, достойные человека. Я подкреплю мои замечания словами добродетельного Роллена. Прочитай страницу 90, 91, 92 Oeuvres completes de Rollen a Paris (Полное собрание сочинений Роллена, изданное в Париже (*фр.*). — *Д. Ш.*), письмо его к Ж.-Б. Руссо. Я не осмелился бы взять на себя сделать такой упрек твоей совести, если бы большая часть поучений Роллена не относилась прямо ко мне. Лучший ответ нашим врагам и врагам вкуса: молчание и это спокойствие душевное, которое бывает наградою хорошего поведения и спокойной совести. Вот мое признание. Прибавь к этому, что маленькие страсти, маленькие успехи в обществе и в кругу маленьких людей, которых мы ни любим, ни уважаем, маленькие стихи и мелочи не достойны мужа, делают и ум мелким, беспокойным. Успехов просит

ум, а сердце счастья просит. Но пусть ум просит великих успехов, а сердце — счастья... если не найдет его здесь, где все минутно, то не потеряет права найти его там. Где все вечно и постоянно. Ты же, счастливец: сокрой себя на месяц или на два: перемени образ жизни своей. Читай полезное, будь полезен другим, сотвори себя снова: и тогда, если не оправдаешь моих слов, то я позволю тебе сказать мне — что я начал бредить. Иначе, в шуму страстей твоих, и этого мелкого суетного самолюбия, и этих хладных удовольствий, тебя недостойных, я тебе не поверю. Мы возмужали, опытности прибавилось, чего недостает нам? Уважения к себе. Сядем на ряду с людьми. Сядем выше недостойных. Если мы избрали словесность, то оставим в ней не одни цветы: плоды; а в обществе имя честного человека, во всей простоте сего слова, такое имя лучше всех титулов. *Ne craignez pas le ridicule* (Не бойтесь смешного (*фр.*). — *Д. Ш.*). Для человека с твоим умом его не существует. У тебя все. Кроме постоянства и характера, без которых нет ничего совершенного, постоянство и внимание — вот рычаг ума человеческого, а характер... Смейся, у меня есть свой характер, я это испытал на днях. Я умею подбирать в бурю парусы моего воображения. Слава Богу, и этого довольно — на нынешнее время: вперед будет лучше. Тот уже много сделал на поприще нравственности, кто хотел что-нибудь сделать. *DIXI* (Я все сказал (*лат.*) — *Д. Ш.*)» ^[370].

В стихах «К другу», посвященных Вяземскому, он выразит те же мысли и чувства, но уже с какой-то кристальной, морозной ясностью:

Скажи, мудрец молодой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли;
Мы пили чашу сладострастья:

Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн и розы наши?

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
И место поросло крапивой.

Но я узнал его: я сердца дань принес
На прах его красноречивой...

И далее, в финале:

...Я с страхом спросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды:
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:
Ногой надежную ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

В эту же пору Батюшков написал статью «Нечто о поэте и поэзии», которую Вяземский вскоре мог прочитать в «Вестнике Европы». Петр Андреевич с его умом и проницательностью не мог не почувствовать, что Батюшков обращается в этом монологе не только к себе, к своему сердцу, но к нему, к Вяземскому: «Живи как пишешь, и пиши как живешь... иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы... Итак, уединись от общества, окружи себя природою: в тишине сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов читай историю времен протекших, поучайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения...»^[371]

Никакая сильная и добрая мысль, пусть даже выраженная в частном письме, не исчезает бесследно. В 1827 году заветные размышления Батюшкова отзовутся в мировоззренческой программе молодого философа Ивана Киреевского: «Мы... изящное соединим с нравственностью... и чистоту жизни возвысим над чистотою слога».

В 1815 году князь Петр Андреевич не принял горестных рассуждений Батюшкова, не оценил ни покаянного тона письма, ни наставлений, выраженных столь деликатно. Возможно, прочитав о том, что «*маленькие страсти, маленькие успехи в обществе и в кругу*

маленьких людей... *маленькие* стихи и мелочи не достойны мужа» — Вяземский просто обиделся и «затаил».

Такое полное непонимание было вызвано не только тем, что Батюшков был старше Вяземского на пять лет и две войны, но и стереотипами рационалистического восприятия и воспитания («Много перебивало при мне французов, немцев, англичан, — вспоминал Петр Андреевич, — о русских наставниках и думать было нечего...»).

Вяземский с каким-то удвоенным азартом продолжал проповедовать друзьям свое незамысловатое эпикурейство, играя в Асмодея еще до того, как получит это прозвище в «Арзамасе».

В 1817 году князь посвятил Константину Николаевичу послание, в котором предлагал вернуться из сельского уединения к светской жизни, к эротической музе, к легкости бытия. Вяземский отказывался верить в то, что для Батюшкова возврата к этой легкости уже быть не могло.

Искренне желая избавить Батюшкова от меланхолии, Петр Андреевич, очевидно, даже не догадывался, что, обращаясь к другу «певец любви, поэт игривый / И граций баловень счастливый...», он причиняет ему боль. А уж стыдить Батюшкова вовсе не стоило:

Стыдись! Тебе ли жить в полях?
Ты ль будешь в праздности постылой
В деревне тратить век унылый,
Как в келье дремлющий монах?..

Через семь лет Батюшков отправит Александру I письмо следующего содержания: «Ваше Императорское Величество, Всемилостивейший Государь. Поставляю долгом прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству с всеподданнейшею просьбою, которая заключается в том, чтобы Вы, Государь Император, позволили мне немедленно удалиться в монастырь на Бело-Озеро или в Соловецкий...»^[372]

Когда в 1818 году Батюшков поехал в Италию, он поначалу собирался заехать в Варшаву к Вяземскому и даже просил приготовить ему «конурку». Но потом Батюшкову расхотелось встречаться с Вяземским, и он проехал мимо. Петр Андреевич обиделся и в своих письмах стал называть Константина Николаевича — «этот Батюшков».

Споткнувшись на Батюшкове, Вяземский взялся за целомудренного Жуковского, который и после 1812 года оставался неисправимым мечтателем.

Василию Андреевичу в ту пору хотелось основать что-то вроде поэтического княжества, острова друзей среди бурного житейского моря. Поразительно, с кем он по-детски восторженно делился этой мечтой — с А. Ф. Воейковым, который вскоре жестоко обманет его доверие и принесет ему так много горя.

«Не заводя партий, — писал Жуковский Воейкову, — мы должны быть стеснены в маленький кружок: Вяземский, Батюшков, я, ты, Уваров, Плещеев, Тургенев должны быть под одним знаменем: простоты и здравого вкуса. Забыл важного и весьма важного человека: Дашкова... Брат, брат! вообрази нашу Суринамскую жизнь, вообрази наш тесный союз, наше спокойствие, основанное на душевной тишине и одаренное душевными радостями, вообрази труд постоянный и полезный, не рассеянный светским шумом, но делимый и награждаемый в тесном круге самыми лучшими людьми... Мы трудимся вместе, вместе располагаем, утверждаем свое счастье, служим друг другу подпорою и в горе...»^[373]

Тем временем Вяземский ищет союзников для осуществления своих планов (столь же шуточных, сколь и искусительных) и пишет А. И. Тургеневу: «Нельзя долго жить в мечтательном мире и не надобно забывать, что мы хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть, и очень. Жуковский же пренебрегает вовсе скотством: это губительно. Свинью можно держать в опрятном хлеве; но, чтобы она была и здорова, и дородна, надобно ей позволять валяться иногда в грязи и питаться навозом...»^[374]

Желание «заземлить» Жуковского не оставляет Вяземского на протяжении нескольких лет. Вот 15 марта 1821 года он пишет Василию Андреевичу: «Добрый мечтатель! Полно тебе нежиться на облаках: спустись на землю... Говорю тебе искренно и от души, ибо

беспрестанно думаю о тебе и дрожу за тебя. Повторяю еще, что этот страх не в ущерб уважения моего к тебе, ибо я уверен в непреклонности твоей совести; но мне больно видеть воображение твое зараженное каким-то дворцовым романтизмом. Как ни делай, но в атмосфере тебя окружающей не можешь ты ясно видеть предметы, и многие чувства в тебе усыплены. Зачем не разнообразить круга твоих впечатлений?..»

Пройдет полвека, уйдет в вечность Жуковский, и Петр Андреевич вдруг почувствует, что именно он, Жуковский, был для него одним из самых близких и дорогих людей на свете. Узнав о том, что в Белеве сохранился ветхий дом, в котором некогда жил Василий Андреевич, Вяземский обращается в Министерство народного просвещения с просьбой о приобретении этого дома в ведение министерства и предложением устроить в нем народное училище в память Жуковского. Он берется собрать средства на приобретение и ремонт этого дома.

23 ноября 1868 года Вяземский пишет редактору «Русского архива» П. И. Бартеневу: «Мне хотелось бы напечатать... статью „Бородино“ особою книжечкою и пустить в продажу — с тем, чтобы полученные деньги обращены были на покупку дома Жуковского в Белеве». Книга (а скорее брошюра) Вяземского «Воспоминания о 1812 годе» была издана в 1869 году с надписью на титульном листе: «Продается на приобретение в городе Белеве для Народного Училища того дома, который некогда принадлежал Василию Андреевичу».

На дворе была нигилистическая эпоха, молодежь с откровенным равнодушием, если не враждебностью, относилась и к Вяземскому, и к памяти Жуковского. Поэтому и десять лет спустя после издания брошюры тираж ее пылился в книжных лавках.

И все-таки усилиями Вяземского осенью 1872 года двуклассное Народное училище имени В. А. Жуковского было открыто в Белеве, на Ершовской улице.

* * *

К Вяземскому в полной мере можно отнести одну из мыслей Н. И. Гнедича (из его «Записных книжек»): «Два предмета оживают в

сердце человека при старости его: отечество и вера. Как бы они ни были умерщвлены в молодости, но рано или поздно воскресают...»^[375]

В старости, отдав дань многим страстям и пережив неисчислимые скорби (из семи детей шесть умерли в детстве или молодости), Петр Андреевич Вяземский явил редкое мужество: говорить о своей жизни с покаянием и болью.

Я к старости дошел путем родных могил:
Я пережил детей, друзей я схоронил...
Талант, который был мне дан для приращенья,
Оставил праздным я на жертву нераденья...
Где воли торжество, благих трудов начало?
Как много праздных дум, а подвигов как мало!
Я жизни таинства и смысла не постиг;
Я не сумел нести святых ее вериг,
И крест, ниспосланный мне свыше мудрой волей —
Как воину хоругвь дается в ратном поле, —
Безумно и грешно, чтобы вольней идти,
Снимая с слабых плеч, бросал я на пути.
Но догонял меня крест с ношею суровой...

Прочитав в «Русском архиве» письма Батюшкова, Вяземский напишет редактору: «Другие будут читать эти письма, а я их слушаю. В них слышится мне знакомый дружественный голос. На него как будто отзываются и другие сочувственные голоса... В письмах Батюшкова находятся звездочки... Эти звездочки в печати то же что маски лицам, которым предоставляется сохранять инкогнито...

Восстановление имени моего наместо загадочных звездочек нужно и для истории литературы нашей. Оно хорошо объяснит и выставит напоказ, какие были в то время литературные и литературские отношения, а особенно в нашем кружке. Мы любили и уважали друг друга (потому что без уважения не может быть настоящей истинной дружбы), но мы и судили друг друга беспристрастно и строго не по одной литературной деятельности, но и вообще. В этой нелицеприятной независимой дружбе и была сила и прелесть нашей связи... нашего нравственного братства...»^[376]

Глава седьмая

Граф Канкрин говорил мне однажды, что в обществе гражданском и в совокупности государственного устройства все люди песчинки, из коих образуется и возвышается гора: разница только в том, что одна песчинка выше, другая ниже. Вот и я, незаметная и очень нижняя песчинка, заявляю существование свое в эпохе 1812-го года.

*П. А. Вяземский. Воспоминание о 1812
годе^[377].*

«Война и мир». — Статья в «Русском архиве». —
«Бисквитный» вопрос. — «Я один из братьев уцелел...»

После ухода старших друзей и почти всех ровесников Петр Андреевич остался одним из последних литераторов — участников событий 1812 года. Благодаря своей замечательной, почти фотографически точной памяти Вяземский был для историков и писателей ценнейшим экспертом. К тому же Петр Андреевич никогда не был склонен к сентиментальным преувеличениям и в своих воспоминаниях опирался не на чувства, а на факты. Но в обществе наступило время, когда историческая правда никому не стала нужна. Волна нигилизма смущала и великие умы.

Роман «Война и мир», который кажется нам незыблемым свидетельством о 1812 годе, при своем появлении^[378] вызвал у Вяземского целый ряд возражений, которые он обоснованно изложил в журнале «Русский архив» (1869. № 1)^[379]. Почему именно в этом журнале?

Ну, во-первых, редактор «Русского архива» Петр Иванович Бартнев был историческим консультантом и научным редактором Льва Николаевича Толстого в работе над романом «Война и мир». (Мало того: по договору, заключенному с Львом Николаевичем,

Бартенева брал на себя все отношения с типографией, где печаталась книга, и предоставлял складское помещение для отпечатанных томов.)

Во-вторых, «Русский архив», основанный в 1863 году, был самым авторитетным историческим журналом. Вот как его оценивал в письме Бартенева Ф. И. Тютчев: «Ни одна из наших современных газет не способствует столько уразумению и правильной оценке настоящего, сколько ваше издание, по преимуществу посвященное прошедшему».

Память 1812 года была для Бартенева священна. Он считал, что все высшие достижения русской культуры XIX века вызваны к жизни Двенадцатым годом. «Пушкин, Тютчев, Хомяков, Глинка, — говорил Бартенева, — это искры Божьи, выбитые из груди России грозой 1812 года»^[380].

Кстати, отец редактора «Русского архива», Иван Осипович Бартенева, участвовал в Бородинском сражении, дослужился до подполковника Арзамасского конно-егерского полка и умер, когда сыну было всего пять лет^[381].

«Так мало осталось в живых, — писал Вяземский в „Русском архиве“, — не только из действовавших лиц в этой народной эпической драме, громко и незабвенно озаглавленной: „1812 год“, но так мало осталось в живых и зрителей ее, что на долю каждого из них выпадает долг подавать голос свой для восстановления истины, когда она нарушена. Новые поколения забывчивы, а читатели легковверны, особенно же когда увлекаются талантом автора. Вот почему я, один из немногих, переживших это время, считаю долгом своим изложить, хотя бы по воспоминаниям моим, то, что было, и как оно было...»^[382]

Как один из первых читателей романа, Бартенева сообщал Вяземскому: «В „Войне и мире“ действительные лица только старый князь Волконский (сосланный Павлом в Архангельск) — дед автора, княжна Мария — мать автора, молодой граф Ростов — его отец и старик Ростов — его дед; Денисов — Денис Давыдов и Долохов; все остальное вымысел, по словам графа Толстого...»^[383]

Вяземский высоко ценил дарование Толстого и не ставил под сомнение свободу художника изображать в романе своих предков так, как они ему видятся. Его волновало другое: предвзятое отношение автора к некоторым историческим личностям. Вяземский считал, что Толстой оказался связан «передовыми» веяниями эпохи, которые и

принудили гениального художника изменить чувству меры, вкуса и самой правде жизни.

«Книга „Война и мир“, за исключением романической части... есть, по крайнему разумению моему, протест против 1812 года, есть апелляция на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям, и на авторитет русских историков этой эпохи. Школа отрицания и унижения истории под видом новой оценки ее, разуверения в народных верованиях — все это не ново. Эта школа имеет своих преподавателей и, к сожалению, довольно много слушателей. Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм. Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь настоящего отрицанием событий минувшего...» ^[384]

Вяземский увидел недопустимый произвол в том, что писатель заставляет исторические персонажи действовать в соответствии со своим художественным и идейным замыслом, не считаясь с тем, как эти люди поступали в реальности. Особенно не повезло в «Войне и мире» императору Александру.

Помню, еще в школьные годы «сцена с бисквитами» вызвала у меня смутное недоверие, если не отвращение. Нам задали на дом проанализировать эту сцену. Я любил литературу и Толстого, но тут споткнулся. Даже выписывать цитаты было мучением. Сейчас я догадываюсь, что высокое чувство, рожденное в мальчишке предыдущим повествованием, на этой странице было внезапно оскорблено.

Можно представить, что чувствовал, читая про бисквиты, бородинский ветеран князь Вяземский, который не только близко наблюдал императора, но в 1817–1819 годах был одним из его ближайших сотрудников по подготовке конституции. «А в каком виде представлен император Александр, — с горечью писал Петр Андреевич после прочтения „Войны и мира“, — в те дни, когда он появился среди народа своего и вызывал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем? Автор выводит его перед народ — глазам своим не веришь, читая это, — с „бисквитом, который он доедал“. „Обломок бисквита, довольно большой, который держал государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддевке (*заметьте, какая точность во всех*

подробностях) поднял его. Толпа бросилась к кучеру отбивать у него бисквит. Государь подметил это и *(вероятно, желая позабавиться?)* велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона...“

Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это басня; если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности. Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра. Он был так размерен, расчетлив во всех своих действиях и малейших движениях, так опасался всего, что могло показаться смешным или неловким, так был во всем обдуман, чинен, представителен, оглядлив до мелочи и щепетливости, что, вероятно, он скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться пред народом, и еще в такие торжественные и знаменательные дни, доедающим бисквит. Мало того: он еще забавляется киданьем с балкона Кремлевского дворца бисквитов в народ — точь-в-точь как в праздничный день старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам! Это опять карикатура, во всяком случае совершенно неуместная и несогласная с истиной...»^[385]

Очевидно, что для Толстого получить такое опровержение от Вяземского было не только досадно, но и удивительно, ведь у Петра Андреевича была давняя репутация либерала, республиканца и западника (это ведь он приставил к «патриотизму» словечко «квасной»). Кроме того, все знали, что Петр Андреевич был в немилости у Александра, что именно император прервал на взлете служебную карьеру князя.

В новые времена, когда общественной мыслью правила мстительность (и особенно в отношении всего, что связано с самодержавием), это был редкий поступок: простить своего царственного обидчика и открыто вступить за его память. Вяземский поступил по-пушкински:

Простим ему неправоe гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.

После статьи в «Русском архиве» на Вяземского посыпались обвинения в ретроградстве, барстве, менторстве и непонимании

новаторской современной литературы. Анонимный критик «Санкт-Петербургских ведомостей» (1869. № 18) писал: «Нельзя не заметить, читая наставления князя Вяземского автору „Войны и мира“, что вообще притязания патриотов минувших дней довольно странны. Например, князь охотно позволяет себе описывать в слабых стихах Бородинское сражение и, между тем, графу Толстому запрещает изображать его в хорошей прозе...»

Эти люди так и не поняли, что литературная сторона романа меньше всего волновала Вяземского. Его беспокоили образы современников в романе, то ложное освещение их, которое будет принято потомками за истинное, если автор оставит эти страницы неизменными.

При издании романа была возможность исправить журнальный вариант, ведь корректуры «Войны и мира» держал по-прежнему Бартенев. Петр Иванович имел полное право на внесение согласованных с автором поправок (по предварительному договору он обязан был не только держать корректуру, но и нести «надзор, чтобы не было слишком явных исторических неверностей»^[386]), но как было достичь согласия с Толстым?

Бартенев считал, что прислушаться к живому свидетелю не менее важно, чем к письменному источнику (на который в ходе возникшей дискуссии ссылался Толстой). Лев Николаевич и выслушать толком своего консультанта не хотел.

Все недоразумения могла бы снять встреча Толстого и Вяземского, но она не состоялась. Лев Николаевич лишь написал возражение на поправки Петра Андреевича, а от личного свидания уклонился. Отдадим должное Бартеневу: оказавшись между двух огней, он вел себя чрезвычайно деликатно и старался успокоить обе стороны конфликта.

Из переписки П. И. Бартенева и П. А. Вяземского:

«27 февраля 1869. Москва.

Приехавший сюда гр. Лев Толстой действительно отыскал в книге „Воспоминания очевидца о Москве 1812 г.“ (М., 1862) рассказ о том, как император Александр Павлович раздавал на балконе Кремлевского дворца фрукты теснившемуся народу^[387]. На основании этой находки своей он написал возражение на Ваши строки об его книге, 5-й том которой вчера наконец свалился долой с корректурных рук моих...

Вашему сиятельству душевно преданный П. Бартенев».

1 марта 1869 года Вяземский писал Бартеневу: «Пришлите мне возражение Толстого по бисквитному вопросу или укажите, где его отыскать... Укажите также и на полное заглавие сочинений Глинки, на которые Толстой ссылается...»

Без промедления, буквально на другой день, Бартенев отвечал:

«2 марта 1869. Москва.

Гр. Толстой настаивает давно, чтоб я напечатал возражение против Вашей статьи. Я не отказывался, но ставил условием, чтобы указан был источник показания о бисквитах (из-за этого была целая переписка). Приехав сюда, он читал мне новое возражение, в котором утверждается, что бисквиты и фрукты одно и то же. Я опять не отказывался напечатать, но не иначе, как с моим примечанием и с тем, чтобы я предварительно показал статью Вам. Решено было, что он мне ее отдаст, переписав. Теперь слышу, что он уже уехал назад в деревню. Этот человек, вследствие своего пламенного воображения, совсем разучился отличать то, что он читал, от того, что ему представилось. Тем не менее, 5-й том, ныне к Вашему сиятельству посылаемый, содержит в себе вещи истинно художественные.

Что у меня осталось брошюр о Бородине высылаю завтра.

Душевно Вашему сиятельству преданный Бартенев».

К огорчению Бартенева и Вяземского, Лев Николаевич остался при своей версии исторических событий. Но сегодня было бы справедливо, если бы статья с возражениями Вяземского публиковалась в приложении к «Войне и миру» или хотя бы упоминалась в комментариях к роману.

...Средь битвы я один из братьев уцелел:

Кругом умолкнул бой, и на поле уснувшем

Я занят набожно прибраньем братских тел.

Хоть мертвые, но мне они живые братья:

Их жизнь во мне, их дней я пасмурный закат,

И ждут они, чтоб в их загробные объятья

Припал их старый друг, их запоздавший брат.

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
ПОЛКОВНИК МАРИН
(Сергей Никифорович Марин. 1776–
1813)

Глава первая

*Как мы ни радуясь, а все похожи мы на дворню,
которая в лакейской поет и поздравляет барина с
имянинами... Одни песни 12-го года могли быть
несколько на иной лад...*

*П. А. Вяземский. Старая записная
книжка ^[388]*

Пророческий марш. — «Высоцкий Двенадцатого
года». — Марины из Сан-Марино. — Комета. —
Злополучный шарф

19 марта 1814 года Париж впервые услышал «Преображенский
марш» — русская армия входила в столицу Франции. Наши солдаты
лихо распевали пророческие слова, написанные еще в 1805 году:

Пойдем, братцы, за границу
Бить Отечества врагов;
Вспомним матушку царицу,
Вспомним, век ее каков!

Славный век Екатерины
Нам напомним каждый шаг,
Те поля, ручьи, долины,
Где бежал от русских враг!

Там, Румянцев где сражался,
Там, Суворов где разил,
Каждый воин отличался,
Путь ко славе находил;

Каждый воин дух геройский
Среди мест сих доказал,
И как славны наши войска,

Целый свет об этом знал.

Между славными местами
Устремимся дружно в бой!
С лошадиными хвостами
Побежит француз домой.

За французом мы дорогу
И к Парижу будем знать,
Зададим ему тревогу,
Как столицу будем брать...

За год до взятия Парижа автор слов «Преображенского марша» полковник Сергей Никифорович Марин скончался от болезни и старых ран в Петербурге и был с воинскими почестями похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Поэту было тридцать семь лет.

* * *

С кем сравнить Сергея Марина в близком нам времени? Наверное, с Владимиром Высоцким. Веселые и хлесткие сатирические стихи Марина, как и песни Высоцкого, жили вне официальной литературы и при этом были невероятно популярны. Марин нигде не публиковался, но его стихи знало буквально всё офицерство, весь генералитет, его остроты повторяли министры, его человеческие достоинства ценил Александр I.

Как и в песнях Высоцкого, в стихах Марина было яркое мужское начало. Это была поэзия бесстрашная, а порой и бесшабашная.

В армии служили несколько поколений Мариных — с тех самых пор, как в начале XVI века из княжества Сан-Марино перешел на русскую службу некий Паоло Гедруант. Выговорить сложную фамилию выходца из Сан-Марино никто толком не мог, так и появился в России род Мариных.

Ударение в фамилии Марин — на последнем слоге. Говорят, что Сергей Никифорович при перекличках на вахтпарадах даже не откликнулся, если его фамилию выкрикивали неправильно.

Родился Марин в Воронеже. В 1790 году отец отвез четырнадцатилетнего Сергея в Петербург и определил его в лейб-гвардии Преображенский полк, под начало капитана Федора Николаевича Петрово-Соловова — одного из самых образованных офицеров этого славного полка.

* * *

Сергей Никифорович Марин стал легендой задолго до 1812 года. Для многих современников он был в некотором роде исторической фигурой: молва приписывала ему участие в заговоре против Павла I. Некоторые утверждали, что Павел был задушен серебряным шарфом, который убийцы взяли у подпоручика Марина.

Еще рассказывали, что в ряды заговорщиков его привела обида на императора. В 1797 году на параде у Зимнего дворца Марин нес знамя своего Преображенского полка и сбился с ноги. По личному указанию самодержца знаменосец был разжалован в рядовые и посажен на гауптвахту.

Так это было или нет, но тень трагедии, случившейся в Михайловском замке в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, тянулась за Мариным до конца жизни. Он стал частью мифологии и, судя по тому, что не опровергал слухи о своем участии в заговоре, эта сомнительная слава его до определенных пор устраивала. Возможно, доживи Сергей Никифорович до того возраста, когда люди пишут воспоминания, мы бы узнали из них правду. Но он ушел рано, и мы вынуждены лишь догадываться о том, как все было на самом деле...

Когда летом 1811 года он наезжал в Москву, встречи с ним искали не только молодые офицеры, знавшие наизусть его стихи, но и завсегдатаи литературных гостиных. Константин Батюшков сообщал Гнедичу о встрече с Мариным как о важном событии. «В Москве был Марин, стихотворец-офицер, который читал нам: 1-е) сатиру, 2-е) сатиру, 3-е) „Меропу“^[389], 4-е) послания. Я с ним ужинал часто у Вяземского. Он не пьет шампанского, а пишет стихи...»^[390]

А познакомились Марин и Батюшков, очевидно, еще весной в Петербурге. Вместе они участвовали в издании «Драматического вестника». 14 марта 1811 года на торжественном открытии «Беседы любителей русского слова» Марин был торжественно принят в члены нового общества.

Кажется странным, почему в своем письме Гнедичу Батюшков отмечает такую малозначительную деталь: Марин не пьет шампанского. Просто Батюшков, как, очевидно, и Гнедич, помнил ранние стихи Марина:

Шампанское — и дай мне руку!
Вели стаканы нам налить.
Забудем горести и скуку
И станем мы любить и пить...

Как знакома нам эта гусарская интонация! Где же мы ее слышали? Конечно, у Дениса Давыдова в его знаменитом «Гусарском пире»:

Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами!
Всех наездников сзывай
С закрученными усами...

От начала до конца это стихотворение Давыдова — подражание Сергею Марину. Именно Марин одним из первых оценил талант корнета Давыдова и всячески способствовал распространению его стихов в списках. 27 октября 1803 года Сергей Марин писал графу Михаилу Воронцову, служившему в Грузии: «Давыдов кавалергардский написал две басни, которые я к тебе отправлю с первым курьером, ибо иначе послать их невозможно...»^[391]

Но вот загадка: Давыдова помнят, он — один из символов эпохи 1812 года, а о Марине мало кто слышал.

Возможно, одна из причин в том, что Денис Васильевич Давыдов невольно затмил в сознании потомков своего старшего литературного собрата. К тому же Марин не издал при жизни ни одного сборника, да

и вообще не заботился о том, чтобы его произведения стали известны потомкам. Он хорошо знал цену ратной славе, а вот к славе на Парнасе был, судя по всему, равнодушен.

И все-таки слава у него была — короткая, как свечение кометы, явившейся на небе в канун войны 1812 года ^[392]. Во всяком случае, по времени они почти совпали — комета и зенит славы Сергея Марина (европейские астрономы наблюдали комету с конца августа 1811 года по начало января 1812-го).

Глава вторая

*Без сердца стал я как без шпаги —
Я под арест тобою взят;
И нет такой во мне отваги,
Чтоб штурмом взять его назад.*

*С. Марин. Изъяснение заслуженного
армейского офицера в любви. 1805 г.*

Альбом Мариных. — Молитва Богородице. — О любви. — Письмо другу. — Фридланд. — Секретные миссии. — Стихи на Новый, 1811 год. — Послание самому себе

Марин много писал о любви. Это были искромётные послания, полные неотразимого обаяния, лихости и озорства. И кажется логичным предположить, что их автор — блестящий офицер, красавец и герой — был счастлив в любви.

А счастья-то как раз и не было. Марину так и не пришлось узнать, что такое домашний уют, жизнь тихая, семейственная. Походам, войнам и сражениям не было конца. В Аустерлицком сражении Марин получил несколько ранений: картечью в голову, в левую руку навывлет и двумя пулями в грудь. Одна пуля так и осталась в груди. Доктора признавали чудом то, что он не только выжил, но продолжил потом служить Отечеству.

Несколько лет назад в Государственный музей А. С. Пушкина поступил домашний альбом семьи Мариных. Альбом принадлежал Евгению Никифоровичу Марину, брату Сергея Марина. Среди рисунков, памятных записей, стихов и засушенных цветов оказалась страница с молитвой Пресвятой Богородице. Она оформлена с такой любовью, что становится ощутимым вложенное в эту работу бесконечное упование на заступничество Царицы Небесной. Возможно, что эта молитва передавалась из поколения в поколение и была вместе с Сергеем Мариным в походах и сражениях.

«Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирым и странным Предстательнице, скорбящим радости, обидимым покровительнице, зриши мою беду зриши мою скорбь: помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам инья помощи разве Тебе, ни инья Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь...»^[393]

На соседней странице альбома — изысканный акварельный рисунок. На нем изображена спокойная река, на берегу, среди дубрав и полей, виднеется светлый дом. Очевидно, те идеальные пенаты, о возвращении к которым мечтает настрадавшийся, израненный воин.

...И вот, после всего пережитого, судьба, казалось, улыбнулась ему. Очевидно, во время своего излечения Сергей Марин встретил девушку, далекую от высшего света, но добрую и сердечную. Ее легко было представить матерью семейства. Это была уже не та бурная, отчасти показная страсть, о которой он писал в стихах. Это было заветное чувство, о котором он мог рассказать лишь самым близким. Сергей стал подумывать об отставке.

В 1806 году он писал своему лучшему другу графу М. С. Воронцову, служившему тогда в Грузии: «Чтоб ты не дивился, что беспрестанно говорю об отставке, то надо мне сказать тебе, что я хочу жениться. Чему ж ты смеешься? Мне кажется, это неучтиво, когда смеются человеку в глаза; другое дело — заочно; и так прошу не улыбаться и слушать. Да, друг мой, ежели мне не помешают, то я женюсь на миленькой девочке; она не коновая, то есть не большого свету, что для меня и лучше, имеет прекрасное состояние, и я теперь на этот счет строю прекрасные воздушные замки. Очень жаль мне будет, если они разрушатся. <...> Нет ли у вас какого-нибудь святого? Помолись ему, чтоб я успел. Право, брат, пора на покой: кости мои и службой, и любовью изломаны...»

И надо же тут было случиться новой войне. В несчастной битве под Фридландом (итогом ее стал унижительный для России Тильзитский мир) Марина ранило осколком гранаты в голову.

За «отличную храбрость» он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом и золотым оружием. Но для Марина награды уже потеряли свой блеск. Фридланд отнял у него последнее здоровье. Возможно, что, пока Сергей воевал и залечивал раны,

барышня, на которой он мечтал жениться, встретила другого жениха — а может, вернувшись домой, Марин просто не захотел тревожить любимую девушку, понимая, что пуля в груди может в любой момент оборвать его жизнь, а никакого состояния семье он оставить не может.

Зато государь Александр I отличил израненного капитана гвардии, пожаловав его своим флигель-адъютантом. Вскоре уже Марин был отправлен в Париж, с депешами к императору Наполеону, затем выполнял другие конфиденциальные поручения государя... В 1809 году он был произведен в чин полковника и командирован в Тверь, где состоял при герцоге Георге Ольденбургском.

Именно в эту пору наезжая часто в Москву, Сергей Никифорович сблизился с Вяземским и Батюшковым. Думается, что Батюшкову были по сердцу многие строки Марина, а особенно эти:

...И так, друзья, схватясь руками
Вокруг вечернего стола,
Мы клятву подтвердим сердцами,
Друг друга охранять от зла.

Понятно, что знакомство с таким популярным в обществе человеком, флигель-адъютантом императора и боевым полковником, было весьма лестным для молодых литераторов. Как относились они к его поэтическим трудам, сказать сегодня невозможно, но очень жаль, что немногие серьезные стихи Марина тогда оставались неизвестны для широкого круга читателей.

Как, например, вот эти, написанные в канун еще относительно мирного 1811 года:

Год кончился — но все ль напасти
Пройдут с его последним днем?
Престанут ли держать нас страсти
Под тягостным своим ярмом?
Исправятся ль народов нравы,
Прервутся ли войны; кровавы,
Грабеж, убийство, плач и стон?
Дождемся ль мы Астреи царства,

И на развалинах коварства
Воздвигнет ли свой правда трон?
Ах! нет, друзья, и мы напрасно
Толкаться будем к счастью в дверь.
Веков с начала солнце красно
Сияло, точно как теперь...

В 1811 году Марину тридцать пять лет. Свой день рождения, 18 января, он, как и Новый год, отметил стихами. Нельзя сказать, что написание стихов к собственному дню рождения — проявление какого-то особенного себялюбия. Нет, это была некая внутренняя проверка, часть необходимой душевной работы мыслящего человека. Жуковский (родившийся также в январе) писал стихи к своим дням рождения на протяжении многих лет.

В послании самому себе Марин невольно подводит итоги увиденного, выстраданного и пережитого:

...Чтоб знать вернее, что есть свет.
Бродил довольно по России,
Шатался и в края чужие,
Ученых многих вопрошал,
Занявшись прозой и стихами,
Искал я правды с мудрецами,
Но труд и время потерял.

.....
Я тайну знать хотел природы,
Для нас ли мир сей сотворен,
Даны ль во власть нам тварей роды,
Для нас ли сонм планет вожжен.
Иль мира цепи преогромной,
Подобно твари всей бессловной,
Мы составляем лишь звено?
Но я мой труд терял напрасно.
И признаюся беспристрастно,
Что среди света мне темно.

Так от рождения полвека
В напрасных поисках прошло,
Не мог познать я человека,
Не знаю, свет — добро иль зло.
Куда мой взор ни обращаю,
Везде сомнения встречаю
И к истине теряю след.
Корабль руля и мачт лишенной,
Среди пучины разъяренной,
Так к неизвестности плывет...

Глава третья

*Так друг наш — с нами разлучаясь,
И славою войны прельщаясь,
Нас вспомнит в дальней стороне.
Средь пуль, бомб, ядер и картечи,
Среди смертей, среди увечий
Есть чувство дружбы на войне.*

*С. Марин. На отъезд флигель-адъютанта
в армию*

Марин в «Войне и мире». — Грек Гераков. — Братья Кайсаровы. — Письмо Оленину. — Письмо Давыдову. — Пуля Аустерлица

В канун 1812 года Сергей Марин — едва ли не единственный русский поэт, для которого круг военной элиты был таким же родным, как и круг литераторов. «Гвардейский речетворец» (выражение Ю. М. Лотмана) Марин создал игровой язык привилегированного офицерства. Это не грубый армейский жаргон, а именно причудливая словесная игра, ироничное смешение не одного, а нескольких языков: русского, французского, реже — немецкого. Стихи Марина расходились как самиздат, чаще всего — посредством писем и домашних альбомов.

Остроумные и бойкие сатиры Марина были популярны в армейском кругу с конца 1790-х годов. Очевидно, именно в ту пору они пришлись по душе Кутузову. Можно легко представить, как Михаил Илларионович умело вправлял цитаты из Марина даже в самый серьезный и глубокомысленный разговор, разряжая тем самым обстановку, а иногда и усыпляя бдительность собеседника.

Лев Николаевич Толстой упоминает Сергея Марина в одной из глав «Войны и мира» (т. 3, ч. 2, гл. 22) — там, где описывается встреча Пьера с Кутузовым на Бородинском поле перед самым сражением:

«Кутузов стал рассеянно оглядываться, как будто забыв все, что ему нужно было сказать или сделать.

Очевидно, вспомнив то, что он искал, он подманил к себе Андрея Сергеича Кайсарова, брата своего адъютанта.

— Как, как, как стихи-то Марина, как стихи, как? Что на Геракова написал: „Будешь в корпусе учитель...“ Скажи, скажи, — заговорил Кутузов, очевидно, собираясь посмеяться. Кайсаров прочел... Кутузов, улыбаясь, кивал головой в такт стихов».

В первые годы XIX века Гавриил Васильевич Гераков, грек родом из Пелопоннеса, был объектом для шуток не только Сергея Марина. Молодые стихотворцы (в основном это были кадеты или сослуживцы Марина по Преображенскому полку) просто изводили доброго грека своими эпиграммами.

Гераков терпеливо сносил шутки, а возможно, даже был доволен такой популярностью среди молодежи. Гавриил Васильевич преподавал историю в 1-м Петербургском кадетском корпусе. Из-за маленького роста его было еле видно за кафедрой, но преподавал он, по отзывам его бывших учеников, великолепно.

Причинами насмешек была не столько неказистость Геракова (кстати, примерно такого же роста был Денис Давыдов), а его простодушные сочинения. Одни лишь названия его произведений много могут сказать о их крайней наивности: «Для добрых», «Слава женского пола», «Твердость духа русских», «Вечера молодого грека», «Совет молодым офицерам», «И мои мысли по истреблении армий бонапартьевых мудрым князем Голенищевым-Кутузовым-Смоленским с русскими»...

Строки Марина, о которых вспоминает Кутузов в «Войне и мире», звучат так:

Будешь, будешь, сочинитель,
Век писать ты будешь вздор,
Будешь в Корпусе учитель,
А потом будешь майор...

У этих виршей был еще один вариант:

Будешь, будешь, сочинитель,
И читателей тиран,
Будешь в Корпусе учитель,
Будешь вечно капитан...

Какой из этих вариантов читал Андрей Кайсаров фельдмаршалу? Думаю, что в реальности — ни того ни другого. Андрей Сергеевич был, конечно, великим знатоком поэзии, и не только отечественной. Он и сам с удовольствием сочинял шуточные послания. Но при этом от грубоватого творчества офицера-преображенца он был определенно далек. Для цитирования маринских эпиграмм профессор Дерптского университета Кайсаров был совершенно неподходящим человеком — слишком тонок, изящен и аристократичен.

Другое дело — его младший брат Паисий. Дежурный генерал армии, руководитель канцелярии Кутузова, Паисий Сергеевич Кайсаров был профессиональным военным, прекрасно знал многих офицеров Преображенского полка. Марин не мог быть для него пустым звуком.

И мне кажется, Кутузову не было никакой нужды подзывать к себе такого интеллектуала, как профессор Кайсаров. Главнокомандующий хорошо представлял себе сферу его эрудиции. А стихи Марина фельдмаршалу скорее бы подсказал любой из офицеров. Мало того: нетрудно было найти и самого автора, ведь полковник Марин пребывал в должности дежурного генерала 2-й Западной армии.

* * *

После Бородинского сражения и гибели Багратиона, в сентябре 1812 года, в Тарутинском лагере, 1-я и 2-я Западные армии были объединены в Главную армию. Полковник Сергей Марин пока еще числился в прежней должности дежурного генерала. В это время он уже ощутил первые приступы смертельной болезни...

2 октября из Тарутинского лагеря Сергей Никифорович пишет Алексею Николаевичу Оленину большое письмо о положении армии и ходе боевых действий.

С Олениным Марин, очевидно, познакомился еще в тот период, когда будущий директор Императорской публичной библиотеки был офицером-артиллеристом. Позднее Марин не раз гостил в доме Алексея Николаевича, где и почувствовал себя профессиональным литератором.

Сохранилось послание Елизавете Марковне Олениной, присланное Мариным ко дню ее рождения.

Из мест, где всё теперь в движеньи,
Где от безделья все шумят,
Готовы, где всяк час в сраженьи
Без робости колоть, стрелять;
Где целый день твердят о бое,
Но всякий мыслит о покое,
Не могут Петербург забыть,
Марин, оставя все походы,
Шеренги, отделенья, взводы,
Желает с вами говорить.
Другим он петъ войну оставит,
Веселья нет в людей стрелять.
Он именинницу поздравит
И будет счастья ей желать.
Хочу, чтоб жизнь ее продлилась,
Плясала, пела, веселилась,
Чтоб был ее покоен дух.
А чтобы было ей не скучно,
Была б с друзьями неразлучно,
Чтоб был здоров ее супруг.

Очевидно, что письмо Оленину переправлялось из Тарутинского лагеря с надежной секретной почтой, поскольку в нем множество закрытых для посторонних сведений: от численности тех или иных наших подразделений до мест их дислокации.

По форме письмо напоминает обстоятельный отчет военного аналитика. Оно кажется слишком сдержанным для частного послания, даже суховатым. Но была причина именно для такого стиля письма.

Во-первых, Марин знал о гибели Николая Оленина. Он ни одним словом не затрагивает эту тяжелую тему, а о наших потерях упоминает лишь однажды. Во-вторых, Оленин имел большой военный опыт, и одними эмоциями его нельзя было убедить в том, что коренной перелом в пользу наших войск уже совершился. Это можно было доказать только цифрами и фактами.

Так как в официальных сообщениях наши потери по обыкновению занижались, Сергей Марин считает необходимым подчеркнуть: «Пожалуйста не думайте, что число наших убитых и раненых писал я, как обыкновенно в реляциях: оно истинно».

Возможно, на написание этого письма у него ушло полночи. Обстановка не располагала к эпистолярным беседам. В соседней комнате допрашивали пленного французского полковника, беспрерывно входили и выходили штабные офицеры и адъютанты с донесениями... Марин писал:

«Вам угодно знать о состоянии неприятеля и о положении усердных защитников отечества. Чтобы приступить к описанию сего, надо знать несколько об отступлении нашем от Москвы. Вам должно быть известно, что 1 сентября армия, подошед к Москве, заняла позицию на Поклонной горе и начала укрепляться. Светлейший князь провел все утро на биваках, делая распоряжения к защите первопрестольного града. Все были в полной уверенности положить головы, обороняя оный, или искоренить злодеев. В сих мыслях разъехались мы по квартирам. Около вечера собран был совет в Филях, где была главная квартира князя. Между тем граф Ростопчин, обнадеженный Кутузовым, что непременно будут драться перед Москвою, объявлением своим призвал жителей к защите их домов и храмов Божиих и старанием своим достиг до того, что не взирая на приближение неприятеля, в городе было совершенно покойно. В 11 часов вечера армия получила повеление отступить на другой день разными колоннами на Рязанскую дорогу.

2 сентября, в 3 часа пополуночи, армия тронулась, оставя арьергард под командою генерала Милорадовича в нескольких верстах от Москвы по дороге к Можайску. В 5 часов пополудни неприятель вступил в город. Подходя к оному, у самой заставы, был встречен Милорадовичем, который требовал от генерала Себастиани, чтобы идущие из Москвы обозы не были несколько времени беспокоиваны,

в противном случае грозил сжечь Москву. Себастиани обещал и выполнил слово: все выезжали в тот день беспрепятственно.

Армия, отошед от города 15 верст, остановилась и пребыла в сем положении трое суток; между тем на аванпостах происходили малые сшибки, и обозы беспрестанно тянулись на Боровский перевоз. По сем отошли к селу Кулакову, переправясь через Москву-реку на Боровском перевозе. Тут светлейший решился сделать фланговый марш и закрыть Калужскую дорогу, по которой шли к нам транспорты с продовольствием. Переход сей, не смотря на близкое расстояние от неприятеля, совершен был беспрепятственно, и армия, остановясь несколько времени в Подольске, достигла Красной Пахры — селения, принадлежащего графу Салтыкову. Тут, выбрав позицию, укрепились, имея арьергард свой разделенный на две части под команду однакоже г. Милорадовича; одна из оных заняла селение Мостовое на реке Десне, а другая на Пахре, близ деревни, принадлежащей г. Мамонову, на дороге от Подольска. Во все время отступления передовые наши посты беспрестанно брали пленных без малейшей с нашей стороны потери. От Красной Пахры отступила армия к Воронову, а потом к Тарутину за реку Нару, где и по сие время обретается. Граф Ростопчин до Тарутина следовал с армиею; когда же кончилась Московская губерния, то он поехал, как сказывал сам, в Ярославль. Оставляя Вороново, граф Ростопчин своими руками зажег дом свой и истребил пламенем всё к дому принадлежащее строение, оставя в церкви послание французам, которым упрекает их за разорение Москвы и земли Русской. Несколько времени зарево пылающей Москвы освещало темные осенние ночи. Выходящие оттуда жители сказывали, что большая половина превращена в пепел. Зло сие кончилось для нас пользою, ибо с домами вместе сгорели запасы, и неприятель остался совершенно без продовольствия. Доказательством сему служить может то, что выходящие из плену наши солдаты сказывают, что их заставляют молоть муку из заграбленного по селениям в зернах хлеба.

Теперешнее положение нашей армии имеет все выгоды: точка нами занимаемая от природы хороша и укреплена искусством, так что неприятель не осмелится напасть на нас и нарушить нашего спокойствия, которое нужно для образования вновь поступивших людей. Между тем как наши партии непрерывно беспокоят неприятеля разъездами, на все дороги, от Москвы к губерниям

лежащие, особливо же Боровскую и Можайскую: с сих дорог беспрестанно присылают в главную квартиру пленных сотнями, а если считать с убитыми нашими партиями и крестьянами, то урон неприятельский день в день можно полагать более пятисот человек в сутки. Продовольствием наша армия снабжена по 1-е ноября. Неприятель же, лишенный всех способов, терпит во всем недостаток, питается лошадьми и не имеет в виду получить хлеба ни откуда.

Крестьяне, оживляемые любовью к родине, забыв мирную жизнь, все вообще вооружаются против общего врага; всякий день приходят они в главную квартиру и просят ружей и пороха; то и другое выдают им без малейшего задержания, и французы боятся сих воинов более, чем регулярных: ибо озлобленные разорениями, делаемыми неприятелем, истребляют его без всякой пощады. Сие приносит двойную пользу, потому что уменьшает число войск вражеских, и потому что лишенный продовольствий неприятель не осмеливается посылать своих мародеров в ближайшие к нему селения иначе как с большими отрядами, которые старанием казаков всегда бывают перехвачены или побиты.

Если бы я хотел описывать все случившиеся происшествия в окружающих селениях и какие способы употребляют добрые, но раздраженные наши поселяне к истреблению врагов, то бы никогда не мог кончить. Не могу умолчать о поступке жителей Каменки. 500 человек французов, привлеченные богатством сего селения, вступили в Каменку. Жители встретили их с хлебом и солью и спрашивали — что им надобно? Поляки, служивши переводчиками, требовали вина; начальник селения отворил им погреба и приготовленный обед предложил французам. Оголоделые галлы не остановились пить и кушать; проведя день в удовольствии, расположились ночевать. Среди темноты ночной крестьяне отобрали от них ружья, увели лошадей и закричав ура! напали на сонных и полутрезвых неприятелей, дрались целые сутки и, потеряв сами 30 человек, побили их сто и остальных 400 отвели в Калугу. В Боровске две девушки убили 4 французов, и несколько дней тому назад крестьянки привели в Калугу взятых ими в плен французов. Сейчас, как я пишу сие, приведен французский офицер, который рассказывает, что у них уже не очень охотно, как офицеры, так и солдаты, ходят на фуражировку: партии наши набили им оскомину.

Между партизанами нашими более всех отличается артиллерист капитан Фигнер. Он начал тем, что пошел в Москву и в числе господских людей получил паспорт от французского начальства. С сим паспортом вышел он на Можайскую дорогу, собрал свой отряд по близости оной и опять пошел в крестьянском платье в сопровождении двух мужиков к французам, с которыми шел несколько времени, высмотрел где у них были орудия, говорил с нашими пленными и, отстав от них, соединился с отрядом своим, напал на неприятеля, взял 6 пушек, одного полковника, несколько офицеров и до ста человек пленных, побив не менее. Его отряд состоял из ста человек казаков, гусар и драгун, и с сею сборною командою был он окружен 7000 неприятелей, сделал плотину чрез непроходимое болото и ушел. Теперь имеет он отряд, из 500 человек состоящий, разъезжает кругом армии Бонапарта и всё что встретит истребляет; и, одевшись иногда французским офицером, ездит по их полкам, расспрашивает, судит с ними о положении армии и всегда удачно возвращается к своим.

Третьего дня, г.-м. Дорохов овладел Вереею, в которой французы с некоторого времени укрепились, причем взято одно знамя, две пушки, один полковник, 14 офицеров, 350 рядовых, побито более 200; с нашей стороны потеря состоит из 20 человек убитых и раненых. Пожалуйте не думайте, что число наших убитых и раненых писал я, как обыкновенно в реляциях: оно истинно.

Ахтырского гусарского полка, подполковник Давыдов с отрядом своим находится близ Вязьмы и нападает на транспорты и парки неприятельские; он много истребил и взял в полон...»^[394]

Прервем здесь на время рассказ Сергея Никифоровича и возьмем в руки другое письмо — оно адресовано Денису Васильевичу Давыдову и написано 9 октября, всего через неделю после отправки письма Оленину. Накануне, 8 октября, в районе Вязьмы отряд Давыдова разгромил неприятельскую колонну и взял около пятисот пленных.

«Любезный Денис!

Как я рад, что имею случай к тебе писать. Поздравляю тебя с твоими деяниями, они тебя, буйна голова, достойны; как бы покойный князь (Багратион. — *Д. Ш.*) радовался, он так тебя любил. Ты бессовестно со мной поступаешь, ни слова не скажешь о себе, или я между любящими тебя как обсевок в поле? Одолжи, напиши, а я на

досуге напишу тебе Оду. Я болен, как собака, никуда не выезжаю; лихорадка мучит меня непрерывно...

Армия неприятельская в очень дурном положении, не имеет ни провианта, ни фуража, всякой день теряет пленными множество. Винцингероде один взял в три недели три тысячи, а здесь так каждый день таскают сотнями. Наша же армия имеет все продовольствие, какое только вообразить может. 6-го числа атаковали мы авангард неприятельский. Гнали его как каналью, убили 2 генералов — Дери и Фишера, — более тысячи взяли, с лишком 20 пушек, 1 знамя, до 30 офицеров и до 1000 шельм... на днях к нам пришло до 30 полков казачьих донских. До свидания, друг и брат.

Преданный Марин».

Вернусь к письму Марина Оленину.

«...Князь Кудашев с двумя казацкими полками послан на Тульскую дорогу и тот же день прислал 200 человек пленных.

Граф Винцингероде, прикрывая Троицкую, Петербургскую и Ярославскую дороги, не позволяет неприятелю никак посылать своих разъездов далее 10 или 15 верст от Москвы. Одним словом Бонапарте находится в осаде, и надобно чудом каким-нибудь избавиться ему из сей западни.

Сверх того, кроме армии близ Москвы расположенной, имеем мы: в Риге гарнизон, соединенный теперь с корпусом Штенгеля, что составит около 40 т.; Винцингероде считает в отряде своем до 8 т.; граф Витгенштейн, к которому теперь присоединилась Петербургская дружина, может иметь до 40 т.; но что всего важнее, так это армия Чичагова, в которой под ружьем 90 т., следует теперь к Минску и перережет совершенно коммуникационную линию неприятеля, так что мудрено ему будет посылать курьеров без прикрытия, и то очень сильного. Чичагов в полном марше, и 27 сентября был он в Мозыре. Сверх войск, которые он теперь имеет, должны к нему присоединиться Малороссийские козаки и отряд генерал-лейтенанта Эртеля. Продовольствие он имеет верное, ибо Бобруйская крепость наполнена провиантом. Приближение осени также не может благоприятствовать французам. Лошади их так изнурены, что крестьяне наши не хотят их брать; следственно, при движении, он подвергнет себя опасности потерять всю артиллерию, которая и до сего возима крестьянскими лошадьми и волами. Расстояние, занимаемое его войском, не так

велико, чтобы могло доставить фураж для его конницы; они принуждены уже теперь стаскивать крыши с домов и ими кормить лошадей. Что ж будет далее? Отчаяние войск его не можно выразить, когда по взятии Москвы узнали они, что не должны надеяться мира. Это видно по тому, что все их генералы, офицеры и солдаты и даже сам Мюрат беспрестанно говорят о мире; но к счастью нашему о нем не помышляют, что вы увидите из приложенного при сем объявления, присланного сюда из Петербурга.

Таковые обстоятельства более и более улучшают наше положение и ведут неприятеля к бездне, куда завлекла его буйственная дерзость. Должно ожидать с помощью Божиею погибели врагов и торжества правды. Мы получили официальное известие, что Мадрит занят англичанами и что Иосиф Бонапарте бежит из Гишпании; сие угрожает нашествием самой Франции. Слух носится, что Неаполь взят и что король туда прибыл. Вчерась приехал курьер от Эртеля с известием, что он разбил Домбровского и взял 4 т. в плен.

Есть известие из Малороссии, что дворянство, воспламененное любовью к отечеству, вооружает своих людей, и посланные отсюда офицеры за ремонтами не могли нигде сыскать купить лошадей. Чтоб известить вас о всем, скажу, что для армии выписывают 100 000 полушубков, 100 000 пар лаптей и онучь для зимы и 6 т. лыж для стрелков: ибо в большие снега нельзя будет употреблять конницы, то беспокоить неприятеля должно стрелками.

С тех пор, как мы оставили Москву, неприятель потерял пленными до 12 т.; без малейшей нашей потери; чрез главное дежурство перешло их 4 т., но более еще взято их мужиками и отдельными партиями, которые посылают прямо в губернские города.

У нас жил один пленный полковник, который во всё отступление нашей армии был в неприятельском авангарде и уверял нас честью, что всё сие время не взяли они ни ста человек наших в полон, а что дезертиров наших он не видывал.

Сергей Марин» ^[395].

11 октября наполеоновская армия стала покидать Москву.

В эти же дни Марин вынужден был подать рапорт о нездоровье вследствие открывшихся старых ран. Виной всему была злосчастная пуля Аустерлица, которую не удалось извлечь из груди поэта в 1805 году.

Последнее письмо своему старому товарищу-преображенцу Михаилу Воронцову, раненному в штыковом бою в Бородинском сражении, Марин закончил словами: «До свидания, друг и командир. Помни и люби Марина».

9 февраля 1813 года Сергей Никифорович Марин скончался на даче графини Веры Николаевны Завадовской за Нарвской заставой.

Полковник Давыдов в этот день воевал уже далеко на Западе, гнал французов где-то между Равишем и Германштадтом. «Летучий отряд» генерала Чернышева вошел в Берлин.

21 марта 1813 года Батюшков писал Вяземскому, из Петербурга в Ярославль: «Марин умер, и я о нем жалею...»

ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ
МИНИСТР ДМИТРИЕВ
(Иван Иванович Дмитриев. 1760–1837)

Глава первая

Ошибка переплетчика. — Надпись на книге. — Дорога из Петербурга в Москву. — На пепелище. — Воспоминание о перувьевом камзолчике. — Горький дым. — Гибель Федора Дмитриева. — Витберг строит новый дом

Недавно, проходя по Старому Арбату мимо букинистических развалов, я остановился у одной книги. На корешке ее была оттиснута фамилия: «Дмитриев». Кто же это? Оказалось — Иван Иванович Дмитриев, два переплетенных тома его сочинений 1893 года издания. Переплетчик по рассеянности поставил на корешке лишнее «и» в фамилии. Кстати, скорее всего, прадеда поэта так и звали: «Дмитриев сын».

На пожелтевшем форзаце старой книги я увидел надпись чернилами округлым ученическим почерком: «Дорогой Ляле на добрую память от Гали в день ее рождения 4 июля 1942 г.».

Мне сразу вдруг представилась Москва той поры. Черные тарелки не выключались с утра и до ночи, и Галя, подписывая подруге книгу, могла слышать голос Левитана: «От Советского информбюро... В течение ночи на 4 июля на Курском, Белгородском и Волчанском направлениях наши войска вели бои с противником. На других участках фронта существенных изменений не произошло...» А накануне вечером радио сообщало: «После восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь...»

Отцы у девочек были на фронте, матери — на заводах или в госпиталях. Днем в коммуналке оставались только дети да старики. И должно быть, это Галина бабушка посоветовала внучке взять в подарок красиво переплетенный том Дмитриева. Тут и басни, и мадригалы, и элегии, и романсы...

Наивные, забавные, причудливые имена — «питомец Аонид любимый», «светлый Аполлон», «милый наш Анакреон», очаровательные Хлои, Темиры, Лизы и Лоры, и тут же «кролик, притаясь в кусточки, / Колеблет вздохами листочки...». И уверение: «...войны погаснет пламень...»^[396]

И все это значит, что скоро вернется папа и все соберутся за одним столом, а под открытым окном будет цвести сирень, и мальчик из соседнего подъезда позовет: «Галя!.. Ты дома? Пойдем в кино, а?..»

Бабушка подсказала девочке, как красиво можно подписать книгу. Так появились «робкие детские строки / в пустыне старинных страниц...»^[397].

* * *

«Всякий русский, всякий христианин имел в виду в старости Москву, а после смерти Царство Небесное!»^[398] (из письма неизвестного — И. П. Оденталоу, осень 1812 года).

29 июля 1813 года Иван Иванович Дмитриев, отпросившись со своей петербургской службы, поехал в родную Москву, чтобы заново устроить свой дом, «новый приют для моей старости» — так он говорил.

Прежний деревянный дом Дмитриева у Красных ворот, в приходе церкви Святого Харитония, сгорел вместе с уникальной библиотекой. О библиотеке Иван Иванович особенно печалился. Весть о ее гибели так поразила его, что он написал Карамзину письмо, полное слезных упреков: как же так, ты был в Москве при Ростопчине, знал, что Москва обречена, и не предпринял ничего, чтобы спасти хотя бы часть книг!

Николай Михайлович оправдывался (в письме от 26 ноября 1812 года из Нижнего Новгорода): «Не брани меня... Судьба моей собственной библиотеки служит тебе доказательством, что я не имел средств спасти твою: всё сгорело; а твои книги еще может быть и целы, в каменной палатке, крытой железом... Прости, милый старый друг»^[399].

Но никакая палатка, крытая железом, книг не спасла. Погиб и маленький садик с двумя липами, которых поэт окрестил Филемоном и Бавкидою...

Дмитриев и Карамзин были дружны с детства. Познакомились они при любопытных обстоятельствах: на свадьбе. Отец Карамзина, отставной капитан и сибирский помещик, женился тогда вторым

браком на родной тете Дмитриева. В ту пору, в 1770 году, Дмитриеву было десять лет, а будущему историографу — всего-то пять. В памяти Ивана Ивановича осталась такая подробность, какие обычно помнят девочки, а не мальчики: Коля Карамзин был на свадьбе «в шелковом перувьеневом ^[400] камзольчике с рукавами» ^[401].

Ни разу ничем не омраченная дружба Карамзина и Дмитриева длилась почти полвека и была для современников образцом человеческих отношений. Во многом благодаря двум этим очень разным людям несколько отвлеченный поэтический культ дружбы получил земное воплощение. Карамзин и Дмитриев показали, что кроме добрых эмоций для дружбы необходимы обязательность в переписке, постоянная взаимопомощь, общие культурные и житейские «проекты».

Счастьем для русской культуры была восприимчивость к этой традиции следующего поколения — Жуковского, Гнедича, Батюшкова...

* * *

Дмитриев, хотя и родился в Симбирской губернии, и впервые увидел Москву в тринадцать лет, — всем сердцем принадлежал Первопрестольной, был верным поклонником ее красоты, величия и уюта. Он чувствовал этот город так, как никто другой.

Не случайно эпиграфом к путеводителю по Москве, изданному в 1824 году, его составитель Сергей Глинка поставил слова Дмитриева: «Что матушки Москвы и краше и милее?» Эта строчка была написана в 1794 году, когда о Наполеоне еще в России никто не слышал, а сам воинственный француз только получил чин бригадного генерала и совершенно не предполагал оказаться однажды в старой русской столице. Москва же матушка считала, что свой покой она давно заслужила и вражеские пушки уже никогда не будут ее тревожить...

Дмитриев был одним из тех «допожарных» москвичей, которые создали ту неповторимую атмосферу добродушия, простоты обхождения и высокой культуры, которой славилась «старушка-Москва». Иван Иванович мог быть при высокой должности (в 1812 году он был министром юстиции), а мог и находиться в отставке — его

пост не имел значения в глазах соотечественников. К Дмитриеву все — от бедного московского обывателя до Александра I — относились с почтением, ценя его глубокую порядочность. Добряк, поэт и книжник — Иван Иванович умел радоваться чужому таланту и пользовался всякой возможностью, чтобы помочь людям. Возвращение в Москву такого человека означало возвращение в Москву ее нравственной и культурной атмосферы.

Ясную, звучную и солнечную поэзию Дмитриева русские люди знали с детства, его стихи легко запоминались. И потому стоило напомнить читателю лишь одну строчку, чтобы у него перед глазами возник счастливый лад отчего дома и милый город, навсегда канувший в огне войны.

Вот и Пушкин с ностальгическим чувством предварил московскую главу «Евгения Онегина» строками из стихотворения Дмитриева «Освобождение Москвы», посвященного событиям 1612 года: «Москва, России дочь любима, / Где равную тебе сыскать?»

* * *

Итак, лето 1813 года. Дмитриев подъезжает к Москве. «С самой нежной молодости моей въезд в Москву бывал всегда для меня праздником. Но в этот раз я взглянул на нее с сжатым сердцем: она раскрыла еще свежую мою рану...»^[402]

Иван Иванович вспомнил брата Федора, недавнюю горькую утрату. Федор Иванович не успел вовремя эвакуироваться из Москвы. Служил в Сенате, замешкался с бумагами, а когда хватился — уже и лошадей нанять было невозможно. Вместе с семьей пешком ушел из Москвы, а через семь верст их настиг отряд поляков. Захватчики отняли у Федора последние сбережения, а потом расстреляли его на глазах жены и детей...

Вот с какой горестью Иван Иванович въезжал в Москву. Предместья встречали стуком топоров и свежим запахом стружки, а от вида центральных улиц обмирало сердце: «Лучшая улица, Тверская, представлялась мне вся в развалинах. Знатнейшие по огромности своей дома покрыты копотью, без стекол, с провалившеюся кровлею

или совсем без оных; инде церкви без креста или с главами, обнаженными от позолоты...»^[403]

Карамзин с нетерпением ожидал Дмитриева в Москве. 1 июня 1813 года Николай Михайлович писал брату: «С грустью и тоской въехали мы в развалины Москвы. Живем в подмосковной нашего князя Вяземского; бываем и в городе... Здесь трудно найти дом: осталась только пятая часть Москвы. Вид ужасен. Строятся очень мало. Для нас этой столице уже не бывать...»^[404]

Еще в конце 1812 года Дмитриев купил в Москве участок земли у Патриаршего пруда, в приходе Святого Спиридона. Тогда же он познакомился с 25-летним архитектором Александром Витбергом и заказал ему проект дома.

Глава вторая

Манифест о взятии Парижа. — По следам Голенищева-Кутузова. — Звонок из Кимр. — Дорога в Печетово. — Храм-великомученик. — «Мы — кутузовские!» — Две трофейные пушки. — Разорение. — Баба Тоня

Дмитриев не раз читал свои стихи в кругу царской семьи, которая высоко ценила его человеческие качества и выдающиеся способности декламатора. Батюшков восхищенно писал о Дмитриеве, что тот «говорит, как пишет, и пишет так же сладостно, остро и красноречиво, как говорит»^[405].

Не случайно в мае 1814 года именно Ивану Ивановичу Дмитриеву была оказана честь прочесть народу высочайший манифест о торжественном вступлении государя с победоносной армией и союзными войсками в Париж и об отречении Наполеона от престола Франции.

А привез в Петербург этот поистине счастливый для всей России документ генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов^[406], командированный из Парижа императором Александром.

Это был достойный генерал, участник многих сражений, но в последующей отечественной истории он остался покрытым зловещей тенью. В 1825 году Голенищев-Кутузов сменил на посту генерал-губернатора Петербурга генерала Милорадовича, убитого на Сенатской площади, и Николай I назначит его руководить казнью декабристов. Георгиевский кавалер, награжденный также золотой саблей с алмазами, не уклонился от командования расправой над «жертвами безрассудной мысли»^[407].

Но и на камнях растут цветы. Арсений, внук грозного генерала, стал поэтом, одним из самых скорбных русских лириков. Его стихи чем-то созвучны позднему Вяземскому.

Светает. Я один. Все тихо. Ночь уходит
И тени за собой последние уводит...

Мне давно хотелось взглянуть на те места, на те темные аллеи, откуда явился в русскую поэзию этот грузный и нежный человек, отторгнутый современниками и забытый потомками. После революции и до сих пор — ни одного издания. При этом его стихи, его строки таинственно живут в русской словесности, мерцают, как яблоки в заброшенном саду.

Когда я написал об Арсении Голенищеве-Кутузове в газете, пришло много откликов. А однажды — спускаюсь по эскалатору в метро. Как птенец завозился в кармане мобильник:

— Это из Кимр звонят! Помните, вы писали про нашего графа, про Арсения Аркадьевича?

— Какого графа? — недослышал я.

— Голенищева-Кутузова!

— Помню, конечно.

— Тогда приезжайте! Встречаемся у библиотеки полдесятого утра и едем в Печетово.

— А что случилось?

— Война двенадцатого года!.. Печетово... Шубино... дедушка...

Связь пропала, и больше я ничего не расслышал.

Печетово, Шубино — тверские деревни Павла Васильевича Голенищева-Кутузова. После смерти деда там жил, писал стихи и был предводителем дворянства Арсений Голенищев-Кутузов.

Оказалось, в Печетове открывают памятную доску Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову — как участнику войны 1812 года.

И вот вместе с местными библиотекарями и краоведами жду «газель» у Кимрской библиотеки. Красивое старинное здание в самом центре города пришло в страшный упадок. На первом этаже, где размещается детская библиотека, ребяташек уже стараются не заводить в читальный зал — со стен валится штукатурка, на потолке — протечи от дождей, повсюду трещины. Библиотекари пытаются прикрыть всю эту нищету и позор картонными стендами да старенькими портретами классиков, но от такой стыдливости становится на сердце еще страшнее и горше.

Рядом с библиотекой, в витрине бывшего магазина среди битого стекла, окурков и бутылок сидит котенок и неотрывно смотрит на прохожих, будто спрашивая: вы люди или уже нет?

Но вот пришла «газель», и мы поехали. За райцентром асфальт быстро закончился, пошла разбитая грунтовка, подобная стиральной доске. Солнце бежало над лесом, можно было вздохнуть и любоваться на осень, проезжая сквозь березовые аллеи, насаженные здесь после войны школьниками и фронтовиками. Но почему-то всё стояли перед глазами кимрские темные улочки с редкими вставками ярко освещенных магазинов и коммерческих ларьков.

Несчастливее Кимр трудно что-то найти в 130 километрах от Москвы. Этот некогда уютный городок на берегу Волги, застроенный в конце XIX — начале XX века красивейшими особнячками в стиле модерн, в 1990-е годы оказался захвачен наркодельцами и криминалом. И сегодня ощущение, что город робко возвращается к жизни после оккупации.

Тут невольно вспомнишь о тяжелой руке Павла Васильевича Голенищева-Кутузова и вообще об институте военных губернаторов, назначавшихся императором в самые беспокойные регионы. Павел Васильевич не только подавлял свободомыслие, он чистил заржавевшую бюрократическую машину, занимался организацией новых производств и строительством. В Петербурге Голенищев-Кутузов завершил возведение здания Главного штаба, отстроил и открыл Мариинскую больницу на Васильевском острове и театральное училище. При нем (а он губернаторствовал всего четыре с небольшим года) было построено пять мостов, началось строительство зданий Александринского театра, Сената и Синода, трех институтов...

Таким же крепким хозяйственником он был и на своих землях в Тверской губернии. И это очевидно даже два столетия спустя: в деревнях Сельцы и Шубино люди и сегодня живут в каменных домах, построенных для своих крестьян Павлом Васильевичем. И это вовсе не вросшие в землю лачуги, а крепкие красивые дома из красного кирпича, в которых зимой тепло, а летом прохладно.

И сегодня тут нет ни одного жителя, будь то местный или дачник, кто бы не знал о Кутузове и не говорил с гордостью: «Мы — кутузовские».

Первое, что мы увидели, добравшись до Печетова, — величественный храм Святого великомученика Димитрия Солунского с двумя колокольнями. Специалисты говорят, что он был построен по образцу Преображенского всей гвардии собора в Санкт-Петербурге.

Храм возвели в 1830-е годы на средства Павла Васильевича и окрестных помещиков в память о павших в Отечественной войне 1812 года.

Сегодня он выглядит так, как будто в него попала авиационная бомба: часть крыши сорвана, стены с фресками позеленели от плесени, фрески разрушаются, пол в алтаре провалился, старинный иконостас, восстановленный было настоятелем отцом Михаилом, вновь разграблен и зияет пустотами. Один Тихон Задонский скорбно взирает на нас, и невозможно смотреть ему в глаза.

Семейный склеп Голенищевых-Кутузовых, находившийся в храме, разрыт и разграблен еще в 1960-е годы. Наградная сабля Павла Васильевича пропала бесследно.

В имении Голенищевых-Кутузовых не только храм напоминал о войне 1812 года, но и две наполеоновские пушки, которые Павел Васильевич привез с войны в качестве трофея. Два раза в год — на Пасху и престольный праздник — по приказу барина пушки производили салют.

Традиция эта, говорят, соблюдалась и при Арсении Александровиче. Вообще-то по наследству усадьба перешла поначалу не к нему, а к его старшему брату. В 1876 году брат оказался в долгах, имение Шубино было назначено к продаже за долги. 28-летний Арсений в эту пору был в свадебном путешествии за границей. Узнав о том, что грозит родовому гнезду, молодые срочно вернулись в Россию и выкупили его. Арсений не знал деда, тот умер за несколько лет до его рождения. Отца потерял в десять лет, и воспитанием Арсения в основном занималась сестра матери — монахиня Мария, насельница Зачатьевского монастыря. Очевидно, благодаря матушке Марии Арсений никогда не колебался в вере и все свои недюжинные силы отдал на службу Отечеству.

А таланты у него были не только литературные. Специалисты банковского дела почитают графа как выдающегося банкира. Арсений Аркадьевич блестяще руководил несколькими государственными банками, оставаясь при этом человеком весьма скромного достатка.

Впоследствии Арсений Голенищев-Кутузов был секретарем вдовствующей императрицы Марии Федоровны, председателем Санкт-Петербургского общества грамотности, участвовал в работе совета Императорского человеколюбивого общества, в обществе Красного

Креста и комитета общества приморских санаториев для хронически больных детей...

Храм в Печетове закрыли в 1930-е. Старики рассказывают, что когда в 37-м из Печетова увозили последнего его настоятеля, Моисея Васильевича Пузыревича, то все жители села вышли его проводить, а он все повторял: «Простите, люди добрые! Прощайте!..»

В церкви сначала хранили зерно, потом солили кожи. Если на рубеже XIX и XX веков по окрестным деревням было более трех тысяч прихожан, то сегодня, как рассказывает отец Михаил, тут осталась одна воцерковленная бабушка — Антонина Александровна Базанова. Во время войны ее, девчонку-подростка, арестовали за неявку на разработку торфа и отправили на воркутинские шахты. Когда война закончилась, девушку отпустили домой. Непосильная насадная работа отозвалась на здоровье, детей уже быть не могло. Было от чего обидеться на Бога и на людей, но не найти сейчас в округе более радостного, отзывчивого и приветливого человека, чем баба Тоня. С весны до осени она нянчится с детьми дачников, и они обожают ее.

На открытие памятной доски она пришла из своей деревни Сельцы, обнималась с печетовскими подругами, плакала и любовно глядела на ребяташек неклюдовской школы, всю церемонию стоявших в почетном карауле у портрета генерала от кавалерии Павла Васильевича Голенищева-Кутузова.

Портрет раньше висел в печетовской школе, напоминая ребятам о том, кто они и откуда. Сейчас в Печетове школьников не осталось — школу «оптимизировали» шесть лет назад. Местных ребят перевели учиться за тридцать пять километров в Неклюдово. Уехали все семьи, где были школьники. Ведь только это и держало людей — работы в этих местах и так давно нет. Разрушено все, созданное предками, — и дореволюционное, и советское. В Печетове бок о бок с храмом — заброшенный двухэтажный универмаг, построенный в 1980-х. Давно закрыт на замок клуб.

Переехал в село Малое Василево и многодетный отец Михаил, ведь у него уже и внукам сейчас нужна школа. И храм в Печетове опять остался сиротой. Государство, как и в 1920–1930-е годы, стало детонатором распада и запустения на селе. Вот закрыли школу, а ударили по всему здешнему жизнеустройству и загубили вместе со школой и только начавший возрождаться храм-великомученик...

Вьется под сводами печетовского храма — высоко-высоко, там, где фрески с ангелами, — какая-то белая птица. Очевидно, влетела через дыру в кровле, а обратной дороги найти не может. И не знаешь, как ей помочь.

Глава третья

*О, дерево друзей!
Сколь часто темным кровом
Развесистых ветвей
Ты добрых осеняло...*

*В. А. Жуковский. Из стихотворения,
посвященного Ивану Ивановичу
Дмитриеву. 18 апреля 1813 года*

Победный голос Дмитриева. — Штрихи к портрету. — Окончательное возвращение в Москву. — Встреча с Державиным. — Новый дом и сад. — Дерево друзей. — Новоселье

Итак, победу России привез Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, а возвестил о ней Иван Иванович Дмитриев. Произошло это в Казанском соборе после литургии. Высокий и статный Дмитриев взошел на первую ступень специального помоста, возведенного у амвона. С правой стороны стояли вдовствующая императрица Мария Федоровна со своим двором (Александр I и его братья находились при армии, императрица Елизавета Алексеевна и великие княгини пребывали в Европе), слева — послы иностранных государств. Не только храм, но и вся площадь перед собором была заполнена народом.

Эта минута, наверное, была лучшей в жизни Дмитриева. Вот когда оказался востребован его талант чтеца. Красивый голос Дмитриева разлетался по храму, вызывая ликование и слезы радости:

«Божиею милостию мы Александр Первый император и самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всенародно. Буря брани, врагом общего спокойствия, врагом непримиримым России поднятая, недавно свирепствовавшая в сердце отечества Нашего, ныне в страну неприятеля пренесшаяся, на ней отяготилась. Исполнилась мера терпения Бога защитника правых! Всемогущий ополчил Россию, да ею возвратит свободу народам и

царствам, да воздвигнет падшая!.. Неприятель пребыл непреклонным к миру. Но едва протек год, узрел он нас при вратах Парижа!.. Всемогуший положил предел бедствиям!.. Уверены Мы, что Россия падет на колена и прольет слезы радости у престола Всещедраго...»

С последним словом манифеста начался благодарственный молебен, все пали на колени, праздничным салютом загревели орудия, установленные на верках Петропавловской крепости, и над площадью грянуло «ура».

Несколько месяцев спустя в соборе были выставлены для осмотра 107 трофейных знамен и штандартов разгромленных французских, польских, итальянских полков, а также 28 ключей от европейских городов и крепостей.

Иван Иванович Дмитриев: портрет глазами современников

Министр, поэт и друг: я всё тремя словами
Об нем для похвалы и зависти сказал.
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами!

*Н. М. Карамзин. Стихи к портрету
И. И. Дмитриева*

И. И. Дмитриев был очень высокого роста, немного кос, осанку и походку имел важную, говорил протяжно и если рассказывал что стоя, то обыкновенно делал перед вами по два или три шага вперед и назад...

М. П. Погодин

Тут был в душистых седирах
Старик, по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», VIII глава

Однажды появился старик с совершенно белой головою и с лицом пурпуровым... Старец этот был роста высокого, держался довольно прямо и сановито, с легкою, однако, сутуловатостью. Грудь синего его фрака покрыта была с обеих сторон звездами, а батистовый белый галстук, туго накрахмаленный, окаймлялся орденскими лентами... То был... Иван Иванович Дмитриев.

В. П. Бурнашев^[408]

* * *

В сентябре 1814 года Иван Иванович оставил службу и вышел в отставку. Заняв деньги у товарища, он отправил в Москву домашний скарб и сам поспешил туда же.

Под Петербургом на почтовой станции в селе Чудове Дмитриев встретился с Гавриилом Романовичем Державиным и его супругою — Дарьей Алексеевной. Они не были близкими друзьями, Державин намного старше, но очень многое их сближало. Дмитриев вспоминал потом: «Оба были сенаторами, оба министрами, оба уже в отставке, и нечаянная встреча на большой дороге: какое представилось нам поле для сердечных чувств и размышления! Я пробыл с ним несколько часов лишних, как бы предчувствуя, что это было последнее наше свидание. Прощанье обоих нас растрогало. Я всегда был искренним почитателем высокого поэтического таланта и душевных качеств его. Уверен, что и он любил меня, особенно в первые годы нашего знакомства. В продолжение же моего министерства, хотя он по временам и досадовал на меня... но это нимало не ослабляло нашего внимания друг к другу...»^[409]

20 сентября 1814 года возобновилась московская жизнь Дмитриева. Пока достраивался дом, Дмитриев жил на Маросейке, в особняке Николая Петровича Румянцева. С этим выдающимся просветителем Дмитриева связывали и государственная служба, и любовь к русской истории, и страстное библиофильство. Румянцев до войны был министром иностранных дел, и, казалось бы, война 1812 года не могла быть для него неожиданностью, но весть о вторжении Наполеона в Россию чуть не убила Николая Петровича — у него случился «апоплексический удар» и он навсегда потерял слух.

В свои новые пенаты на Спиридоновке Дмитриев переезжает весной 1815 года. Первым делом он занялся разборкой книг, привезенных из Петербурга, а также устройством сада и цветников. Трудно сказать, что любил Иван Иванович больше — книги или цветы. Всю жизнь он собирал книги и сажал цветы.

Есть такое давнее выражение — «поле русской словесности». Так вот для Дмитриева родная словесность была не полем, а садом и огородом. Он спешил поддержать все доброе, что проклевывалось в литературе. Это Дмитриев открыл России талант Ивана Андреевича Крылова, отдав в печать две его первые басни.

«Не было писателя и стихотворца, — вспоминал его племянник, — которому бы Дмитриев не отдавал справедливости и той именно похвалы, которую тот заслуживает по мере своего таланта. Он разбирал строго, анализировал подробно и доказывал ошибки без уступчивости; но всегда хладнокровно, учтиво, с достоинством. Если же находил черту таланта, теплое чувство, хороший стих, он поднимал их, возвышал и показывал во всем блеске... Одного не прощал он: низкого чувства и низкого, площадного выражения, которые при нем уже начинались...»^[410]

В цитируемом выше письме А. И. Тургеневу Иван Иванович просит его делиться литературными новостями с уехавшим в Италию Батюшковым: «Однакож не лишайте его сведений о плодах отечественного огорода...»^[411]

В памяти друзей Иван Иванович был неотрывен от своего дома и сада. Много лет спустя Петр Андреевич Вяземский напишет стихотворение, которое так и назовет: «Дом И. И. Дмитриева».

Я помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям своим был рад,
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
Улыбка светлая и прелесть умной речи...

Первым в своем новом саду Иван Иванович посадил дуб — «дерево друзей», потом липы, за ними — яблони и груши.

Саженцы Дмитриев покупал в университетском ботаническом саду или их дарили гости. В ту пору, когда москвичи спешили

восстановить свои сады, скверы и палисадники, саженец какого-нибудь деревца или горшок с цветком были лучшим подарком.

Иван Иванович писал потом в воспоминаниях: «Подарок деревом или цветком прочнее прочего служит нам памятником дружбы или приязни. Луг мой пред домом украшается диким каштаном: он подарен мне был земляком моим Н. А. Дурасовым^[412], мы еще в детских летах обучались в Симбирске в одном училище. Он уже давно скончался; но я и поныне, проходя мимо каштана, всякий раз с чувством признательности вспоминаю его и наше детство. К подкреплению сказанного пришел мне на память еще один случай: в ясный полдень вносят в мой кабинет горшок с прекрасным, ароматным цветком; на вопрос мой: „Где его взяли?“ — „Это самый тот, — отвечают мне, — который в прошлом лете прислала к вам А. А. Г. на другой день, как она гуляла в саду вашем“. Ее уже не было в мире, а цветок ее и поныне, с каждою весною, возобновляет жизнь свою и напоминает об ней...»^[413]

В начале 1815 года Дмитриев собрал в новом доме друзей и знакомых, чтобы справить новоселье. Сильно обедневший и постаревший, Петр Иванович Шаликов вынужден был явиться в гости с пустыми руками, но зато он принес стихотворное послание, и, кажется, это его лучшее произведение в этом жанре. Оно дышит искренним почтением к Ивану Ивановичу:

Вхожу в твой новый дом с пустыми я руками,
Но с полным сердцем и душой
Желаний искренних, чтоб твердо небесами
Хранимы были ввек здоровье и покой
Хозяина под кровом мирным,
Чтоб украшался он
Любовью, дружбою; чтоб музы, Аполлон
Вновь поселилися с тобой и звуком лирным
Манили бы со всех сторон
К тебе по-прежнему своих питомцев милых;
Чтоб с ними и с самим собой
Не ведал ты отнюдь дней пасмурных, унылых;
Чтоб, словом, был своей доволен ты судьбой
И наконец свершил столь общее желанье,

Приятное для всех исполнил обещанье,
Которым некогда польстив нам, изменил!..
Но я как гражданин нимало не жалею
И выгодам царя, отечества радею:
Отечеству, царю ты с верностью служил!..
Но время, чтобы наш ты навсегда уж был.
И я к почтенному, желанному соседу
Нередко буду приходить
Для чувства и ума в полезную беседу
И пищу в ней душе и мыслям находить...
В саду твоём с тобой я буду Эпикуром,
По наслаждению роскошному души;
Приду подчас гулять с женою и Амуром...
Все будут для меня минуты хороши
В твоей обители прекрасной!
Но все их описать — труд был бы мой напрасный:
Он выше сил моих!
Другие скажут всё тебе в стихах своих,
И лучше моего: поэта новоселье —
Муз праздник, пиршество, веселье!

Обитель, что и говорить, получилась у Дмитриева прекрасной. «В одном из писем Карамзин говорит Дмитриеву: „ты мастер жить“: и мог это сказать с некоторою завистью. Карамзин вообще не имел этого мастерства. Он старался не сглаживать свой путь и осыпать его мягким песком и цветами...»^[414] (П. А. Вяземский).

Глава четвертая

Расставание с Карамзиным. — Царь вспомнил о погорельцах. — Никита Муравьев собирается в гости к Дмитриеву. — Катастрофа на Сенатской. — О райской вечности. — Портрет седого человека

Иван Иванович мечтал жить по соседству с Карамзиным, но тот прожил в Москве (а вернее, в подмосковном Остафьеве у Вяземского) лишь два с половиной года — с июня 1813-го по январь 1816 года. Потом Николай Михайлович навсегда переселился в Петербург.

Дмитриев проводил Карамзина, полный смутных предчувствий. Ему хотелось бы зазвать друга обратно, в Москву, но в Петербург Николая Михайловича пригласил жить император, и против этого трудно было найти аргументы.

В том же 1816 году Ивану Ивановичу пришлось вновь погрузиться в трагические события недавней истории. Москва восстанавливалась, но слишком медленно. Многие лишившиеся родного очага москвичи даже не начинали строиться и жили у родственников. Правительство бездействовало, объясняя свое равнодушие плачевным состоянием казны. Но вот в Москву приехал Александр I, вошел в положение пострадавших и создал «Комиссию для пособия разоренным в Москве от пожара и неприятеля». Хорошо зная порядочность и щепетильность Дмитриева, император назначает его председателем комиссии. В ее состав вошли еще четыре добропорядочных москвича^[415] (среди них, к примеру, архимандрит Симонова монастыря Герасим). Они должны были выбрать из множества пострадавших от московского пожара тех, кто не получал государственного жалованья, имел на руках семью и не мог самостоятельно восстановить дом и хозяйство.

Три года Дмитриев трудился в комиссии без выходных и отпусков. За это время комиссия разобрала 20 959 прошений и 15 330 просителям выплатила единовременные пособия на общую сумму 1 391 280 рублей. За свои труды Иван Иванович получил чин

действительного тайного советника и был награжден орденом Святого Владимира 1-й степени.

По вечерам в новом, но уже заботливо и со вкусом обжитом доме Дмитриева собирается литературная Москва. Михаил Дмитриев вспоминал: «Я помню, когда... Жуковский, Батюшков, Воейков, князь Вяземский, Дм. В. Дашков собирались часто по вечерам у моего дяди. Их разговоры и суждения о литературе были для меня, молодого еще человека, истинным руководством просвещенного вкуса... Жуковский, Батюшков, Воейков, к. Вяземский, В. Пушкин, Д. В. Давыдов, все менялись посланиями. Все они были в неразрывном союзе друг с другом; все ставили высоко поэзию, уважали один другого. Не было между ними ни зависти, ни партий. Молодые, только что начинавшие стихотворцы, понимая различие их талантов, смотрели, однако, на них, как на круг избранных... Все эти люди, о которых пишу теперь, кроме своих дарований, отличались изяществом, носили на себе печать благородства и в мыслях, и в поступках, и в обращении; это были люди избранные: такими почитали их и литераторы, и общество, отдавая им полную справедливость...»^[416]

Батюшков собирался посвятить Дмитриеву 19-ю главу в задуманной им истории русской словесности. Сохранился план этой книги. «Дмитриев. Характер его дарования, красивость и точность...»

В июле 1817 года, с нетерпением ожидая выхода своей главной книги «Опыты в стихах и прозе», Батюшков просит (в письме Гнедичу) один из причитающихся ему авторских экземпляров послать Дмитриеву: «Надпиши ему: от автора издатель. Не худо бы тебе и самому приписать словечко, отправляя книгу. Я ему обязан: в бытность в Москве он навещал меня, больного, очень часто и подарил мне свою книгу...»^[417]

А в 1818 году Батюшков оказался в Москве в те дни, когда Иван Иванович получил известие о смерти отца. Константин Николаевич несколько дней не отходил от Дмитриева, чтобы поддержать и утешить его.

Вскоре (в июле того же 1818 года) Батюшков получает назначение в неаполитанскую миссию и уезжает в Италию. Дмитриев радуется за него, надеясь, что южное солнце исцелит поэта. «Как счастлив Батюшков под голубым небом Авзонии!» — пишет Иван Иванович А. И. Тургеневу.

Дмитриев одним из первых приветствовал выход «Опытов в стихах и прозе» Константина Батюшкова. В ответ благодарный автор писал Дмитриеву: «Ваше превосходительство! Я имел счастье получить письмо ваше. Не нахожу слов для изъявления вам, милостивый государь, душевной признательности за ободрение маленькой музы моей. Здесь, в тишине сельской, рассудок мой заодно с истиною делает строгое вычитание из всего лестного, что изволите говорить на счет ее, но сердце упрямится и ничего уступить не хочет. Оно сохранит в памяти письмо ваше наравне с краткими, но сладостными минутами, которыми я наслаждался в доме вашем, в обители муз. Страшусь быть суетным и знаю твердо, что вы, милостивый государь, ободряете меня не за то, что сделал, но за то, что вперед могу сделать. Буду стараться оправдать внимание ваше, и если по прошествии некоторого времени удастся мне написать что-нибудь путное, прочное, достойное вас, то с слезами радости воскликну: Дмитриев ободрял некогда мою музу, он дал ей крылья, он указал мне прямой путь к изящному!

Не могу вам изъяснить, какое добро сделали мне ваши волшебные строки. Они меня воскресили. Я знал слабость моей прозы. Почти все было писано наскоро, на дороге, без книг, без руководства, и почти в беспрестанных болезнях. Большая часть моей книги писана про себя. Я хотел учиться писать и в прозе заготовлял воспоминания или материалы для поэзии. Сам не знаю, как решился напечатать это. Теперь же, на досуге, перечитывая все снова, с горестью увидел все недостатки: повторения, небрежности и даже какое-то ребячество в некоторых пьесах. Посудите сами, как сердце мое уныло! Вдобавок к несчастью, множество ошибок и грехов типографских поразили мои отеческие взоры. И чужие, и мои собственные грехи, полагал я, вооружат на меня нашу неблагоклонную публику и всех „расставщиков кавык и строчных препинаний“, которые, не имея великих талантов, не могут иметь и вашей снисходительности. Теперь я несколько спокойнее и по крайней мере себя не презираю. Надеюсь, что вторая часть будет исправнее и разнообразнее первой. Я молю судьбу мою, почти неумолимую, чтобы она позволила мне лично вручить ее вам, милостивый государь, как новый знак моей признательности и усердия. Меня никто до сих пор не ободрял, кроме вас, но зато несколько слов ваших — не смею и думать, чтобы они

были не искренни, — несколько слов ваших с избытком заменяют похвалу нашей публики и скажу более — все дары Фортуны, к поэтам редко благосклонной. Имею честь быть с глубочайшим почтением, милостивый государь, вашего превосходительства покорнейший слуга Константин Батюшков...»^[418]

Но не все, конечно, так почитали Ивана Ивановича. Не все молодые смотрели на Дмитриева с благоговением, как на литературного патриарха. Как раз в эту пору Екатерина Федоровна Муравьева настойчиво советовала сыну Никите познакомиться с Иваном Ивановичем. Никита отвечал матери с юношеским скептицизмом: «Любезнейшая маминька, в одном из последних писем ваших вы мне пишете, что я должен ездить в такие места, которые бы могли доставить удовольствие сердцу и уму, и советуете для первого ездить к Ивану Ивановичу Дмитриеву. В наш железный век никто не сообщает другому полезных наставлений или сведений — теперь не времена Сократов. Холодный расчетистый эгоизм — главное свойство всех, а ум состоит только в том, чтобы замечать смешное и забавляться только оным. Что ж касается до Дмитриева, то я скорее поверю его уму, нежели его чувствам. До сих пор мне еще не удавалось его застать, но я надеюсь, что на днях это мне удастся...»^[419]

Поколение, следующее за «детьми 1812 года», и вовсе не склонно было считаться с авторитетами. 22 сентября 1831 года Вяземский сетует в записной книжке: «Скотина Полевой имел наглость написать в альбом... стихи под заглавием „Поэтический анахронизм, или стихи вроде Василья Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева, писанные в XIX веке“. Как везде видишь целовальника и лакея, не знающего ни приличия, ни скромности. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Да и каков литератор, который шутит стихами Дмитриева...»^[420]

* * *

В Северной столице Карамзин станет очевидцем восстания декабристов на Сенатской площади, и это катастрофа сократит его дни.

Николай Михайлович тяжело заболел и скончался в конце мая 1826 года — ровно через десять лет после переезда из Москвы.

Слово *катастрофа* ввел в русский язык именно Карамзин. В 1837 году, после гибели Пушкина, оно возникнет напереулок у Ивана Ивановича Дмитриева в его письме Жуковскому: «...Тяжело, а часто будем вспоминать его, любезный Василий Андреевич. Думал ли я дождаться такого с ним катастрофа? Думал ли я пережить его?..»^[421]

Но совсем ненадолго пережил Иван Иванович Александра Сергеевича — всего на восемь месяцев...

Михаил Дмитриев так заключает свои воспоминания о дяде: «Над могилой Ивана Ивановича поставлен точно такой же памятник, какой над Карамзиным. Это было его желание, которое я и исполнил. Как у того „лежит венец на мраморе могилы“, так лежит бронзовый венок и на его могильном камне... Кроме обыкновенной надписи, состоящей из титулов, имени и фамилии, я велел на камне Дмитриева надписать слова св. апостола Павла: „Подобает бо тленному сему обещаться в нетление, и мертвенному сему обещаться в бессмертие“ <...> Я не хотел никакой надписи в стихах над могилой поэта, потому что не хотел над ней никакого знака человеческой суетности! Но, признаюсь, мне жаль, что я не прибавил после его имени: „Поэт времен Екатерины и министр Александра“»^[422].

* * *

Когда вы придете в музей А. С. Пушкина на Арбате (дом Хитрово, отстроенный заново после пожара 1812 года, — в нем Пушкин снимал квартиру в 1831 году) и подниметесь по деревянной лестнице в гостиную, то там вас обязательно встретит Иван Иванович Дмитриев. Его большой портрет — на стене справа: еще нестарый, но совсем седой человек, с благородной осанкой, с красной лентой через плечо. Он будет с отеческим вниманием смотреть на вас, благосклонно ожидая ваших учтивых приветствий и возвышенных мыслей.

Вот мой тебе портрет! сколь счастлив бы я был,

Когда б ты иногда сказала:

«Любезней и умней его я многих знала;

Но кто меня, как он, любил?»

АМУР И ПСИХЕЯ

(Послесловие)

*Бывают дни, когда, надев халат,
Я, к этой жизни более не годный,
Отдаться дням давно минувшим рад —
Своей причудой старомодной...
Пусть дождь стучит лениво за окном,
Бегут часы и год бежит за годом,
Причудой странною наполнил я весь дом,
И тени бродят хороводом...
И странно мне, что повесть дальних лет
Мне смутным эхом сердце взволновала.
Что это, правда, жил я или нет —
В дней Александровых прекрасное начало?..*

Барон Николай Врангель. 1907 г.

Когда пишешь о событиях двухсотлетней давности, то порой возникает необходимость посоветоваться с профессиональным историком. И тогда я звоню в Екатеринбург своему другу Алексею Геннадьевичу Мосину. Мне кажется, что он как профессор-историк куда ближе к 1812 году, чем я. Но иногда Алексей уезжает в деревню Волены, туда не дозвониться, и тогда я иду в маленький парк, что виднеется с моего восьмого этажа.

Там я встречаюсь с двумя очевидцами событий 1812 года. Они всегда являются раньше меня. И вечно они вместе — видно, не могут друг без друга.

Жаль, что им нельзя задать конкретный вопрос, навести справку. Нет, они хорошо слышат, и с памятью у них все в порядке. Но они — деревья. Две липы, каждая — в три обхвата. Их кроны смешиваются, сплетаются в небе, образуя непроницаемый шатер. Сколько раз мне приходилось пережить дождь под этим шатром, и ни разу даже капли не падало на меня.

Мне кажется, что деревья понимают нас куда лучше, чем мы их. Лиственный язык остается для нас тайной, из чего можно заключить, что мы существа весьма дремучие и неотесанные.

Впрочем, о чем-то мы догадываемся. В могучем и нежном шелесте лип нам слышится шелест Большого времени. Чтобы прикоснуться к 1812 году, не надо ничего фантазировать — достаточно приложить ладонь к стволу трехсотлетней липы.

Конечно, найти таких старушек в Москве почти невозможно. На всю столицу остался, кажется, лишь один тополь, видевший Александра I и Наполеона. Он растет на Старом Арбате, во дворе библиотеки «Дом А. Ф. Лосева». Елена Тахо-Годи рассказывала мне, как уже слепой Алексей Федорович подходил к тополи, прижимал к нему ладонь и они о чем-то неслышно беседовали...

Давно погибли Филемон и Бавкида^[423] — липы, которые росли в маленьком саду Ивана Ивановича Дмитриева (тогда, еще до пожара Москвы, он жил близ Красных ворот, в приходе Харитония в Огородниках).

Вослед Ивану Ивановичу я тоже решил дать имена «своим» липам и назвал их Психеей и Амуром. Тому есть веские, по-моему, основания.

Два века назад в наших местах (сегодня уже почти сомкнувшихся новой застройкой с Москвой) на высоком берегу Клязьмы располагалось село Спасское, родовая вотчина князя Николая Борисовича Юсупова. Здесь, в семейном склепе, были похоронены его мать и старшая сестра. Рядом, годы спустя, упокоятся он сам, его сын Борис и первая жена сына Прасковья Щербатова...

Неподалеку от храма Спаса Нерукотворного Образа, в окружении лип, стояла деревянная усадьба. В гостиной горел камин, в покоях висели портреты. Во дворе стояли на лафетах пушки, свистел и переливался голосами вольер с заморскими птицами, цвели по весне вишневые оранжереи. Но по сравнению с Архангельским, русским Версалем, здесь все было скромно, почти аскетично.

31 августа 1812 года Юсупов под охраной ста сорока верных людей, вооруженных топорами, эвакуировался из Москвы. Князь еще в начале войны предчувствовал, что блистательное Архангельское непременно разграбят — если не французы, то свои. Большинство ценных вещей он успел отправить в Астрахань девятью обозами, а

громоздкие скульптуры распорядился спрятать в своих подмосковных, не таких приметных, как Архангельское.

В Спасском схоронили от французов «Амура и Психею» Антонио Кановы. Мраморных влюбленных завернули в рогожу, перевязали мочальной веревкой и аккуратно закопали в землю где-то неподалеку от двух лип, тогда еще юных.

Французы простояли в Спасском три дня. Дом и храм не тронули, забрали лишь провизию и лошадей. После изгнания Наполеона управляющий радостно докладывал князю: «*Амур и Психе целы*».

Скромная усадьба в военную пору оказалась куда надежнее дворцов (блистательное Архангельское разграбили дворовые люди, роскошный дом Юсупова в Москве сгорел).

Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,
Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристипа,
К тебе являюсь я...

Это первые строки посвященного Юсупову послания Александра Сергеевича Пушкина. Мог ли я, читая в школе «К вельможе», предполагать, что каждое воскресенье буду проходить мимо его надгробия и видеть простую надпись, выбитую на мраморе: «Князь Николай Борисович Юсупов. Имел от рождения ровно 79 лет 9 мес»...

Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий...

Похоже, эти строки относятся не только к Французской революции, но и к переживаниям 1812 года. А следующие строки, кажется, и о нас...

...Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,

Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах...

Соседом Юсупова по Архангельскому был граф А. И. Остерман-Толстой, генерал от инфантерии, командовавший при Бородине 4-м пехотным корпусом. Ему принадлежало село Ильинское. После войны генерал задумал создать Аллею русской славы, высадив вдоль дороги, ведущей от Ильинского, 45 600 лип — по числу рядовых и офицеров русской армии, погибших и пропавших без вести в Бородинском сражении^[424].

Николай Борисович распорядился поддержать красивый почин соседа, и его люди принялись сажать липы навстречу Остерману-Толстому от Архангельского. За несколько лет грандиозная аллея была высажена. Юсупов и Остерман-Толстой свято следили за ее состоянием. Юсупов писал своему управляющему: «По дорогам, где липы высохли, то подсадить липами».

До наших дней дошли лишь небольшие участки аллеи вдоль Ильинского шоссе. Судьба старых деревьев давно никого не беспокоит, и с каждым годом их остается все меньше.

«Мои» Амур и Психея тоже в опасности. Летом под их сенью устраивают пикники, прямо возле них жгут костры... Люди не понимают, что пока живы эти липы — мы остаемся младшими (а скорее всего — последними!) современниками Багратиона и Милорадовича, Тучкова и Кутайсова, Жуковского и Батюшкова...

Эпоха умирает не с людьми, а с теплом их рук, таящимся в старом дереве. Еще лет тридцать назад петербургские ученые установили, что старый кипарис в Гурзуфе помнит Пушкина, излучая то же тепло, что и вещи поэта, сохранившиеся в музее на Мойке.

И если встать под сенью Амура и Психеи в осенний день, когда с утра туман окутывает окрестности, то кажется: где-то совсем рядом скачет в дыму сраженья близорукий Вяземский; победно размахивает у большой дороги куском арбуза Сергей Глинка; бежит с грузинским кинжалом на Воробьевы горы князь Шаликов; бредет, глотая пыль, к Можайску ополченец Василий Жуковский, а Батюшков подхватывает раненого генерала Раевского...

Обнимем их мысленно в это мгновение и поспешим промолвить: не бойтесь, милые друзья, — все пули и ядра пролетят мимо вас! А все, что произойдет с вами на этой войне, отольется не в пушки, но в Пушкина!..

Но — где там! — они не слышат, им не до нас.

Так оставим же наших поэтов с легким сердцем в той грозной и счастливой опасности. Да укрепят нас их строки и судьбы!

Приложение 1

«ДРУЖБА НАМ ЗВЕЗДОЙ ОТРАДЫ

БУДЬ...» [\[425\]](#)

Стихи поэтов 1812 года, посвященные дружбе и друзьям

В то время, когда писана большая часть посланий Жуковского, мы находим множество посланий наших поэтов друг к другу. Жуковский, Батюшков, Воейков, к. Вяземский, В. Пушкин, Д. В. Давыдов, все менялись посланиями. Все они были в неразрывном союзе друг с другом; все ставили высоко поэзию, уважали один другого. Не было между ними ни зависти, ни партий. Молодые, только что начинавшие стихотворцы, понимая различие их талантов, смотрели, однако, на них, как на круг избранных. Как было не процветать в то время поэзии!.. Все эти люди, кроме своих дарований, отличались изяществом, носили на себе печать благородства и в мыслях, и в поступках, и в обращении; это были люди избранные...

Михаил Дмитриев

Константин Батюшков

К Петину

О любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы — не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? Страшну ночь? —
Не люблю такой забавы, —
Молвил я, — и с музой прочь!
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготавлиал.
Счастлив ты, шалун любезный,
И в Питерской стороне;
Я же — всюду бесполезный,
И в любви, и на войне,
Время жизни в скуке трачу
(За крилатый счастья миг!) —
Ночь зеваю... утром плачу
Об утрате снов моих.
Тщетны слезы! Мне готова
Цепь, сотканна из сует;
От родительского крова
Я опять на море бед.
Мой челнок Любовь слепая
Правит детскою рукой;
Между тем как Лень, зевая,

На корме сидит со мной.
Может быть, как быстра младость
Убежит от нас бегом,
Я возьмусь за ум... да радость
Уживется ли с умом? —
Ах! почто же мне заране,
Друг любезный, унывать?
Вся судьба моя в стакане!
Станем пить и воспевать:
«Счастлив! счастлив, кто цветами
Дни любви украшал,
Пел с беспечными друзьями,
А о счастья... мечтал!
Счастлив он, и втрое боле,
Всех вельможей и царей!
Так давай в безвестной доле,
Чужды рабства и цепей,
Кое-как тянуть жизнь нашу,
Часто с горем пополам,
Наливать полнее чашу
И смеяться дуракам!»

Тень друга

*Sunt aliquid manes: letum non omnia finit;
Luridaque evictos effugit umbra rogos.*

Propertius^[426].

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем виляла Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветер, валов плесканье,
Однообразный шум, и трепет парусов,

И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, —
 Всё сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
 И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
 Вся мысль моя была в воспоминанье
Под небом сладостным отеческой земли,
 Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное сомненье навели.
 Мечты сменялися мечтами,
И вдруг... то был ли сон?... предстал товарищ мне,
 Погибший в роковом огне
Завидной смертию, над Плейскими струями.
 Но вид не страшен был; чело
Глубоких ран не сохраняло,
Как утро майское, веселием цвело
И всё небесное душе напоминало.
«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!
Ты ль это? — я вскричал, — о воин вечно милый!
Не я ли над твоей безвременной могилой,
При страшном зареве Беллониных огней,
 Не я ли с верными друзьями
Мечом на дереве твой облик начертал
И тень в небесную отчизну провождал
 С мольбой, рыданьем и слезами?
Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!
Или протекшее всё было сон, мечтанье;
Всё, всё — и бледный труп, могила и обряд,
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?
О! молви слово мне! пускай знакомый звук
 Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовью сжимает...»
И я летел к нему... Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,

Исчез, — и сон покинул очи.

Всё спало вокруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные казались безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,
Но сладостный покой бежал моих очей,
И всё душа за призраком летела,
Всё гостя горнего остановить хотела —
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

Июнь 1814 г.

К Дашкову

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары;
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах надранных;
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священной
Слезами скорби омочил.
И там — где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы

И новой славы наших дней;
И там — где с миром почивали
Останки иноков святых
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, — где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирных цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, —

Мой друг, дотолѣ будутъ мнѣ
Все чужды Музы и Хариты,
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в винѣ!

Мартъ 1813 г.

Василий Жуковский

Д. В. Давыдову

Мой друг, усастый воин!
Вот рукопись твоя;
Промедлил, правда, я,
Но, право, я достоин,
Чтоб ты меня простил!
Я так завален был
Бездельными делами,
Что дни вослед за днями
Бежали на рысях;
А я и знать не знаю,
Что делал в этих днях!
Все кончив, посылаю
Тебе твою тетрадь;
Сердитый лоб разгладь
И выговоров строгих
Не шли ко мне, Денис!
Терпеньем ополчись
Для чтенья рифм убогих
В журнале «Для немногих».
В нем *много* пустоты;
Но, друг, суди не строго,
Ведь из немногих ты,
Таков, каких *не много!*
Спи, ешь и объезжай
Коней четвероногих,
Как хочешь, — только знай,
Что я, друг, как *немногих*
Люблю тебя. — Прощай!

1818 г.

Денис Давыдов

«Жуковский, милый друг! Долг красен платежом...»

Жуковский, милый друг! Долг красен платежом:
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны;
Теперь прочти мои, биваком окуренны
 И sprысканны вином!
Давно я не болтал ни с музой, ни с тобою,
До стоп ли было мне?..

.....
Но и в грозах войны, еще на поле бранном,
 Когда погас российский стан,
Тебя приветствовал с огромнейшим стаканом
Кочующий в степях нахальный партизан!

1814 г.

Песня («Я люблю кровавый бой...»)

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
 Я люблю кровавый бой,
 Я рожден для службы царской!

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
 За тебя на черта рад.
 Наша матушка Россия!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем — рубиться молодцами,
Вечерком — горелку пить!
 Станем, братцы, вечно жить
 Вкруг огней, под шалашами!

О, как страшно смерть встречать
На постели господином,
Ждать конца под балдахином
И всечасно умирать!
 О, как страшно смерть встречать
 На постели господином!

То ли дело среди мечей:
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,
И не думая о ней!
 То ли дело среди мечей:
 Там о славе лишь мечтаешь!

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
 Я люблю кровавый бой,
 Я рожден для службы царской!

1815 г.

Песня старого гусара

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

Деды! помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вокруг огня
С красно-сизыми носами!

На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, шашки у бедра,
И диваном — кипа сена.

Трубки черные в зубах;
Все безмолвны — дым гуляет
На закрученных висках
И усы перебегают.

Ни полслова... Дым столбом...
Ни полслова... Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Но едва проглянет день,
Каждый по полю порхает;
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

Конь кипит под седоком,
Сабля свищет, враг валится...
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.

А теперь что вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Говорят умней они...

Но что слышим от любовова?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

1817 г.

Товарищу 1812 года, на пути в армию

Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой,
Туда, где бой кипит, где русский штык бушует,
Но о тебе любовь горюет...
Счастливец! о тебе — я видел сам — тоской
Заныли... влажный взор стремился за тобой;
А обо мне хотя б вздохнули,
Хотя б в окошечко взглянули,
Как я на тройке проскакал
И, позабыв покой и негу,
В курьерску завалясь телегу,
Гусарские усы слезами обливал.

1826 г.

Сергей Марин

К друзьям

Нет! полно, не хочу мечтою я прельщаться,
Что дружба в свете есть надеждою питаться.
Мой дух тем утешать не стану боле я;
Уже не веря вам, приятели, друзья;
Которых всякий день в собраниях встречаю,
Которых я любил — теперь, друзья, вас знаю!
И чувство дружества хочу навек пресечь.
Вы так же нужны мне, как фонари без свеч.
Иль дружбу чтите в том, чтоб жать с улыбкой руку?
Боитесь разделить с приятелем вы скуку.
До тех пор ласковы, доколь я был здоров.
Теперь же болен я — и несколько часов
Мне уделить нельзя. Вы отвратили взоры,
И лестница моя для вас Кавказски горы —
Вам пропасть кажется там каждая ступень.
Мгновение с больным осенний мрачный день.
Так льзя ль мне на сердца такие полагаться?
Простите, что умел доселе ошибаться,
И в свете быв большом, мнил находить друзей —
Простите, что не знал я в слепоте моей,
Что с смертными во всем, здесь надобно искусство,
И чтобы возбудить в сердцах приязни чувство
Богатство надобно и нужен знатный чин.
Я беден — нет чинов — так я сию один.

1810–1812 гг.

Петр Вяземский

Послание к Жуковскому из Москвы, в конце 1812 года

Итак, мой друг, увидимся мы вновь
В Москве, всегда священной нам и милой!
В ней знали мы и дружбу и любовь,
И счастье в ней дни наши золотило.
Из детства, друг, для нас была она
Святылицем драгих воспоминаний;
Протекших бед, веселий, слез, желаний
Здесь повесть нам везде оживлена.
Здесь красится дней наших старина,
Дней юности, и ясных и веселых,
Мелькнувших нам едва — и отлетелых.
Но что теперь твой встретит мрачный взгляд
В столице сей и мира и отрад? —
Ряды могил, развалин обгорелых
И цепь полей пустых, осиротелых —
Следы врагов, злодейства гнусных чад!
Наук, забав и роскоши столица,
Издrevле край любви и красоты
Есть ныне край страданий, нищеты.
Здесь бедная скитается вдовица,
Там слышен вопль младенца-сироты;
Их зрит в слезах румяная денница
И ночи мрак их застает в слезах!
А там старик, прибревший на клюках
На хладный пепл родного пепелища,
Не узнает знакомого жилища,
Где он мечтал сном вечности заснуть,
Склонив главу на милой дочери грудь;
Теперь один, он молит дланью нищей
Последнего приюта на кладбище.
Да будет тих его кончины час!

Пускай мечты его обманут муку,
Пусть слышится ему дочерний глас,
Пусть, в гроб сходя, он мнит подать ей руку!
Счастлив, мой друг, кто, мрачных сих картин,
Сих ужасов и бедствий удаленный
И строгих уз семейных отчужденный,
Своей судьбы единый властелин,
Летит теперь, отмщеньем вдохновенный,
Под знамена карающих дружин!
Счастлив, кто меч, отчизне посвященный,
Подъял за прах родных, за дом царей,
За смерть в боях утраченных друзей;
И, роковым постигнутый ударом,
Он скажет, свой смыкая мутный взор:
«Москва! Я твой питомец с юных пор,
И смерть моя — тебе последним даром!»

Я жду тебя, товарищ милый мой!
И по местам, унынью посвященным,
Мы медленно пойдем, рука с рукой,
Бродить, мечтам предавшись потаенным.
Здесь тускл зари пылающий венец,
Здесь мрачен день в краю опустошений;
И скорби сын, развалин сих жилец,
Склоня чело, объятый думой гений
Гласит на них протяжно: нет Москвы!
И хладный прах, и рухнувшие своды,
И древний Кремль, и ропотные воды
Ужасной сей исполнены молвы!
1813 г.

Эперне

Денису Васильевичу Давыдову

Икалось ли тебе, Давыдов,
Когда шампанское я пил
Различных вкусов, свойств и видов,
Различных возрастов и сил,

Когда в подвалах у Моэта
Я жадно поминал тебя,
Любя наездника-поэта,
Да и шампанское любя?

Здесь бьет Кастальский ключ, питая
Небаснословною струей;
Поэзия — здесь вещь ручная:
Пять франков дай — и пей и пой!

Моэт — вот сочинитель славный!
Он пишет прямо набело,
И стих его, живой и плавный,
Ложится на душу светло.

Живет он славой всенародной;
Поэт доступный, всем с руки,
Он переводится свободно
На все живые языки.

Недаром он стяжал известность
И в школу все к нему спешат:
Его текущую словесность
Все поглощают нарасхват.

Поэм в стеклянном переплете
В его архивах миллион.
Гомер! хоть ты в большом почете, —
Что твой воспетый Илион?

Когда тревожила нас младость
И жажда ощущений жгла,

Его поэма, наша радость,
Настольной книгой нам была.

Как много мы ночей бессонных,
Забыв все тягости земли,
Ночей прозрачных, благосклонных,
С тобой над нею провели.

Прочтешь поэму — и, бывало,
Давай полдюжину поэм!
Как ни читай, — кажись, всё мало...
И зачитаешься совсем.

В тех подземелиях гуляя,
Я думой ожил в старине;
Гляжу: биваком рать родная
Расположилась в Эперне.

Лихой казак, глазам и слуху,
Предстал мне: песни и гульба!
Пьют эпернейскую сивуху,
Жалея только, что слаба.

Люблю я русскую натуру:
В бою он лев; пробьют отбой —
Весельчаку и балагуру
И враг всё тот же брат родной.

Оставя боевую пику,
Казак здесь мирно пировал,
Но за Москву, французам в пику,
Их погребя он осушал.

Вином кипучим с гор французских
Он поминал родимый Дон,
И, чтоб не пить из рюмок узких,
Пил прямо из бутылок он.

Да и тебя я тут подметил,
Мой бородинский бородач!
Ты тут друзей давнишних встретил,
И поцелуй твой был горяч.

Дней прошлых свитки развернулись,
Все поэтические сны
В тебе проснулись, встрепенулись
Из-за душевной глубины.

Вот край, где радость льет обильно
Виноточивая лоза;
И из очей твоих умильно
Скатилась пьяная слеза!

1838 г.

«Так из чужбины отдаленной...»

... Так из чужбины отдаленной
Мой стих искал тебя, Денис!
А уж тебя ждал неизменный
Не виноград, а кипарис.

На мой привет отчизне милой
Ответом скорбный голос был,
Что свежей братскою могилой
Дополнен ряд моих могил.

Искал я друга в день возврата,
Но грустен был возврата день!
И собутыльника и брата
Одну я с грустью обнял тень.

Остыл поэта светлый кубок,

Остыл и партизанский меч;
Средь благовонных чаш и трубок
Уж не кипит живая речь.

С нее не сыплются, как звезды,
Огни и вспышки острых слов,
И речь наездника — наезды
Не совершает на глупцов.

Струей не льется вечно новой
Бивачных повестей рассказ
Про льды Финляндии суровой,
Про огнедышащий Кавказ,

Про год, запечатленный кровью,
Когда, под заревом Кремля,
Пылая мезтью и любовью,
Восстала русская земля.

Когда, принесши безусловно
Все жертвы на алтарь родной,
Единодушно, поголовно
Народ пошел на смертный бой.

Под твой рассказ народной были,
Животрепещущий рассказ,
Из гроба тени выходили,
И блеск их ослеплял наш глаз.

Багратион — Ахилл душою,
Кутузов — мудрый Одиссей,
Сеславин, Кульнев — простотою
И доблестью муж древних дней!

Богатыри эпохи сильной,
Эпохи славной, вас уж нет!
И вот сошел во мрак могильный

Ваш сослуживец, ваш поэт!

Смерть сокрушила славы наши,
И смотрим мы с слезой тоски
На опрокинутые чаши,
На упраздненные венки.

Зову, — молчит припев бывалый;
Ищу тебя, — но дом твой пуст;
Не встретит стих мой запоздалый
Улыбки охладевших уст.

Но песнь мою, души преданье
О светлых, безвозвратных днях,
Прими, Денис, как возлиянье
На прах твой, сердцу милый прах!

1854 г.

Друзьям

Я пью за здоровье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней.

Я пью за здоровье далеких,
Далеких, но милых друзей,
Друзей, как и я, одиноких
Средь чуждых сердцам их людей.

В мой кубок с вином льются слезы,
Но сладок и чист их поток;
Так, с алыми — черные розы
Вплелись в мой застольный венок.

Мой кубок за здравье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней;

За здравье и ближних далеких,
Далеких, но сердцу родных,
И в память друзей одиноких,
Почивших в могилах немых.

1862 г.

Поминки

Дельвиг, Пушкин, Баратынский,
Русской музы близнецы,
С бородою бородинской
Завербованный в певцы,

Ты, наездник, ты, гуляка,
А подчас и Жомини,
Сочетавший песнь бивака
С песнью нежною Парни!

Ты, Языков простодушный,
Наш заволжский соловей,
Безыскусственно послушный
Тайной прихоти своей!

Ваши дружеские тени
Часто вьются надо мной,
Ваших звучных песнопений
Слышен мне напев родной;

Ваши споры и беседы,
Словно шли они вчера,

И веселые обеды
Вплоть до самого утра —

Всё мне памятно и живо.
Прикоснетесь вы меня,
Словно вызовет огниво
Искр потоки из кремня.

Дни минувшие и речи,
Уж замолкшие давно,
В столкновеньи милой встречи
Всё воспрянет заодно, —

Дело пополам с бездельем,
Труд степенный, неги лень,
Смех и грусти за весельем
Набегающая тень,

Всё, чем жизни блеск наружный
Соблазняет легкий ум,
Всё, что в тишине досужной
Пища тайных чувств и дум,

Сходит всё благим наитьем
В поздний сумрак на меня,
И событьем за событьем
Льется памяти струя.

В их живой поток невольно
Окунусь я глубоко, —
Сладко мне, свежо и больно,
Сердцу тяжко и легко.

1864 г. (?)

«В воспоминаниях ищущу я вдохновенья...»

В воспоминаниях ищу я вдохновенья,
Одною памятью живу я наизусть,
И радости мои не чужды сожаленья,
И мне отрадою моя бывает грусть.

Жизнь мысли в нынешнем; а сердца жизнь в минувшем,
Средь битвы я один из братьев уцелел:
Кругом умолкнул бой, и на поле уснувшем
Я занят набожно прибраньем братских тел.

Хоть мертвые, но мне они живые братья:
Их жизнь во мне, их дней я пасмурный закат,
И ждут они, чтоб в их загробные объятья
Припал их старый друг, их запоздавший брат.

1877 г.

Приложение 2

КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ:

ПАРИЖСКИЕ ПИСЬМА [\[427\]](#)

Н. И. Гнедичу

27-го марта 1814 г., Juissi-sur-Seme, в окрестностях Парижа

Я получил твое длинное послание, мой добрый и любезный Николай, на походе от Арсиса к Меаух. И письму, и Оленину очень обрадовался. Оленин, слава Богу, здоров, а ты меня, мой милый товарищ, не забываешь! Теперь выслушай мои похождения по порядку. О военных и политических чудесах я буду говорить мимоходом: на то есть газеты — я буду говорить с тобой о себе, пока не устанет рука моя.

Я был в Сире, в замке славной маркизы дю-Шатле, в гостях у Дамаса и Писарева. Писарев жил в той самой комнате, где проказник фернейский писал «Альзиру» и пр. Вообрази себе его восхищение! Но и в Сире революция изгладила все следы пребывания маркизы и Вольтера, кроме некоторых надписей на дверях большой галереи; например: *Asile des beaux-arts* [Убежище изящных искусств (*фр.*)] и пр. существуют до сих пор; амура из анфологии нет давно. В зале, где мы обедали, висели знамена наших гренадер, и мы по-русски приветствовали тени Сирийской нимфы и ее любовника, то есть большим стаканом вина.

В корпусную квартиру я возвратился поздно; там узнал я новое назначение Раевского. Он должен был немедленно ехать в Pont-sur-Seine и принять команду у Витгенштейна. Мы проехали через Шомон на Троя. По дороге скучной и разоренной на каждом шаге встречали развалины и мертвые тела. Заметь, что от Нанжиса к Троя и далее я проезжал четыре раза, если не более. Наконец, в Pont-sur-Seine, где замок премудрой Летиции, матери всадника Робеспьера, генерал принял начальство над армией Витгенштейна. Прощай вовсе, покой! На другой день мы дрались между Нанжисом и Провинс. На третий,

следуя общему движению, отступили и опять по дороге к Троя. Оттуда пошли на Арсис, где было сражение жестокое, но непродолжительное, после которого Наполеон пропал со всей армией. Он пошел отрезывать нам дорогу от Швейцарии, а мы, пожелав ему доброго пути, двинулись на Париж всеми силами от города Витри. На пути мы встретили несколько корпусов, прикрывавших столицу, и под Fer-Champe-noise их проглотили. Зрелище чудесное! Вообрази себе тучу кавалерии, которая с обеих сторон на чистом поле врывается в пехоту, а пехота густой колонной, скорыми шагами отступает без выстрелов, пуская изредка батальный огонь. Под вечер сделалась травля французов. Пушки, знамена, генералы, все досталось победителю. Но и здесь французы дрались как львы. В Трипор мы переправились через Марну, прошли через Меаух, большой город, и очутились в окрестностях Парижа, перед лесом Bondy, где встретили неприятеля. Лес был очищен артиллерией и стрелками в несколько часов, и мы ночевали в Noisy перед столицей. С утром началось дело. Наша армия заняла Romainville, о котором, кажется, упоминает Делиль, и Montreuil, прекрасную деревню, в виду самой столицы. С высоты Монтреля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы продвигались вперед с большим уроном через Баньоле к Бельвиллю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллерией; еще минута, и Париж засыпан ядрами. Желать ли сего? — Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. «Слава Богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках! Мы отметили за Москву!» — повторяли солдаты, перевязывая раны свои.

Мы оставили высоту L'Erine; солнце было на закате, по той стороне Парижа; кругом раздавалось ура победителей и на правой стороне несколько пушечных ударов, которые через несколько минут замолчали. Мы еще раз взглянули на столицу Франции, проезжая через Монтрель, и возвратились в Noisy отдыхать, только не на розах: деревня была разорена.

На другой день поутру генерал поехал к государю в Bondy. Там мы нашли посольство de la bonne ville de Paris [доброе города Парижа (*фр.*)]; вслед за ним великолепный герцог Веченский. Переговоры кончились, и государь, король Прусский, Шварценберг, Барклай с многочисленною свитою поскакали в Париж. По обеим сторонам дороги стояла гвардия. «Ура» гремело со всех сторон. Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо.

Наконец мы в Париже. Теперь вообрази себе море народа на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара, все, все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой, все в конвульсии, все кричат: «Vive Alexandre, vivent les Russes! Vive Guillaume, vive l'empereur d'Autriche! Vive Louis, vive le roi, vive la paix!» [Да здравствует Александр, да здравствуют русские, да здравствует Вильгельм, да здравствует король австрийский, да здравствует Людовик, да здравствует король, да здравствует мир! (*фр.*)] Кричит, нет, воет, ревет: «Montrez nous le beau, le magnanime Alexandre!», «Messieurs, le voila en habit vert, avec le roi de Prusse». «Vous etes bien obligeant, mon officier» [Покажите нам прекрасного, великодушного Александра! Господа, вот он в зеленом мундире с прусским королем. Вы очень любезны, господин офицер (*фр.*)] И держа меня за стремя, кричит: «Vive Alexandre, a bas le tyran!» «Ah qu'ils sont beaux, ces Russes! Mais, monsieur, on vous prendrait pour un Français» (Да здравствует Александр! Долой тирана! Как хороши эти русские! Но, господин, вас можно принять за француза (*фр.*)] «Много чести, Милостивый государь, я, право, этого не стою!» — «Mais c'est que vous n'avez pas d'accent» [Но вы говорите без акцента (*фр.*)] и после того: «Vive Alexandre, vivent les Russes, les héros du Nord!» [Да здравствует Александр! Да здравствуют русские, эти герои севера! (*фр.*)]

Государь, среди волн народа, остановился у полей Елисейских. Мимо его прошли войска в совершенном устройстве. Народ был в восхищении, а мой казак, кивая головою, говорил мне: «Ваше благородие, они с ума сошли». «Давно!» — отвечал я, помирая со смеху.

Но у меня голова закружилась от шуму. Я сошел с лошади, и народ обступил и меня и лошадь, начал рассматривать и меня и лошадь. В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные

женщины, которые взапуски делали мне странные вопросы: отчего у меня белокурые волосы, отчего они длинные? «В Париже их носят короче. Артист Dulong вас обстрижет по моде». «И так хорошо», — говорили женщины. «Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца. Мундир очень прост! C'est le bon genre! [Очень благородно! (фр.)] Какая длинная лошадь! Степная, верно степная, cheval du desert! [лошадь пустыни! (фр.)] Посторонитесь, господа, артиллерия! Какие длинные пушки, — длиннее наших. Ah, bon Dieu, quel Calmouk!» [Ах, господи, какой калмык! (фр.)] После того: «Vive le Roi, — la paix! Mais avouez, mon officier, que Paris est bien beau?» [Да здравствует король, мир, но признайтесь, господин офицер, что Париж очень хорош? (фр.)] «Какие у него белые волосы!» — «От снега», — сказал старик, пожимая плечами. «Не знаю, от тепла или от снега, — подумал я, — но вы, друзья мои, давно рассорились с здравым рассудком».

Заметь, что в толпе были лица ужасные, физиономии страшные, которые живо напоминают Маратов и Дантонов, в лохмотьях, в больших колпаках, и возле них прекрасные дети, прелестнейшие женщины.

Мы повертели влево к place Vandome [Вандомской площади (фр.)], где толпа час от часу становилась сильнее. На этой площади поставлен монумент большой армии. Славная Троянова колонна! Я ее увидел в первый раз, и в какую минуту! Народ, окружив ее со всех сторон, кричал беспрестанно: «A bas le tyran!» [Долой тирана! (фр.)] Один смельчак влез наверх и надел веревку на ноги Наполеона, которого бронзовая статуя венчает столб. «Надень на шею тирану», — кричал народ. «Зачем вы это делаете?», «Высоко залез!» — отвечали мне. «Хорошо, прекрасно! Теперь тяните вниз — мы его вдребезги разобьем, а барельефы останутся. Мы их кровью купили, кровью гренадер наших. Пусть ими любуются потомки наши!» Но в первый день не могли сломать медного Наполеона: мы поставили часового у колонны. На доске внизу я прочитал: Napolio, Imp. Aug. monumentum [Памятник Наполеону, августейшему императору (лат.)] и проч.

Суета сует! Суета, мой друг! Из рук его выпали и меч и победа! И та самая чернь, которая приветствовала победителя на сей площади, та же самая чернь и ветреная и неблагодарная, часто неблагодарная! накинула веревку на голову Napolio, Imp. Aug., и тот самый неистовый,

который кричал несколько лет назад тому: «Задавите короля кишками попов», тот самый неистовый кричит теперь: «Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов! Низложите тирана! Что нам в победах? Торговлю, торговлю!»

О чудесный народ парижский! — народ, достойный и сожаления и смеха! От шума у меня голова кружилась беспрестанно; что же будет в Пале-рояль, где ожидает меня обед и товарищи? Мимо французского театра пробрался я к Пале-рояль, в средоточие шума, бегания, девок, новостей, роскоши, нищеты, разврата. Кто не видел Пале-рояль, тот не может иметь о нем понятия. В лучшем кофейном доме или, вернее, ресторации, у славного Verry, мы ели устрицы и запивали их шампанским за здоровье нашего государя, доброго царя нашего. Отдохнув немного, мы обошли лавки и кофейные дома, подземелья, шинки, жаровни каштанов и проч. Ночь меня застала посреди Пале-рояль. Теперь новые явления. Нимфы радости, которых бесстыдство превышает все. Не офицеры за ними бегали, а они за офицерами. Это продолжалось до полуночи, при шуме народной толпы, при звуке рюмок в ближних кофейных домах и при звуке арф и скрыпок... Все кружилось, пока «Свет в черепке погас, и близок стал сундук». О, Пушкин, Пушкин!

В день приезда моего я ночевал в Hotel de Suede и заснул мертвым сном, каким спят после беспрестанных маршей и сражений. На другой день поутру увидел снова Париж — или ряды улиц, покрытых бесчисленным народом, но отчета себе ни в чем отдать не могу. Необыкновенная усталость после трудов военных, о которых вы, сидни, и понятия не имеете, тому причиною. Скажу тебе, что я видел Сену с ее широкими и, по большей части, безобразными мостами; видел Тюльери, Триумфальные врата, Лувр, Notre-Dame и множество улиц, и только, ибо всего-навсего я пробыл в Париже только 20 часов, из которых надобно вычесть ночь. Я видел Париж сквозь сон или во сне. Ибо не сон ли мы видели по совести? Не во сне ли и теперь слышим, что Наполеон отказался от короны, что он бежит и пр., и пр., и пр.? Мудрено, мудрено жить на свете, милый друг! Но в заключение скажу тебе, что мы прошли с корпусом через Аустерлицкий мост, мимо Jardin de plantes, заставу des Deux Moulins по дороге Bois de Boulogne [Ботанический сад, Дё Мулен, Булонский лес (*фр.*)], где стоит лагерем полинявший император с остатками неустрашимых, и

остановились в замке Jouissy, принадлежащем почетному парижскому жителю. Этот замок на берегу Сены окружен садами и принадлежал некогда любовнице Людовика XIV. Еще до сих пор видны остатки и следы древнего великолепия. С террасы, примыкающей к дому, видна Сена. Приятные луга и рощи и загородные дворцы маршалов Наполеона, которые мало-помалу один за другим возвращаются в Париж, кто инкогнито, а кто и с целым корпусом. Новости, происшествия важнейшие теснятся одно за другим. Я часто, как Фома неверный, шупаю голову и спрашиваю: Боже мой! Я ли это? Удивляюсь часто безделке и вскоре не удивлюсь важнейшему происшествию. Еще вчера мы встретили и проводили в Париж корпус Мармона!!! и с артиллерией, и с кавалерией, и с орлами!!! Все ожидают мира! Дай Бог! Мы все желаем этого. Выстрелы надоели, а более всего плач и жалобы несчастных жителей, которые вовсе разорены по большим дорогам. «Остался пепл один в наследство сироте!»

Завтра я отправляюсь в Париж, если получу деньги, и прибавлю несколько строк к письму. Всего более желаю увидеть театр и славного Тальма, который, как говорит Шатобриан, учил Наполеона, как сидеть на троне с приличною важностию императору великого народа. — La grande nation! — Le grand homme! — Le grand siecle! [Великий народ! великий человек! великий век! (фр.)] Все пустые слова, мой друг, которыми пугали нас наши гувернеры.

Д. В. Дашкову

25 апреля 1814. Париж

Письмо ваше от 25-го января я получил на марше из Витри-ле-Франсе к Фер-Шампенуазу и не могу вам описать удовольствия, с каким я прочитал его, любезный друг Дмитрий Васильевич! Сто раз благодарю вас за приятное ваше послание к полуварвару Батюшкову, покрытому военным прахом, забывшему и музу и ее служителей, но не забывшему друзей, в числе которых вы всегда жили в моем сердце. Столько и столько приятных минут, проведенных с вами на берегах Невской Няяды и в шуме городском, и в уединенных беседах, где мы делали друг другу откровения не о любимцах счастья, нет, а о дружбе

нашей, о пламенной любви к словесности, к поэзии и ко всему прекрасному и величественному, дают мне право на ваше воспоминание. В жизни моей я был обманут во многом, — кроме дружбы. Ею могу еще гордиться; она примиряет меня с жизнью, часто печальной, и с миром, который покрыт развалинами, гробами и страшными воспоминаниями.

Теперь несколько слов о себе. Вы не будете требовать от меня целой Одиссеи, то есть описания моих походов и странствий: для этого неостанет у меня бумаги, а у вас терпения. Скажу вам просто: я в Париже! *La messagere indifférente* [Хладнокровная вестница (*фр.*)], молва известила вас давно о наших победах, чудесных поистине: это все давным-давно известно и расположено в английском клубе, и в газетах, и в «Сыне Отечества», и у Глинки, и в официальных одах постоянного Хлыстова; одним словом, это старина для вас, жителей мирного Питера. Но поверите ли? Мы, которые участвовали во всех важных происшествиях, мы едва ли до сих пор верим, что Наполеон исчез, что Париж наш, что Людовик на троне и что сумасшедшие соотечественники Монтестье, Расина, Фенелона, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона поют по улицам: «*Vive Henri quatre, vive se roi vaillant!*» [Да здравствует Генрих IV, да здравствует этот доблестный король! (*фр.*)] Такие чудеса превосходят всякое понятие. И в какое короткое время, и с какими странными подробностями, с каким кровопролитием, с какою легкостью и легкомыслием! Чудны дела Твоя, Господи!

Нет, любезный друг, надо иметь весьма здоровую голову, чтоб понять все дела сии и чтобы следовать за всеми обстоятельствами... Я от этой работы отказываюсь, я, который часто не понимал стихов Шихматова.

Скажу просто: я в Париже. Первые дни нашего здесь пребывания были дни энтузиазма. Теперь мы покойнее. Бродить по бульвару, обедать у *Beauvilliers*, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаеля, в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на Новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан,

жриц Венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и проч., и пр., и пр., теперь мы все это делаем и делать можем, ибо мы отдохнули и телом и душою. Заметьте, что мы имеем важное преимущество над прежними путешественниками: мы — путешественники вооруженные. Я часто с удовольствием смотрю, как наши казаки беспечно прогуливаются через Аустерлицкий мост, любуясь его удивительным построением; с удовольствием неизъяснимым вижу русских гренадер перед Трояновой колонной или у решетки Тюльери, перед Arc de triomphe [Триумфальная арка (*фр*)], где изображены и Ульм, и Аустерлиц, и Фридланд, и Иена. Еще с большим удовольствием смотрю на наших воинов, гуляющих с инвалидами на широкой площади, принадлежащей их дому.

Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг! Они должны быть благодарны нашему царю за спасение не только Парижа, но целой Франции, — и благодарны: это меня примиряет несколько с ними. Впрочем, этот народ не заслуживает уважения, особливо народ парижский.

Я вижу отсюда, что Дмитрий Васильевич, читая мое письмо, кивает головою. «Бог с ним, что мне до народа французского? Зачем Батюшков не говорит мне о литературе, о Лицее, о славных ученых мужах, об остроумных головах, о поэтах, одним словом — о людях, которым я, живучи на берегах Ладожского озера и Невы, обязан сладостными минутами, которых имя одно пробуждает в голове тысячу воспоминаний приятных, тысячу понятий...» Извольте! Я скажу вам, во-первых, что в шуме военном я забыл, что существовала академия из сорока членов, точно так, как забыл, что есть Беседа, академия русская и Палицын, гроза чтецов. Но раз, перейдя за Королевский мост, забрел я случайно к Дидоту, любовался у него изданием Лафонтена и Расина и, разговаривая с его поверенным, узнал ненароком, что завтра, в 3 часа пополудни, второй класс института будет иметь торжественное заседание.

Вооружась билетом для прохода чрез врата учености в сие важное святилище муз, я, ваш маленький Тибулл или, проще, капитан русской императорской службы, что в нынешнее время важнее, нежели бывший кавалер или всадник римский (ибо, по словам Соломона, «живой воробей лучше мертвого льва»), — я, ваш приятель, наступил на горло какому-то члену общества и вошел в залу, пробираясь сквозь

толпу любопытных. «Вот, садитесь здесь, или станьте за моим табуретом, — сказала мне прекрасная женщина, — здесь вы все увидите, все услышите». Я стал за табуретом и с удовольствием взглянул на залу и на блестящее собрание отборной публики... парижской! Зала прекрасная: она построена крестообразно. В четырех нишах, составляющих углы ротонды, поставлены четыре статуи — произведение искусства французских художников, статуи великих людей: Сюлли, Монтескье, Боссюета и Фенелона. От ротонды возвышается амфитеатр, посвященный для зрителей, ротонда для членов и важных посетителей. Члены сбирались мало-помалу, и француз, мой сосед, называл их: «Вот Сюар, вот Буфлер, вот Сикар, а это, с красной лентой, старик Сегюр! Вот Этьен, сочинитель хорошей комедии, возле него Пикар, любимый автор парижский!» С ними были и другие члены прочих классов института, которые имеют право заседаний в торжественных собраниях. Ни Парни, ни Фонтаня я не видел. Шатобриана, кажется, не было. Наполеон не согласен был на принятие его в члены — за несколько строк в речи автора «Аталы» против правления или против его особы. Зато и Шатобриан не пощадил его в последнем сочинении, которое вам, без сомнения, известно. Наконец, при плеске публики, при беспрестанных восклицаниях: «Vive Alexandre, le magnanime Alexandre! Vive le roi Prusse! Vive le General Sacken!» [Да здравствует Александр, великодушный Александр! Да здравствует король Пруссии! Да здравствует генерал Сакен! (*фр.*)] вошли наши герои.

Лакретель, секретарь академии, читал им приветствие. Я с удовольствием слушал его. Лакретель, как известно, имеет достоинства, вы, кажется, любите его «Историю революции» и «Историю последнего века».

Засим — снова рукоплескания, снова восклицания: «Да здравствует император!» и пр.

Они замолкли, и г. Вильмень, молодой человек 22-х лет, начал читать снова приветствие Государю и просил публику выслушать рассуждение «О пользе и невыгодах критики», увенчанное институтом. Молчание глубокое. Все слушали с большим вниманием длинную речь молодого профессора, весьма хорошо написанную, как мне показалось; часто аплодировали блестящим фразам и более всего тому, что имело какое-нибудь отношение к нынешним

обстоятельствам. «Браво, г. Вильмень! Продолжайте!» — говорили женщины. «Он мыслит, il pense» [Он мыслит (*фр.*)], — говорили мужчины, поправляя галстук с обыкновенною важностию... и все были довольны. — «Как он молод! И два раза увенчан академией! В первый раз за похвальное слово Монтаню...» — «В котором много глубоких мыслей», — прибавил мужчина, мой сосед. «Не мудрено, — продолжал другой, — он говорил о Монтане!»

По окончании речи президент обнял два раза молодого профессора и провозгласил его победителем при шумных рукоплесканиях публики. Государь и король Прусский сказали ему несколько учтивых слов: молодой автор был на розах.

Нынешний год была предложена к увенчанию «Смерть Баярда», но по слабости поэзии не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предмет назначен для будущего года? «Польза прививания коровьей оспы!» Это хоть бы нашей академии выдумать! Поэтому, любезный друг, можете судить о состоянии французской словесности. Ее не любил Наполеон. Математик во всяком случае брал преимущество над членом второго класса Института, что немало послужило упадку Академии французской. Правление должно лелеять и баловать муз: иначе они будут бесплодны. Следуя обыкновенному течению вещей, я думаю, что век славы для французской словесности прошел и вряд ли может когда-нибудь воротиться. Впрочем, мирное отеческое правление будет во сто раз благосклоннее для муз судорожного тиранского правления Корсиканца, который в великолепных памятниках парижских показал, что он не имеет вкуса и что «музы от него чело свое сокрыли».

Теперь вы спросите меня, что мне более всего понравилось в Париже? Трудно решить. Начну с Аполлона Бельведерского. Он выше описания Винкельманова: это не мрамор — Бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения! Я часто захожу в Музеум единственно затем, чтобы взглянуть на Аполлона, и как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, «лучшим возвращаюсь». Ни слова о других редкостях, ни слова о великолепной картинной галерее,

единственной в своем роде, ни слова о редкостях парижских, о театрах, о Дюшенуа, о Тальме и проч., и пр. Я боюсь вам наскучить моими замечаниями. Но позвольте, мимоходом, разумеется, похвалить женщин. Нет, они выше похвал, даже самые прелестницы.

Пред ними истощает
Любовь златой колчан.
Все в них обворожает:
Походка, легкий стан,
Полунагие руки,
И полный неги взор,
И уст волшебны звуки,
И страстный разговор,
Все в них очарованье!
А ножка... милый друг,
Она — Харит созданье,
Кипридиных подруг.
Для ножки сей, о вечны боги,
Усейте розами дороги
Иль пухом лебедей!
Сам Фидий перед ней
В восторге утопает,
Поэт — на небесах,
И труженик, в слезах,
Молитву забывает!

Итак, мне более всего понравились ноги, прелестные ноги прелестных женщин в мире. *De gustibus non disputandum* [О вкусах не спорят (*лат.*)]. У английского генерала недавно спрашивали французские маршалы, что ему более всего понравилось в Париже? «Русские гренадеры», — отвечал он. Пусть Северин скажет вам теперь, что ему понравилось в столице мира. Северин здесь; мы с ним видимся каждый день, бродим по улицам и часто, очень часто вспоминаем о Дашкове. Я ему уступаю перо до первого случая.

Теперь простите. Если Иван Иванович в Петербурге, то покорнейше прошу вас засвидетельствовать ему мое почтение.

Поклонитесь знакомым; обнимите Блудова и скажите ему, что Батюшков любит его и уважает по-старому. Тургеневу ни слова обо мне:

Ему ли помнить нас
На шумной сцене света?
Он помнит лишь обеда час
И час великий Комитета!

Батюшков

Н. Л. Батюшкову

Апрель — май 1814. Париж

Любезный батюшка! Благодаря Всевышнему, мы кончили войну победами в Париже, откуда я пишу к вам. Я не стану рассказывать вам, любезный батюшка, всех походов и сражений наших, предоставляя сие первому свиданию, которое, надеюсь, будет в скором времени, ибо я уже получил отправление в Петербург. Если обстоятельства позволят, то я поеду морем через Англию, но к концу июля надеюсь решительно быть в Петербурге.

Теперь, желая обрадовать родительское сердце ваше, скажу вам, что я, слава Богу, здоров и молитвами вашими из всех опасностей вышел невредим. Получил Анну, два раза представлен к Владимиру и к переводу в гвардию, что будет мне весьма выгодно и для штатской службы, если я принужден буду оставить военную.

Вот, любезный батюшка, что могу сказать теперь о себе. Газеты уведомили вас о подвигах наших: они невероятны. Мы вступили в Париж, как избавители, как герои. Я имел счастье быть свидетелем въезда государева и не могу описать вам этой великолепной и трогательной картины. Таким образом русские воины награждены за все труды, и сия награда лестнее всех.

Я теперь покойно живу в Париже и рассматриваю все, что он имеет редкого, удивительного. Наполеон оставил везде следы свои. Здесь на всяком шагу мы видим памятники, воздвигнутые ему в честь,

и, смеясь, вспоминаем, что герой теперь заключен на маленький остров. На днях я имел счастье видеть королевскую фамилию, которая заставит себя любить. Место тирана заступили добрые и честные люди. Вы читали несколько описаний Парижа, вы знаете, что Париж есть удивительный город; но я смело уверяю вас, что Петербург гораздо красивее Парижа, что здесь хотя климат и теплее, но не лучше киевского, одним словом, что я не желал бы провести мой век в столице французской, а во Франции еще и менее того.

Теперь, любезный батюшка, вы не будете требовать от меня подробного рассказа всем походам и трудам, перенесенным нами во Франции. Сия война может только сравниться с русскою. Но мы теперь покойны, и все трудности, и все горе забыто навеки.

Я ожидаю нетерпеливо счастливого времени, когда увижу и обниму вас. Мысленно обнимаю милого братца и сестрицу и целую родительские руки ваши, прошу вашего благословения и молитв ваших; они меня поддерживали в опасностях; они меня не оставят и на возвратном пути моем в отечество. Ваш преданный сын Константин Батюшков.

Н. И. Гнедичу

17 мая 1814. Париж

Посмотри мне в глаза, любезный друг... Ты сердишься? Я виноват! виноват, что не отвечал до сих пор на твое длинное послание, как только несколькими строками; виноват, что не писал к тебе ни разу из Парижу, — виноват, сто раз виноват! Но если б ты знал... если б был на моем месте!.. Если б вошел сюда после трехдневной битвы, покрытый пылью и кровью, как говорят твои братья-поэты, вошел при шуме восклицаний народных, куда? — в этот хаос, и зачем? — затем, чтоб пообедать в Пале-рояль и стремглав полететь на дорогу Фонтенебло, снова драться с великим Наполеоном, десять дней быть в авангарде, пока Наполеон сложит короны свои, возвратиться в Париж, скакать за делом из конца в конец, от Иенского моста к Аустерлицкому, от Монмартра к воротам Ада, потом бегать по театрам и пр., в Музее восхищаться Аполлоном и пр., жить с добрейшим из людей, с Дамасом, и наслаждаться его обществом, хотеть беспрестанно уехать и

не иметь на то возможности, наконец, простудиться и пролежать в постеле 7 дней: вот моя история. Верь ей или не верь — от тебя зависит. Но ты видишь, милый друг, что я не так-то виноват перед тобою. И могу ли быть по душе виноват перед милым, добрым Гнедичем, которому многим обязан в жизни?

Вот письмо к Дашкову: оно длиннее твоего. Я писал к нему в веселом духе. К тебе пишу между хлопот отъезда. Куда? В Лондон, если ничего тому не помешает.

Отправь письмо к Бахметеву и к сестрам. Вот еще к Вяземскому.

Обнимаю тебя сто раз. Дамас тебе кланяется. Он остается здесь *maréchal de camp* [бригадным генералом (*фр.*)] при принце д'Ангулемском; я его дружбой обязан — и вечно благодарен буду.

Обнимаю тебя. — Прости! — Батюшков.

Кроме 66 червонцев, я денег не получал от тебя.

П. А. Вяземскому

17 мая 1814. Париж

Милый, добрый, любезный друг, ты имеешь право сердиться на меня за мое молчание; я имею маленькое право, но простим великодушно друг другу лень и беззаботливость нашу. Дай себя обнять... и все забыто. По крайней мере я с моей стороны с удовольствием живейшим беру перо, чтоб напомнить о себе. И виноват ли я в самом деле? С тех пор как оставил Петербург, и еще более, с тех пор как мы переступили за Рейн, ни одного дня истинно покойного не имел. Беспрестанные марши, биваки, сражения, ретирады, усталость душевная и телесная, одним словом, вечное беспокойство: вот моя история. Заметь однако же, что при всяком отдыхе я думал о тебе и о России. Нет, милый мой Вяземский, тесно связана жизнь наша, слишком тесно, чтоб когда-либо мы могли забыть друг друга. Вот мое извинение: твое я выслушаю в Москве или на берегах Невы, где Богу угодно будет назначить нам свидание, — столь желанное мною! Ни слова теперь не скажу о Париже. Два месяца я живу здесь в непрерывном шуме и движении. Насилу и теперь отдохнул во время моей болезни, которая меня перед отъездом неделю продержала в постели. Северин меня часто посещал. Он сегодня отправился в

Лондон, куда и я намерен ехать, если что важное не воспрепятствует. Северин добрый, любезный молодой человек, я его еще более здесь полюбил. С ним-то мы часто беседовали о тебе и часто вспоминали старину, Москву, Жуковского и все, что любило и любит сердце.

Теперь, разбирая бумаги, я нахожу записки мои; когда-нибудь мы их переберем вместе, они тебе приписаны. Вот доказательство, что я тебя помнил и посреди шуму военного. Сожалею от всей души, что ничего не успел написать о Париже. Здесь что день, то эпоха. Но возможно ли было сообразить политические происшествия, которые теснились одно за другим? Можно ли было замечать мимоходом то, что принадлежит истории, переходить от Брюнета к Наполеону, ибо и тот и другой меня интересовали... одинаково, к стыду моему? Прибавь к этому беспокойнейшую жизнь офицера в хаосе парижском, и ты, конечно, извинишь мою лень. Но еще раз, и в последний, я с удовольствием воображаю себе минуту нашего соединения: мы выпишем Жуковского, Северина, возобновим старинный круг знакомых и на пепле Москвы, в объятиях дружбы, найдем еще сладостную минуту, будем рассказывать друг другу наши подвиги, наши горести и, притаясь где-нибудь в углу, мы будем чашу ликovou передавать из рук в руки... Вот мои желания, мои надежды! Я забыл, что океан разделяет нас — и что, может быть, не ранее августа я могу возвратиться в Петербург. Эта мысль меня печалит, отдых мне нужен, а более всего твое утешительное дружество.

Прости меня, милый друг, что я не буду говорить с тобой ни о Пантеоне, ни о музее: ты знаешь все редкости Парижа наперечет; ты знаешь подвиги наши по газетам и по одам г<рафа> Хлыстова. С тебя этого довольно. Я в Париж въехал с восхищением и оставляю его с радостью. Еще раз обнимаю тебя от всей души. Напомни обо мне княгине; напомни обо мне почтенному семейству Карамзиных; поздравь Николая Михайловича с нашими победами и с новыми материалами для Истории. Я желаю, чтоб Бог продлил ему жизни для описания нынешних происшествий; двойная выгода: у нас будет прекрасная полная История, и Николай Михайлович будет жить более века. Столько материалов!

Прости, будь счастлив и помни Батюшкова.

Это письмо отдай Пушкиной; обними за меня Василья Львовича, скажи мой душевный поклон его сестрице и Солнцеву и скажи

Алексею Михайловичу, что он худой пророк; он это теперь и сам чувствует. Nul n'est pro-phete dans son pays [Нет пророка в своем отечестве (*фр.*)].

БИБЛИОГРАФИЯ

1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987.

1812 год. Люди и события великой эпохи. Материалы Международной научной конференции; Москва, 23 апреля 2010 года. М., 2010.

1812 год. Люди и события великой эпохи. Материалы международной научной конференции; Москва, 19–20 апреля 2012 года. М., 2013.

Айзикова И. А. Сочинения об Отечественной войне 1812 г. в библиотеке В. А. Жуковского — Вестник Томского государственного университета. Филология. № 4. 2011.

Антокольский П. Г. Далеко это было где-то... Стихи. Пьесы. Автобиографическая повесть. М., 2010.

Баженова А. И. А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи. Саратов, 2004.

Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. М., 1989.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977.

Батюшков К. Н. Избранное. М., 2001.

Богодухновенная Псалтирь пророка Давида. М., 2011.

Бондаренко А. Ю. Милорадович. М., 2008.

Бондаренко А. Ю. Денис Давыдов. М., 2012.

Бородинское поле. 1812 год в русской поэзии. М., 2012.

Венок Карамзину. М., 1992.

Вологда. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.

Врангель Н. Н. Старые усадьбы. Очерки истории русской дворянской культуры. СПб., 2000.

Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1992.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1882.

Вяземский П. А. Лирика. М., 1979.

Вяземский П. А. Стихотворения. М., 1999.

Гвардейские артиллеристы. История. Биографии. Мемуары. М., 2008.

Глинка С. Прибавление к русской истории Сергея Глинки, или Записки и замечания о происшествии 1812, 13, 14 и 15 годов, им самим изданные. М., 1818.

Глинка С. Голос души и сердца благодарного отца семейства. Сочинение Сергея Глинки. М., 1832.

Глинка Ф. Иов. Свободное подражание священной книге Иова. СПб., 1859.

Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 годе). Ч. 1, 2. М., 1839.

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1987.

Гнедич Н. И. Сочинения. В 3 т. СПб.; М., 1884.

Гнедич Н. И. Стихотворения. Поэмы. М., 1984.

Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской 1812–1818. М., 2013.

Дельвиг А. А. Призвание. М., 1997.

Державин Г. Р. Сочинения с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1865–1866.

Дмитриев И. И. Сочинения. В 2 т. СПб., 1893.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869.

Долгова С. Р., Михайлова Н. И. «Края Москвы, края родные...». А. С. Пушкин и Москва. М., 2013.

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815). М., 2006.

Жуковский В. А. «Все необъятное в единый вздох теснится...». М., 1986.

Жуковский В. А. Стихотворения. СПб., 1835.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. М., 2004. Жуковский в воспоминаниях современников. М... 1999.

Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 1. Томск, 2010. Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013.

Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». М., 2001.

Записки о 1812 годе С. Глинки, первого ратника Московского ополчения. СПб., 1836.

Зверев В. П. Русские поэты первой половины XIX века. М., 2002.

И славили Отчизну меч и слово. 1812 год глазами очевидцев. М., 1987. История Лейб-гвардии Егерского полка за сто лет: 1796–1896. СПб., 1896.

Карамзин Н. М. Письма И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.

Катенин П. Сочинения. СПб., 1833.

Кошелев В. Алексей Степанович Хомяков. М., 2000.

Лазарчук Р. М. Литературная и театральная Вологда 1770–1800-х годов. Из архивных разысканий. Вологда, 1999.

Лазарчук Р. М. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец, 2007.

Лейб-егеря. История. Биографии. Мемуары. М., 2011.

Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994.

Майков А. Н. Путевой дневник 1842–1843. Итальянская проза. СПб., 2013.

Мешков В. М. «Гроза двенадцатого года...». Путеводитель по книгам об Отечественной войне. М., 2012.

Мосин А. Г. Род Демидовых. Екатеринбург, 2012.

Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. Воспоминания. Дневники. Письма. Статьи. Речи. М., 2005.

Муравьев Н. Письма декабриста. 1813–1826 гг. М., 2001.

Оленина А. А. Дневник Annette. М., 1994.

Отечественная война 1812 года в культурной памяти России. М., 2012.

Отечественная война 1812 года. Источники, памятники, проблемы. Материалы XIV Всероссийской конференции. Бородино, 4–6 сентября 2006 г. М., 2007.

Первые Всероссийские краеведческие чтения. История и перспективы развития краеведения и москвоведения (Москва, 15–17 апреля 2007 г.). М., 2009.

Переписка В. А. Жуковского и А. Е. Елагиной. 1813–1852. М.: Знак, 2009.

Песков А. М. Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. М., 1998.

Подмазо А. А. Образы героев Отечественной войны 1812 года. Военная галерея Зимнего дворца. М., 2013.

Пономарева В. В. и Хорошилова Л. Б. Университетский Благородный пансион. 1779–1830. М., 2006.

Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971.

Псалтирь в русской поэзии 17–20 вв. М., 1995.

Рутминский В. С. Русские поэты. XIX век: Первым был век золотой. Екатеринбург, 2011.

Русские мемуары. Избранные страницы. 1800–1825. М., 1989.

Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1–5. М., 1992–2007.

Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. В 2 ч. М., 1814.

Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданное Василием Жуковским. В 2 ч. М., 1810.

Сергеева-Клятис А. Ю. Батюшков. М., 2012.

Тиханов П. Николай Иванович Гнедич (1784–1884). Несколько данных для его биографии по неизданным источникам к столетней годовщине дня его рождения. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 33. № 3. СПб., 1884.

Тодд III У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в Пушкинскую эпоху. СПб., 1994.

Шмидт С. О. Василий Андреевич Жуковский — великий русский педагог. М., 2000.

Янушкевич А. С. Жанровый состав лирики Отечественной войны 1812 года и «Певец во стане русских воинов» В. А. Жуковского. — Проблемы метода и жанра: Сборник статей. Томск, 1982.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Москва. Начало XIX в.



В. А. Жуковский. Рисунок А. Воейковой. 1820 г.



Мария Протасова. Гравюра с рисунка В. А. Жуковского. 1811 г.



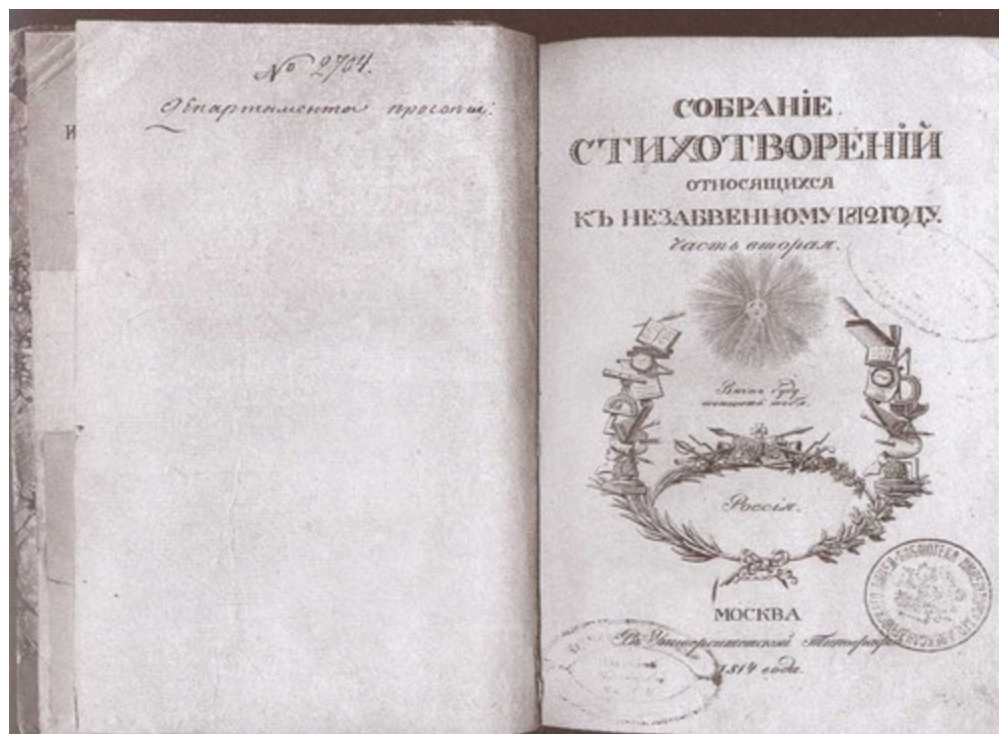
Вид города Орла. Начало XIX в.



Хоругви Московского ополчения 1812 года



*Генерал-лейтенант И. И. Морков, начальник Московского
ополчения*



*Антология «Собрание стихотворений, относящихся к
незабвенному 1812 году». Москва, 1814 г.*



Генерал-лейтенант граф П. А. Строганов



Прапорщик граф А. П. Строганов



«Певец во стане русских воинов». Издание второе. Санкт-Петербург, 1813 г.

П Р И К А З Ъ П О А Р М І Я М Ъ.

Сентября 9го дня 1812 года. No. 20.

Главная квартира
Село Красная Пахра.

Извещаю Армию что и ВСЕМОЛОСТВІЙШИЮ десницею возведенъ на сегоднѣ Генералъ Фельдмаршала Россійскаго Арміи.

Послѣ вселюднѣйшей моей признательности благодарности мохъ отнеситесь къ виновникамъ сего къ сподвижникамъ нѣмъ въ знаменитый день дѣла Августа.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО въ ознаменованіе отличнаго своего благоволенія къ побѣдѣ, одержанной надъ непріятелемъ дѣла Августа, Всемилостивѣйше пожалуетъ кѣмъ ишимъ чинамъ бѣжалымъ въ сраженіи шестъ дѣла по пяти рублей на человека.

Г. Г. Главнокомандующіе употребивъ шаковые сѣнки, благоволятъ приказавъ отослать ихъ къ Генералъ Интенданту Канкрину для удовлетворенія.

Послѣдствіемъ дождей и худыхъ дорогъ, предписывается: въ случаѣ если бы общаго идуще сюда провіантскіе транспорты каковою либо время въ пути задержаны, тогда замѣнить часть хлѣбной дачи илѣнно порцію илѣ основаніи прежде сего сдѣланнаго о семъ положенія. Между шѣмъ полкамъ приказавъ продовольствоваться изъ фуръ, находящихся въ селеніи Черныши.

Квартирмейстерской части полковнику Ейкену и прапорщику Щербинину находиться при Генералъ Лейтенантѣ Коновинцѣ.

Псковскому и Висоцкому полку благодарности за соблюденіе въ маршѣ порядка и за то, что неизвѣстно го окомъ мародерствъ.

Лейбъ-Гвардіи Семновскаго полка прапорщику Князю Трубецкому дму исправленъ должностію Адъютанта при Генералъ-Лейтенантѣ В Ржевскомъ.

Г. Г. Генераламъ позволено провести нѣмѣшнюю ночь въ ближайшихъ деревняхъ.

Составитъ по Арми: Генералъ-Мажоръ Потуховъ; Московской ксенной снамъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Графъ Санинъ и тайный Совѣтникъ Денисовъ, Мартуповскаго Гусарскаго полка Ромъ-мистръ Милорадовичъ, іго Егерскаго полка Московскаго ополченія Перучикъ Вредеревскій, Псковскаго Драгунскаго полка Прапорщикъ Князь Козловскій назначаются къ Генералу оми Кавалери Барону Бенингсу.

Подлинный подписалъ.

Главнокомандующій Арміи Фельдмаршалъ Князь Голицынъ
Кушузовъ.

Отпечатанный в походной типографии приказ по армиям от 9 сентября 1812 года



Братья Андрей и Паисий Кайсаровы. Андрей был гордостью русской науки, Паисий — славой русской армии. Оба были по-отечески любимы Михаилом Илларионовичем Кутузовым



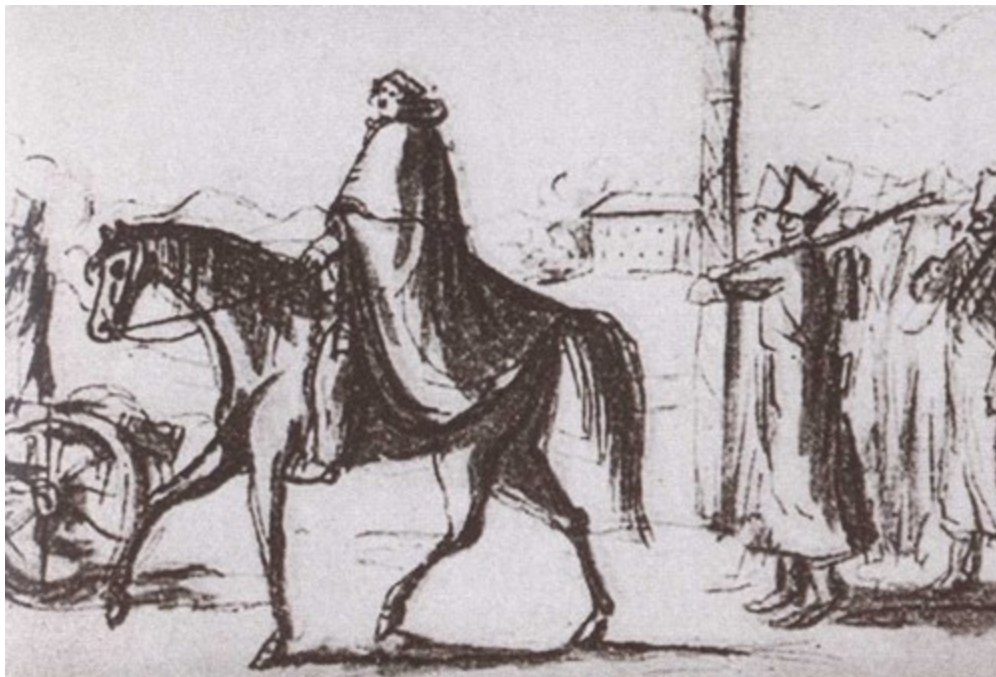
Московский университетский благородный пансион



Генерал от инфантерии А. Н. Бахметев. В 1812 году его судьба пересеклась с судьбами П. А. Вяземского и К. Н. Батюшкова



Рисунки из дневника Александра Чичерина: А. В. Чичерин и князь С. П. Трубецкой в палатке



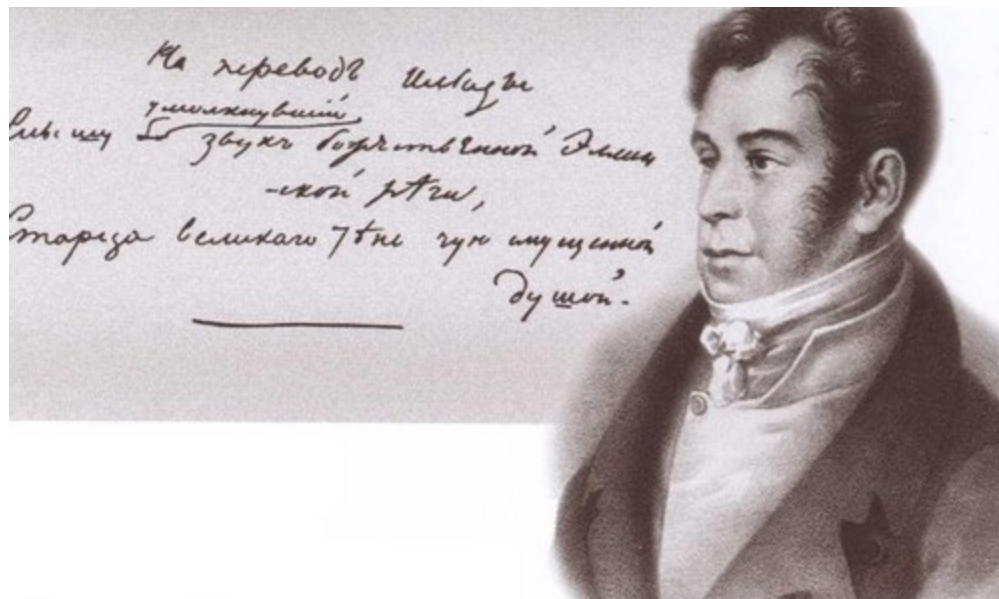
На марше. Александр Чичерин изобразил себя на лошади Аранке



Вступление русской гвардии в Вильну. 1813 г.



Бородинское сражение



*Автограф стихотворения А. С. Пушкина «На перевод Илиады» и
портрет Николая Ивановича Гнедича*



*Н. И. Гнедич, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, И. А. Крылов.
Литография с картины Г. Чернецова. 1832 г.*



Анна Оленина



Николай Оленин



Петр Оленин



Алексей Николаевич Оленин



*Князь Петр Андреевич Вяземский. Литография с оригинала
И. В. Вивьена де Шатобрена*



Княгиня Вера Федоровна Вяземская. Художник А. Молилари

Ордеръ.
Московская Спасская, 1^{ая} казначейская кон-
тора князя Гавриилу Глебовичу Вяземскому
Вяземскому
Князь отъездъ воеводу Справедливое
отъездной Спасской конторы, представилъ
Ваше кр. ордену Св. Владимира 4^{ой} степени
Св. Виктора. Его Высочество г.н. Высочай-
ше данной ему Высочайше удостоенъ Вас.
Его похвалить. Похвалу и похвалу
своей на себя возложить. В удаче
своихъ изъяснить Васъ все.

Генералъ Милорадовичъ
Октября 7 дня
1812 года

Представление князя Вяземского к ордену Святого Владимира 4-й степени, подписанное генералом Милорадовичем

№ 111
к Жуковскому.
(1813 год.)

И так, мой друг, увидимся мы вновь,
Въ месяц, всегда свиданной нам, и милой:
Въ ней ждем мы и дружбу и любовь
И счастье въ ней дни наши золотимъ!
Издательства, друг, для насъ отецъ отца
Святии, снѣ драгихъ востолмнаний;
Тиротехини, снѣ, веселый, снѣ, теланий
Вотъ повстанъ намъ ведетъ отивлена.
Вотъ красится дней нашихъ старина,
Дней тогости и аснѣ и веселѣ
Мелкнущи, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
но что теперь твой встрѣтитъ крахъ въ
Въ стоишь сей и мира и отирадъ?
радъ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
и что покой, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
наудъ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
Идереви край, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
Есть твой край, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
Вотъ бедная скитается вдовица,
Тандъ снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
идъ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
и ноги, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
а тандъ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
на хладный, снѣ, снѣ, снѣ, снѣ,
не узнаетъ знакомого, снѣ, снѣ,

П. А. Вяземский. Послание к Жуковскому. 1813 г.



*Вид усадебного дома в Остафьеве со стороны парка. Художник
И. В. Вивьен де Шатобрен. 1817 г.*



Граф Ф. В. Ростопчин. Художник О. А. Кипренский



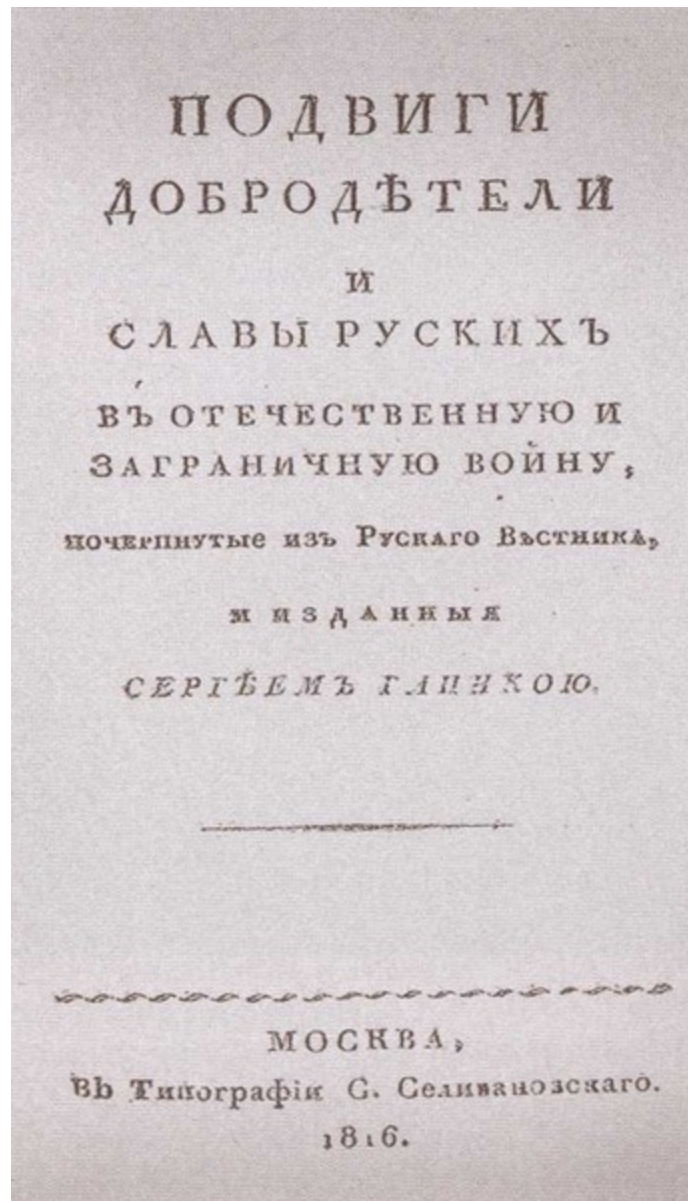
Сергей Глинка. Литография с портрета художника В. П. Лангера



Соборная площадь в Московском Кремле



Генерал-майор А. А. Тучков 4-й



*Обложка книги, которой зачитывались несколько поколений:
«Подвиги добродетели и славы русских в Отечественную и
Заграничную войну, почерпнутые из Русского Вестника и изданные
Сергеем Глинкою». Москва. 1816 г.*



Амур и Психея. Скульптор Антонио Канова. 1794–1797. Мрамор. Вдохновлявший поэтов шедевр находился во дворце князя Н. Б. Юсупова в Архангельском. В 1812 году скульптура была вывезена в имение Спасское и зарыта в парке. Отряд наполеоновской армии останавливался в Спасском, но знаменитой скульптуры французы не нашли



Изгнание французов из России



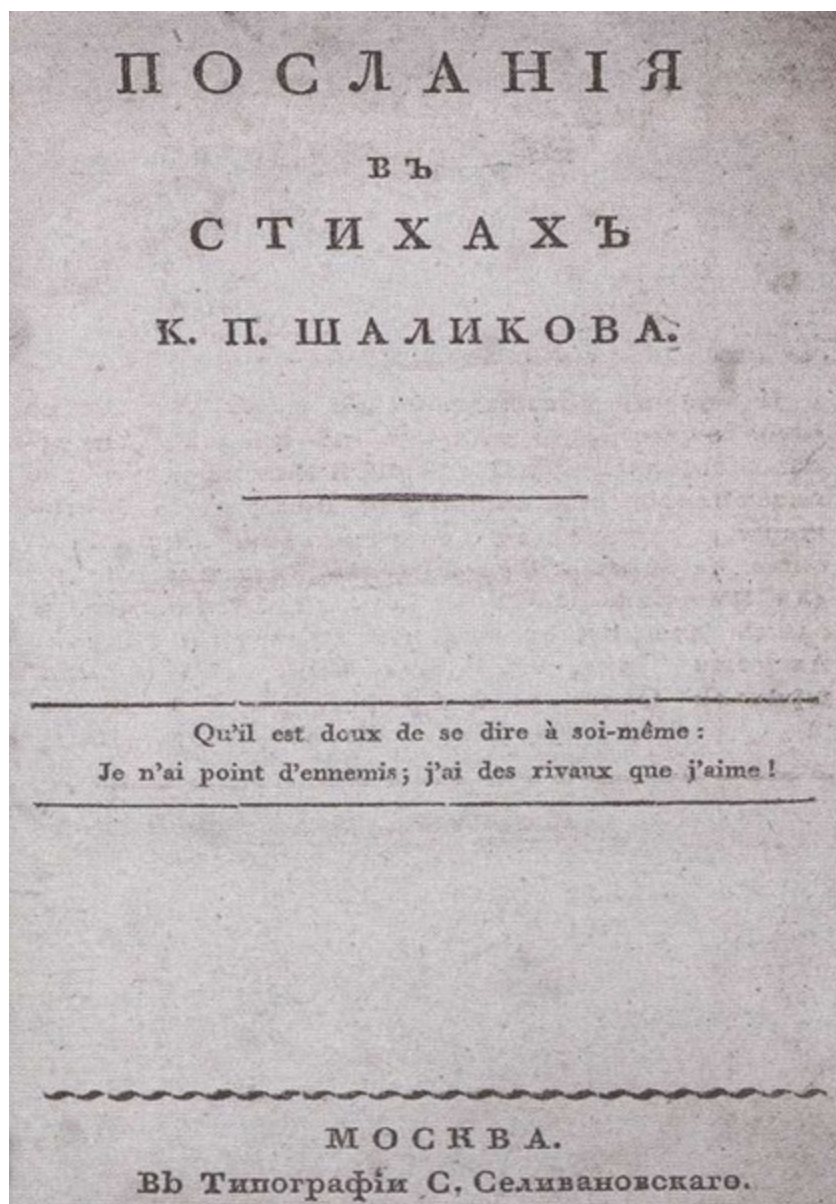
Пожар Москвы в сентябре 1812 года



«Генеральный план Москвы с показанием сгоревших кварталов».
Неизвестный художник. 1814 г.



Князь Петр Иванович Шаликов. Неизвестный художник. 1810-е гг.



*Обложка книги «Послания в стихах» князя Шаликова. Москва.
1816 г.*

Ея Высокоблагородию
Милостивой Государини
Александрѣ Николаевнѣ
Батюшковой
въ Сергеевцѣ

Адрес на письме сестре. Автограф



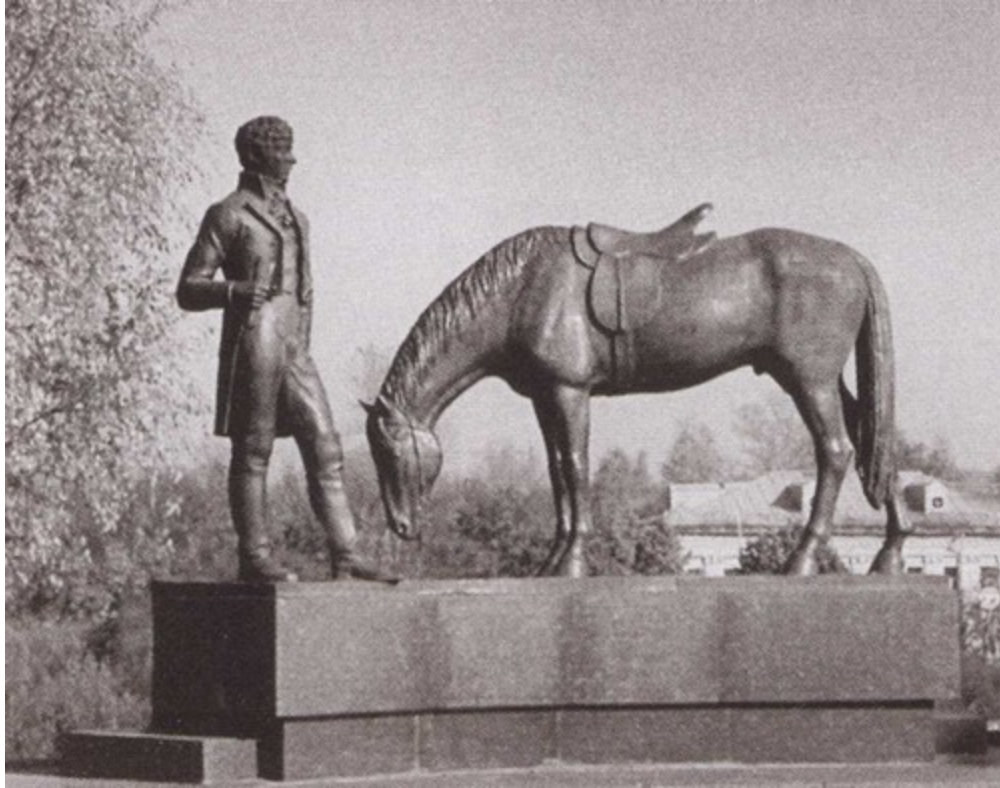
Обложка книги К. Батюшкова «Опыты в стихах и прозе». 1817 г.



Константин Батюшков. Художник О. А. Кипренский



*Прощание русского с парижанкой. Ф. Л. Дебюкур с оригинала
К. Верне. 1814 г.*



*Памятник К. Н. Батюшкову на Соборной горке в Вологде.
Скульптор В. М. Клыков*



Наполеон. Рисунок К. Н. Батюшкова. 1820-е гг.



Рисунок К. Н. Батюшкова. 1818 г.



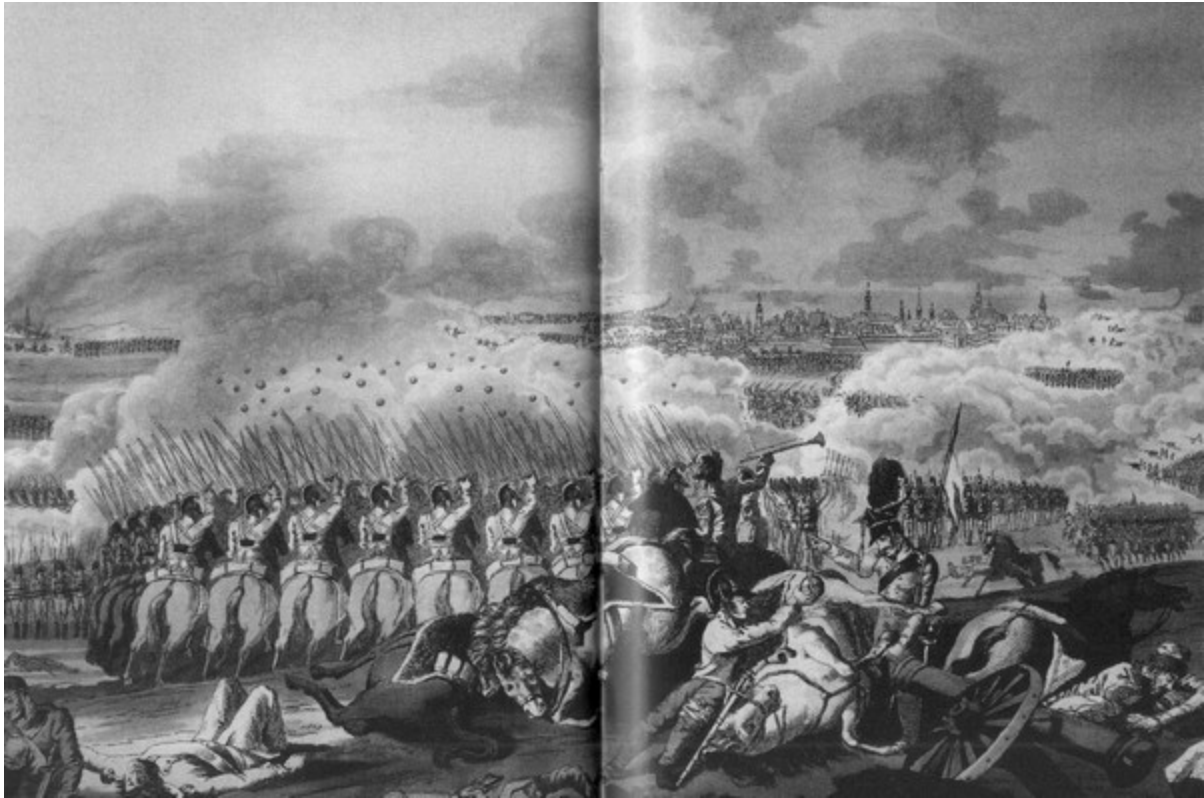
Автопортрет К. Н. Батюшкова в письме Н. И. Гнедичу. 1807 г.



Иван Петин. Рисунок К. Н. Батюшкова



Отдых на бивуаке. Рисунок из альбома А. М. Полетики



Сражение при Лейпциге



Николай Федорович Остолопов



Вид Вологды с заречной стороны. Начало XIX в.



Сергей Марин



Поэт-партизан, друг Марина — Денис Давыдов



Молитва Пресвятой Богородице из альбома семьи Мариных



Иван Иванович Дмитриев. Портрет, открывающий собрание сочинений поэта, изданное в 1893 году



Прижизненные издания сочинений И. И. Дмитриева



Николай Михайлович Карамзин. Художник В. А. Тропинин



Вид Спасских ворот и их окрестностей в Москве. Начало XIX в.



*Открытие памятного знака генералу от кавалерии
П. В. Голенищеву-Кутузову около храма в селе Печетове. Сентябрь
2012 г.*



Медаль «Народное ополчение» работы графа Ф. П. Толстого



Храм Святого Димитрия Солунского в селе Печетове Кимрского района Тверской области. Современный вид

Поминки по Бородинской битве.
Посвящается
Дмитрию Захаровичу Губкину
I
Михаиловича покойного.
Он был при Бородине:
Был он в штыки духом
Нам тогда своим полком.
Бодрым и молодцовым
Весь полк в кровавой бою:
Строй за стрелами густо, ровн
Выступил живой стеной.
Только тогда мы знали
Всего дороже жизни,
Взвизгнув сражаясь тогда
Перед нами, не боясь боя.

Стихотворение князя П. А. Вяземского «Поминки по Бородинской битве». Автограф



Император Николай I командует гвардией при открытии памятника на Бородинском поле 26 августа 1839 года



*Въезд в Париж союзных монархов по бульвару Сен-Дени в 1814 году.
Жан Зиппель. 1815 г. Фрагмент*

notes

Примечания

Лазарчук Р. М. М. Н. Муравьев и Вологда // Вологда. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 175.

Николай Михайлович Кугушев, князь (1777 — после 1825) — литератор, автор одного из первых подражаний «Слову о полку Игореве». Выступал как комедиограф, баснописец, сочинитель од и легких стихотворений. После тяжелых ранений, полученных в Итальянском походе Суворова, жил по большей части в Тамбове.

Речь идет о книге «Военные письма и замечания, наиболее относящиеся к незабвенному 1812 году и последующим».

Письмо от 25 апреля 1818 г. // *Муравьев Н.* Письма декабриста. 1813–1826 гг. М., 2001. С. 129.

Кошелев В. Алексей Степанович Хомяков. М., 2000. С. 194.

За пределами моего повествования остались такие легендарные поэты, как Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, Д. В. Давыдов, Ф. Н. Глинка, В. Л. Пушкин... Главная причина такого упущения в том, что жизнь и творчество этих поэтов в эпоху Двенадцатого года столь значительны, что заслуживают особого исследования и отдельных книг.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 398–399.

Ивченко Л. Л. Историография Отечественной войны 1812 года накануне юбилея события // 1812 год. Люди и события великой эпохи. Материалы Международной научной конференции; Москва, 23 апреля 2010 года. М., 2010. С. 5–7.

Строки П. А. Вяземского из стихотворения «Молитвенные думы».

В том же письме Василий Андреевич Жуковский так объяснял свой отказ писать мемуары: «И потому еще не могу писать моих мемуаров, что выставить себя таким, каков я был и есмь, не имею духу. А лгать о себе не хочется. В поэтической жизни, сколь бы она ни имела блестящего, именно поэтому много лжи (которая все ложь, хотя по большей части произвольная), и эта ложь теряет весь свой мишурный блеск, когда поднесешь к ней (рано или поздно) лампаду христианства...» *Плетнев П. А.* Сочинения и письма. В 3 т. Т. 3. СПб., 1885. С. 646.

«Дружба, — пишет к примеру американский исследователь Уильям Ш Миллз Тодд, — стала одной из главных тем русской литературы... Дружба дала свое имя двум из наиболее популярных жанров эпохи — дружескому письму и дружескому стихотворному посланию... Дружба захватила русскую мысль и литературу». *Тодд Ш У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в Пушкинскую эпоху.* СПб., 1994. С. 38–39.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 345.

Перевод с французского — «Записная тетрадь» М. И. Муравьева-Апостола. См.: *Якушкин В. Е.* Матвей Иванович Муравьев-Апостол // Русский архив. 1886. № 7. С. 159.

Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. Воспоминания. Дневники. Письма. Статьи. Речи. М., 2005. С. 74–75.

Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 141.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 176.

Там же. С. 304.

Там же. С. 60.

Гарбер Е. В. «Памятник драгоценной дружбы»: неизвестное письмо В. А. Жуковского к И. И. Дмитриеву // Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013. С. 365.

Жилякова Э. М., Янушкевич А. С. Четыре письма В. А. Жуковского
// Наше наследие. 2003. № 65.

Как эта глубокая вера в Промысел Божий роднила его с Батюшковым! «Напрасно ты себя огорчаешь мыслию, что я буду в армии, — писал Константин своей сестре. — Поручим все Провидению, которое, я заметил это на опыте, часто лучше нас самих к лучшему избирает дорогу...» (Письмо А. Н. Батюшковой от 4 мая 1813 г.).

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 203–204.

На одной хоругви было изображение Николая Чудотворца и Успения Богоматери, на другой — Успение Божией Матери и Воскресение Христово. После войны хоругви были помещены в Кремлевский Успенский собор.

http://e-vestnik.ru/analytics/moskovskaya_eparhiya_v_voine_1812/

См.: *Хлесткина В. М.* Бородино. 25 августа 1812 года // Московский журнал. 2005. № 7. С. 50.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. Т. 14. М., 2004. С. 181.

Норов А. С. Воспоминания // Гвардейские артиллеристы. История. Биографии. Мемуары. М., 2008. С. 366.

Вот лишь те жанровые определения «Певца...», которые встретились мне в статье А. С. Янушкевича «Жанровый состав лирики Отечественной войны 1812 года» и «„Певец во стане русских воинов“ В. А. Жуковского» («Проблемы метода и жанра: Сборник статей». Томск, 1982. С. 3–23): стихотворение, поэма, похвальная ода, поэтическая кантата, лирическая песня, баллада, монтаж из микрожанров: застольной песни, оды, реквиема...

Вигель Ф. Ф. Из «Записок» // В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 170.

Проблемы метода и жанра: Сборник статей. Томск, 1982. С. 3–23.

Мешков В. М. Гроза Двенадцатого года. М., 2012. С. 141–142.

Финал стихотворения «К ней» В. А. Жуковского.

Цит. по: *Мосин А.* Павел Николаевич Демидов: портрет в первом приближении // Уральская старина. Вып. 3 (Демидовский). Екатеринбург, 1997. С. 15.

Мосин А. Г. Род Демидовых. Екатеринбург, 2012. С. 370.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. Т. 14. М., 2004. С. 54.

А я разве незаконный сын? (*фр.*).

Попов А. И. Боевые действия в Утицком лесу // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. Материалы XIV Всероссийской научной конференции, Бородино 4–6 сентября 2006 г. М., 2007. С. 72.

Болотов А. Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. Т. 1. Тула, 1988. С. 159.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. Т. 14. М., 2004. С. 182.

Бондаренко А. Ю. Милорадович. М., 2008. С. 205.

<http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Andreevl/part03.html>

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. Т. 14. М., 2004. С. 182.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 222.

Генералитет наполеоновской армии в Бородинском сражении по своей численности значительно превосходил генералитет русской армии: 167 наполеоновских генералов и 89 русских. См.: *Мешков В. М.* Гроза Двенадцатого года. М., 2012. С. 139.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 129–130.

Здесь и далее цитаты из Дневника приводятся по изданию: Переписка В. А. Жуковского и А. Е. Елагиной. 1813–1852. М., 2009. С. 666–693.

Рассказывать о своих флиртах с дамами (*фр.*).

Переписка В. А. Жуковского и А. Е. Елагиной. 1813–1852. М., 2009. С. 68.

Четыре письма Жуковского // Наше наследие. № 65. 2003.
<http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6506.php>

Переписка В. А. Жуковского и А. Е. Елагиной. 1813–1852. М., 2009. С. 316.

Там же. С. 318.

Там же.

Гарбер Е. В. «Памятник драгоценной дружбы»: неизвестное письмо В. А. Жуковского к И. И. Дмитриеву // Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013. С. 365.

Лексикон № 4. Издание сообщества учеников и учителей православной школы «Рождество». Сентябрь — октябрь 2012. С. 5.

Это не первые строки в русской поэзии, посвященные П. А. Строганову. Еще в 1810 году Д. В. Давыдов написал послание «Графу П. А. Строганову за чекмень, подаренный им мне во время войны 1810 года в Турции».

Великий князь Николай Михайлович. Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817). Историческое исследование эпохи Императора Александра I. т. 3. СПб., 1903. С. 356–357.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 31.

Лажечников И. И. Походные записки русского офицера // России верные сыны. Отечественная война 1812 года в русской литературе первой половины XIX века. Т. 2. Л., 1988. С. 185–186.

Там же. С. 186.

Песнь барда над гробом славян-победителей. Посвящается
неустрасимым защитникам Отечества. СПб., 1807.

Раевский А. Ф. Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М., 2013. С. 27–28.

Зонтаг А. П. Несколько слов о детстве В. А. Жуковского // В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 107.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 213.

Перефраз заключительных стихов из стихотворения Дмитриева
«К моим друзьям».

Дмитриев И. И. Сочинения. В 2 т. Т. 2. СПб., 1893. С. 216–217.

РГАЛИ. Ф. 1060. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1–8.

Гарбер Е. В. «Памятник драгоценной дружбы»: неизвестное письмо В. А. Жуковского к И. И. Дмитриеву // Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013. С. 359–379.

См.: Там же. С. 361–367.

Файбисович В. Проект Оленина // Наше наследие. 2013. № 105. С. 44.

Там же. С. 46.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 253–254.

Файбисович В. Проект Оленина // Наше наследие. 2013. № 105. С. 45.

73

Запись от 8 ноября 1820 года.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 253.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. Т. 14. М., 2004. С. 182.

Янушкевич А. С. Письма В. А. Жуковского к царственным особам // Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013. С. 56–57.

Камеральные науки — совокупность знаний, необходимых для управления государственными имуществами. К камералистике относились экономика, аудит, финансы.

Баженова А. И. А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи. Саратов, 2004. С. 295.

Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения //Письма русского офицера. М., 1987. С. 284.

Вот, к примеру, пожелтевшая листовка «Закон боя — мужество», выпущенная армейской типографией в Афганистане в 1985 году: «... Были в этом бою те, кто заслужил особой чести. Своим бесстрашием, своим мужеством, своей готовностью пожертвовать собой ради товарищей. Сам погибай, а товарища выручай!..» А вот слова из листовки, посвященной подвигу капитана Баркова: «Высота, которую удерживала горстка наших бойцов, так и не покорила противнику. Хладнокровие, мужество, инициативу проявили все воины. Они не дрогнули перед врагом и сражались с ним по-суворовски: не числом, а умением...» На каждой «афганской» листовке — те же слова, что и два века назад: «Прочти и передай товарищу».

Баженова А. И. А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи. Саратов, 2004. С. 292.

Там же.

Когда я завершал эту главу, пришло трагическое известие: 4 сентября 2013 года выдающийся исследователь русской литературы и критик Александра Ивановна Баженова трагически погибла во время командировки в Москву — ее сбила машина. Она приехала представить свою новую книгу (по строчке Н. Рубцова она называется «За все добро расплатимся добром»). Александра Ивановна родилась в 1947 году в одном из печорских лагерей ГУЛАГа. Окончила Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского и Литературный институт им. А. М. Горького. Ее замечательный труд об А. С. Кайсарове, изданный десять лет назад небольшим тиражом, еще ждет своего признания.

Баженова А. И. А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи. Саратов, 2004. С. 41.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 383.

Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971. С. 244.

Пономарева В. В. и Хорошилова Л. Б. Университетский
Благородный пансион. 1779–1830. М., 2006. С. 127.

Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. Воспоминания. Дневники. Письма. Статьи. Речи. М., 2005. С. 74–75.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 383.

Дмитриев М. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 179.

В миру — Алексей Васильевич Виноградский (1766–1819). С 13 июня 1811 года временно управлял Московской епархией в связи с болезнью митрополита Платона.

Платон, митрополит Московский (1737–1812). 13 июня 1811 года он, с разрешения императора, по причине слабости здоровья удалился «до выздоровления» в Спасо-Вифанский монастырь, передав управление митрополией своему викарию епископу Дмитровскому Августину.

Митр. Платонъ Левшинъ. Слово, говоренное при освященіи знаков новаго военнаго ордена святаго Великомученика и Побѣдоносца Георгія. — Полное собраніе сочиненій Платона (Левшина), Митрополита Московскаго. Т. I. СПб., [1913]. С. 290–295.

Сочиненія Августина, Архієпископа Московскаго и Коломенскаго.
СПб., 1856. С. 51–56.

Там же.

Дневник Александра Чичерина. М., 1966. С. 14.

Прибавление к русской истории Сергея Глинки, или Записки и замечания о происшествии 1812, 13, 14 и 15 годов, им самим изданные. М., 1818. С. 70.

Ермолов А. П. Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991. С. 206.

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 14. Л., 1996. С. 505.

Баженова А. И. А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи. Саратов, 2004. С. 343–344.

Сочиненія Августина, Архієпископа Московскаго и Коломенскаго.
СПб., 1856. С. 68–7.

Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. Т. 6. Кн. 1. СПб., 2003. С. 365–366.

Павел Сергеевич Пуцин (1785–1865) — генерал-майор (1818); был причастен к деятельности тайного общества, по этой причине уволен от службы в 1822 году.

См. свидетельство прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка Матвея Муравьева-Апостола: «Наш полковник Александр Александрович Писарев предложил главнокомандующему провести ночь в палатке поручика 9-й роты Александра Васильевича Чичерина. Светлейший принял предложение и провел спокойно ночь в палатке Чичерина». Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Пг., 1922. С. 34.

Впервые дневник был опубликован издательством «Наука» в 1966 году. Предисловие к нему написал советский военный историк Любомир Григорьевич Бескровный.

Дневник Александра Чичерина. М., 1966. С. 14.

Здесь и далее в тексте «Дневника» речь идет об одном из братьев де-Броглио-Ревель, офицерах лейб-гвардии Семеновского полка. Очевидно, это младший из братьев — поручик Карл Броглио (1789–1813), убит в сражении при Кульме; старший брат Гавриил (Альфонс) в 1813 году произведен в полковники, вышел в отставку в 1816 году. Годы жизни неизвестны.

Василий Николаевич Чичерин (1753–1825) — генерал-лейтенант, заместитель начальника Московского ополчения.

Иван Дмитриевич Якушкин (1793–1857) — подпрапорщик (унтер-офицер), в декабре 1812 года — прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка; с 1818 года в отставке; декабрист, осужден по 1-му разряду.

Дирин П. Н. История лейб-гвардии Семеновского полка. Т. 2.
СПб., 1883.С. 36.

Тиханов П. Николай Иванович Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам к столетней годовщине дня его рождения. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 33. № 3. СПб., 1884. С. 88.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 192.

Там же. С. 67.

Там же. С. 180.

Это последняя запись в «Записной книжке» Н. И. Гнедича // *Тиханов П.* Николай Иванович Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам к столетней годовщине дня его рождения. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 33. № 3. СПб., 1884. С. 76.

Тиханов П. С. 89–90.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 68.

Там же. С. 16.

Там же. С. 66–67.

Тиханов П. С. 8–10.

Там же. С. 33.

Оленина А. А. Дневник Annette. М.: Фонд им. И. Д. Сытина, 1994.
С. 21–22.

Федор Григорьевич Солнцев (1801–1892) — художник-археолог, академик исторической и портретной живописи.

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз. Дом А. Н. Оленина. Л., 1983. С. 80–81.

Там же. С. 91.

Письмо Гнедича Батюшкову, 2 сентября 1810 г. ИРЛИ. Р. 1. Оп. 5.
№ 56. Л. 13–14.

Александр Сергеевич Строганов — граф, меценат, хозяин художественного и литературного салона на Мойке (Строгановский дворец на углу набережной Мойки и Невского), первый директор Публичной библиотеки и Академии художеств.

И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 503.

Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец, 2007. С. 71.

Поль Иеремия Битобе (1732–1808) — французский поэт, переводчик «Илиады».

Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец, 2007. С. 72.

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815). М., 2006. С. 82–83.

Кстати, Ю. М. Лотман считал весьма актуальной проблему «Гоголь и Гнедич». См.: *Лотман Ю. М. Письма 1940–1993*. М., 1997. С. 154.

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз. Дом А. Н. Оленина. Л...
1983. С. 84.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 186.

Тиханов П. Николай Иванович Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам к столетней годовщине дня его рождения. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 33. № 3. СПб., 1884. С. 39.

Там же. С. 76.

Из письма Н. В. Путяте. 29 марта 1925 г. // *Баратынский Е. А.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 155.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 437.

Там же. С. 397.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 10. М., Л. С. 26.

Тиханов П. С. 91–94.

Там же. С. 75–76.

Овен О. Н. Неизвестные письма Н. И. Гнедича И. М. Муравьеву-Апостолу // Русская литература. 1978. № 2.

Тиханов П. С. 34.

Там же. С. 36–37.

Гнедич Н. Стихотворения. Поэмы. М., 1984.

Там же. С. 177.

Там же. С. 47–76.

Христианство.

Монтень.

БЭКОН.

Гнедич Н. Стихотворения. Поэмы. М., 1984. С. 27.

Там же. С. 27–28.

Статьи П. А. Вяземского были собраны воедино только однажды, в его Полном собрании сочинений, изданном в 1878–1896 годах графом С. Д. Шереметевым.

Речь, произнесенная князем Вяземским на юбилее своей пятидесятилетней литературной деятельности. 1861 // *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 67.

Из письма Марии Волковой — Варваре Ланской, 24 ноября 1813 г.// Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской 1812–1818. М., 2013. С. 169.

Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971. С. 721–722.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 203.

Там же. С. 204.

Поручик Кавалергардского полка Петр Петрович Валуев (1786–1812) был убит при Бородине.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 205–206.

Там же. С. 204.

Там же. С. 67.

Бондаренко А. Ю. Милорадович. М., 2008. С. 204.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 205.

Там же. С. 206.

Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской
1812–1818. М., 2013. С. 64.

Там же. С. 205.

Глинка С. Н. Записки. М., 2004. С. 147.

Там же. С. 230–231.

Там же. С. 231.

Вяземский П. А. Сергей Николаевич Глинка // *Глинка С. Н.*
Записки. М., 2004. С. 435–446.

Лажечников И. И. Новобранец 1812 года (Из моих памятных записок) // И славили Отчизну меч и слово. 1812 год глазами очевидцев. М., 1987. С. 627.

Прибавление к русской истории Сергея Глинки, или Записки и замечания о происшествии 1812,13, 14 и 15 годов, им самим изданные. М., 1818. С. 16–17.

Там же. С. 18.

Вяземский П. А. Сергей Николаевич Глинка // Глинка С. Н. Записки. М., 2004. С. 440–441.

Там же. С. 62.

Федор Николаевич Глинка (1786–1880) — полковник; поэт и мемуарист, член тайного общества; в 1826 году выслан в Олонецкую губернию без лишения чинов и дворянства.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 111.

Храм хорошего вкуса.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 359.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 397.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. С. 316–317.

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1987. С. 22.

Там же. С. 26.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 95.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. М.; Л.
Т. 10. С. 124.

Долгова С. Р., Михайлова Н. И. «Края Москвы, края родные...».
А. С. Пушкин и Москва. М., 2013. С. 193.

Там же. С. 190.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 199.

Там же. С. 191.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 95.

Шаликов П. И. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. М., 1813. С. 5.

Шаликов П. И. Там же. С. 14.

Батюшков К. Н. Прогулка в Академию художеств // *Опыты в стихах и прозе.* М., 1977. С. 71.

Вяземский П. А. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 246–247.

Прибавление к русской истории Сергея Глинки, или Записки и замечания о происшествии 1812, 13, 14 и 15 годов, им самим изданные. М., 1818. С. 68–69.

Шаликов П. И. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. М., 1813. С. 8.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 99.

Шаликов П. И. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. М., 1813. С. 15–16.

Там же. С. 17.

Там же. С. 18.

Там же. С. 19–20.

Действительный тайный советник Иван Акинфиевич Тутолмин (1752–1815). За спасение Воспитательного дома был награжден орденом Святой Анны 1-й степени.

Шаликов П. И. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. М., 1813. С. 20.

Там же. С. 23–28.

Там же. С. 29.

Там же. С. 59–60.

Там же. С. 61–62.

Там же. С. 33–34.

Там же. С. 31.

Маркхэм Дж. Д. По следам славы: наполеоновская карьера
Стендаля. — Интернет-проект «1812 год».
<http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Markham/index.html#a26>

Там же. С. 32.

Там же. С. 50–59.

Там же. С. 52–53.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 93.

Там же. С. 96.

Дамский журнал. 1825. Ч. 9. № 6 (выход в свет 9 марта). С. 242–246. Без подписи.

См.: *Васькин А.* «Несколько слов в защиту князя Петра Шаликова и его „Исторических известий о пребывании в Москве французов“» // Литературная учеба. 2013. № 3. С. 183.

Там же. С. 184.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 25–26.

См.: *Сергеева-Клятис А. Ю.* Батюшков. М., 2012. С. 182.

Кошелев В. А. Опись имения Батюшковых в селе Даниловском // Устюжна: Историко-краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1993. С. 194.

Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». М., 2001. С. 61.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 186.

Там же. С. 262.

Там же. С. 144.

Там же. С. 156.

230

Там же.

Там же. С. 269.

Там же. С. 70.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 535.

Там же.

235

Там же.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 54.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 213.

Там же.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 101.

Там же. С. 179.

Там же. С. 225.

Там же. С. 236.

Там же. С. 229.

Там же. С. 336.

Там же. С. 124.

Там же. С. 200.

Там же. С. 139.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 153.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 317.

Там же. С. 418.

Там же. С. 25.

Там же. С. 229.

Там же. С. 236.

Там же. С. 234.

Муравьев-Апостол И. М. Письма из Москвы в Нижний Новгород.
СПб., 2002. С. 10.

Там же.

Письмо к Е. Г. Пушкиной от 4 марта 1813 г. // *Батюшков К. Н.*
Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 241.

Богодухновенная Псалтирь пророка Давида. М., 2011. С. 263.

Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец, 2007. С. 74.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 90.

Псалтирь в русской поэзии 17–20 вв. М., 1995. С. 47.

Русские поэты конца прошлого и начала нынешнего столетий и их лирические стихотворения, написанные в духе псалмов, составляющих Псалтирь. СПб., 1872.

Антокольский П. Г. Далеко это было где-то... Стихи. Пьесы. Автобиографическая повесть. М., 2010. С. 403.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 219.

Архиепископ Августин Виноградский. Слово в день Рождества Иисуса Христа, и в день воспоминания избавления Церкви и державы Российской от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык. Говорено 1814 года.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 243.

Там же. С. 412–414.

Там же. С. 257–259.

Там же. С. 538.

Раевский А. Ф. Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М., 2013. С. 27–28.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 485.

Там же. С. 266.

Муравьев Никита. Письма декабриста. 1813–1826. М., 2000. С. 79.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 261.

Там же. С. 262.

Там же. С. 266.

Мария Павловна (1786–1859) — дочь императора Павла I, супруга великого герцога Карла Фридриха Саксен-Веймар-Эйзенахского.

Екатерина Павловна (1788–1819) — дочь Павла I Петровича; вдова герцога Петра Фридриха Ольденбургского; с 1816 года замужем за королем Вюртемберга Вильгельмом I.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 262.

Там же. С. 266.

Там же. С. 325.

Майков А. Н. Путевой дневник 1842–1843. Итальянская проза. СПб., 2013. С. 36–37.

Там же.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 286.

Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. Воспоминания. Дневники. Письма. Статьи. Речи. М., 2005. С. 96.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 36.

Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской
1812–1818. М., 2013. С. 145.

Там же. С. 274.

Там же. С. 275.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 308.

Там же. С. 438.

Там же. С. 410.

Там же.

Леонтьев К. П. Моя литературная судьба. М., 2002. С. 120.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 327.

Там же. С. 313.

См.; *Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий.* Череповец, 2007. С. 198.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 381–382.

Там же. С. 387–388.

См.: *Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий.* Череповец, 2007. С. 198.

Батюшков К. П. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 482.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 399.

Там же.

Там же. С. 400.

Там же. С. 403.

Там же. С. 280.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 156.

История Лейб-гвардии Егерского полка за сто лет: 1796–1896.
СПб., 1896. С. 78.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 404.

История Лейб-гвардии Егерского полка за сто лет: 1796–1896.СПб., 1896. С. 84–85.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 404–405.

312

Скромный стол (*лат.*).

См. сноску 11. С. 397.

Там же. С. 380.

Там же. С. 385–388.

Там же. С. 381.

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 18 октября 1813 г.// *Муравьев Н.*
Письма декабриста. 1813–1826 гг. М., 2001. С. 52.

У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь. Она иссякла, пролитая за родину (*фр.*).

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 414–415.

Батюшков К. Н. Воспоминания о Петине // Лейб-егеря. История. Биографии. Мемуары. М., 2011. С. 367.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 402.

Батюшков К. Н. Воспоминания о Петине // Лейб-егеря. История. Биографии. Мемуары. М., 2011. С. 368.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 223.

Там же. С. 397.

Там же. С. 320–324.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 311–313.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 409.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 207.

См.: *Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий.* Череповец, 2007. С. 70–71.

Иначе говоря — взяточник.

См.: *Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий.* Череповец, 2007. С. 70–71.

Остолопов Н. Евгения, или Нынешнее воспитание. СПб., 1803.
С. 2–3.

333

Там же. С. 15.

Там же. С. 9–10.

Поэты Вологодского края XIX века. Хрестоматия. Ч. 1. Вологда, 2005. С. 60–63.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 123.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 206–207.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 231–232.

Лазарчук Р. М. Литературная и театральная Вологда 1770–1800-х годов. Из архивных разысканий. Вологда, 1999. С. 40.

Тихомиров С. А. Наполеоновское нашествие в вологодском измерении // Первые Всероссийские краеведческие чтения. История и перспективы развития краеведения и москвоведения (Москва, 15–17 апреля 2007 г.). М., 2009. С. 600.

Кошелев В. А. Вологодские давности: Литературно-краеведческие очерки. Архангельск, 1985. С. 60.

Письмо от 3 октября 1812 г. // *Батюшков К. Н.* Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 231–232.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812–1819. СПб., 1899. С. 3–5.

Там же. С. 10.

Там же. С. 6.

См.: *Тихомиров С. А.* Наполеоновское нашествие в вологодском измерении // Первые Всероссийские краеведческие чтения. История и перспективы развития краеведения и москвоведения (Москва, 15–17 апреля 2007 г.). М., 2009. С. 601.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812–1819. СПб., 1899. С. 10–11.

Там же. С. 12.

Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской
1812–1818. М., 2013. С. 234.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 300.

Кошелев В. А. Вологодские давности: Литературно-краеведческие очерки. Архангельск, 1985. С. 63.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 237–238.

Кошелев В. А. Вологодские давности: Литературно-краеведческие очерки. Архангельск, 1985. С. 65.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 242.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 152.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 300.

Волконский С. Мои воспоминания. Т. 1. М., 1992. С. 76.

Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской
1812–1818. М., 2013. С. 183.

Там же. С. 198.

Там же. С. 233–234.

Там же. С. 535.

Письмо от 25 декабря 1810 г. // *Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 152.*

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 320.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 155.

Там же.

Там же.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 326–327.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1882. С. 5.

Там же. Т. 7. СПб., 1882. С. 206–207.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 323–325.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 22–23.

Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 584.

Жуковский В. А. Письма // Русский архив. 1900. № 9. С. 26–27.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812–1819. СПб., 1899. С. 14.

Тиханов П. Николай Иванович Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам к столетней годовщине дня его рождения. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 33. № 3. СПб., 1884. С. 51.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 188–189.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 201.

Под названием «1805 год» роман начал печататься в январской и февральской книжках журнала «Русский вестник» за 1865 год, там были напечатаны 38 глав романа.

Показательно, что после 1917 года статья Вяземского печаталась с купюрами, все места с острой критикой Толстого изымались. Очевидно, что в конфликте князя и графа советская власть стала на сторону последнего.

Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». М., 2001. С. 62.

О происхождении и детстве П. И. Бартенева подробнее см.:
Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенов и журнал «Русский архив». М.,
2001.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 196.

Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». М., 2001. С. 39.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 195.

Там же. С. 200.

Письмо П. Бартенева П. А. Вяземскому от 18 декабря 1867 года.

Имеется в виду книга А. Рязанцева (вышла без имени автора) «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году» (М., 1862), где на с. 26–27 рассказан эпизод с фруктами.

Старая записная книжка. 1813–1852 // *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Т. 9. СПб., 1884. С. 156.

«Меропа» — переведенная Мариным трагедия Вольтера. С успехом ставилась на петербургской сцене со знаменитой Е. С. Семеновой в главной роли.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 176.

См.: *Бондаренко А. Ю.* Денис Давыдов. М., 2012. С. 46.

В «Костромской старине» (1892 г., кн. 2, с. 54) напечатан рапорт игумена Гедеона из Унженского монастыря в консисторию, в котором он «благопочтенно рапортует»: «В минувший 1811 год, в сентябре и октябре месяцах звезда с необычайно большим и широким лучом, в одну сторону простиравшимся, часу в осьмом пополудни видима была на западе и по течению солнечному имела течение и она до самого востока, где при восходе солнечном обыкновенно, как прочие звезды, так и она с большим лучом уже скрывала свет свой...»

«Альбомы нынче стали редки...». Каталог выставки.
Государственный музей А. С. Пушкина. М., 2013. С. 36.

394

Литературная карта Воронежской области. <http://lk.vrnlib.ru/?p=products&pr=29%20письмо>

395

Там же.

Дмитриев И. И. Сочинения. В 2 т. Т. 1. СПб., 1893. С. 116.

Строки из стихотворения В. В. Набокова «Осень»:

И свод голубеет широкий,
и стаи кочующих птиц —
что робкие детские строки
в пустыне старинных страниц...

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815). М., 2006. С. 252.

Карамзин Н. М. Письма И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 168.

Перувьеневый (или перювьеневый) — сделанный из ткани «перювьена».

Дмитриев И. И. Сочинения. В 2 т. Т. 2. СПб., 1893. С. 23.

Там же. С. 131.

Там же. С. 131–132.

Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 232.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 54.

Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, граф (1773–1843) — генерал от кавалерии, кавалер всех высших российских орденов и ордена Святого Георгия 3-го класса.

Так называл декабристов Ф. И. Тютчев.

Долгова С.Р., Михайлова Н. И. «Края Москвы, края родные...».
А. С. Пушкин и Москва. М., 2013. С. 190.

Дмитриев И. И. Сочинения. В 2 т. Т. 2. СПб., 1893. С. 143.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 121.

Дмитриев И. И. Сочинения. В 2 т. Т. 2. СПб., 1893. С. 247.

Николай Алексеевич Дурасов, симбирский помещик.

Дмитриев И. И. Сочинения. В 2 т. Т. 2. СПб., 1893. С. 145.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 158.

Архимандрит Симонова монастыря отец Герасим, отставной капитан Бахметев, сенатор С. С. Кушников и начальник Московского архива иностранной коллегии А. Ф. Малиновский.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 123.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989. С. 448.

Там же. С. 455–456.

Письмо от 19 ноября 1817 г. // *Муравьев Н.* Письма декабриста. 1813–1826 гг. М., 2001. С. 107.

Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1992. С. 156.

Письмо В. А. Жуковскому от 26 марта 1837 г. // *Дмитриев И. И.*
Сочинения. В 2 т. Т. 2. СПб., 1893. С. 330.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 157–158.

Филéмон и Бавкíда — герои античного мифа, добросердечные супруги, превращенные Зевсом в деревья, растущие из одного корня.

Цифра русских потерь по официальным данным Военно-учетного архива Главного штаба.

Из послания В. А. Жуковского А. И. Тургеневу, сентябрь 1813 г.

«Души усопших — не призрак: смертью не все оканчивается; бледная тень ускользает, победив костер» (*лат.*) — Проперций.

Печатается по изданию: *Батюшков К. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2.*
М., 1989.